

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА—1979

## СОДЕРЖАНИЕ

Панфилов В. З. (Москва). Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания . . . . .	3
Филин Ф. П. (Москва). Некоторые вопросы современного языкознания . . . . .	19

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Трубачев О. Н. (Москва). «Старая Скифия» (Ἀρχαία Σκυθία) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект . . . . .	29
Ахманова О. С., Полубиченко Л. В. (Москва) «Дифференциальная лингвистика» и «филологическая топология» . . . . .	46
Байков В. Г. (Бельцы). К построению лингвистической теории прогнозирования . . . . .	57
Слюсарева Н. А. (Москва). Терминология лингвистики и метаязыковая функция языка . . . . .	69
Юрченко В. С. (Саратов). Структура предложения и система синтаксиса . . . . .	77
Палмайтис Л. (Вильнюс). Аккузатив и род . . . . .	90
Улуханов И. С. (Москва). Словообразовательные отношения между частями речи . . . . .	101

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Гальченко И. Е. (Орджоникидзе). О статусе слов северокавказского происхождения в русском языке . . . . .	111
Назарян А. Г. (Москва). Фразеология и лексика французского языка в их генетических отношениях . . . . .	122

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Гельгардт Р. Р. (Калинин). О журнале «Филологические науки» (1958—1978) . . . . .	134
Алексеев М. Е. (Москва). <i>Б. К. Гигинейшвили</i> . Сравнительная фонетика дагестанских языков . . . . .	138
Микаилов К. Ш. (Махачкала). «Опыт структурного описания арчинского языка» . . . . .	141
Меновщиков Г. А., Вахтин Н. Б. (Ленинград). <i>J. Reed, O. Miyaoka, S. Jakobson, P. Afkan, M. Krauss, Yupik Eskimo Grammar</i> . . . . .	147

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	152
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

ПАНФИЛОВ В. З.

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Акад. П. Н. Федосеев, рассматривая вопрос о взаимоотношении философии и конкретных наук, пишет: «Одним из важнейших аспектов интеграции современного научного знания является все более усложняющаяся взаимосвязь философии с конкретными науками и практической мыслью, развитие философии как органичной части целостной системы знаний о мире, рост значения философии как методологической базы интегративных процессов в науке»<sup>1</sup>.

Не случайно поэтому, что на недавно состоявшемся в ФРГ XVI Всемирном философском конгрессе проблема «Философия и мировоззренческие проблемы современных наук», т. е. проблема соотношения философии и конкретно-научных представлений о мире, была основным предметом обсуждения. Языкознание, наряду с науками о мышлении, принадлежит к числу тех отраслей человеческого знания, которые обнаруживают наиболее тесные связи с философией на всем протяжении их развития<sup>2</sup>. Такая тесная связь лингвистики с философией обусловлена природой самого ее предмета как науки.

Язык представляет собой необходимое условие осуществления абстрактного, обобщенного мышления и рациональной ступени человеческого познания. Поэтому вопрос о роли языка в познании является составной частью гносеологии любой философской системы. Более того, в некоторых наиболее влиятельных течениях современной буржуазной философии, таких, как лингвистическая философия и, отчасти, экзистенциализм, роль языка в познании неправомерно преувеличивается и язык рассматривается как единственная данная человеку реальность, т. е. эти направления представляют собой своеобразную форму лингвистического идеализма (или агностицизма).

Из сказанного следует, что едва ли есть какие-либо основания соглашаться с теми лингвистами, которые вслед за неопозитивистами, отрицающими наличие мировоззренческого аспекта в конкретных науках, полагают, что специально научные теории, в частности структурализм как лингвистическое направление, стоят вне борьбы основных направлений в философии и что поэтому неправомерно давать им какую-либо философскую оценку.

Этим лингвистам можно было бы напомнить слова Ф. Энгельса: «Естествоиспытатели воображают, что они освобождаются от философии, когда игнорируют или бранят ее. Но так как они без мышления не могут дви-

<sup>1</sup> П. Н. Федосеев, Философия и интеграция знания, ВФ, 1978, 7, стр. 24. По этому вопросу см. также: Л. Ф. Ильичев, Философия и научный прогресс, М., 1977, стр. 20—28.

<sup>2</sup> Из работ, в которых рассматривается вопрос о взаимоотношении лингвистики и философии на различных этапах их развития, здесь следует прежде всего назвать весьма интересную монографию Е. Альбрехта (E. Albrecht, Sprache und Philosophie, Berlin, 1975).

нуться ни на шаг, для мышления же необходимы логические категории, а эти категории они некритически заимствуют либо из обыденного общего сознания так называемых образованных людей, над которым господствуют остатки давно умерших философских систем, либо из крох прослушанных в обязательном порядке университетских курсов по философии..., либо из некритического и несистематического чтения всякого рода философских произведений, — то в итоге они все-таки оказываются в подчинении у философии, но, к сожалению, по большей части самой скверной, и те, кто больше всех ругает философию, являются рабами как раз наихудших вульгаризированных остатков наихудших философских учений»<sup>3</sup>.

Каждое из современных лингвистических направлений также базируется на тех или иных философских принципах. Эти философские принципы проявляются в определении языка как предмета языкознания, в решении таких проблем, как соотношение языка и речи, объективность существования языка, соотношение языка как системы и его функционального назначения, иначе говоря, внутрилингвистических и экстралингвистических факторов, вопроса о знаковой природе языка и целого ряда других вопросов, касающихся онтологической природы языка. Философские основы любого лингвистического направления определяют также те методологические принципы, которыми его представители руководствуются при исследовании языка.

Наиболее очевидным образом разграничительная линия между материализмом и идеализмом в лингвистике проходит при определении языка как ее предмета. Если утверждают, что язык как предмет языкознания формируется исследователем и та или иная принятая исследователем система описания и есть язык<sup>4</sup>, или он рассматривается лишь как система взглядов исследователя на речь<sup>5</sup>, или, наконец, он объявляется собирательным конструктом, причем под конструктами имеются в виду абстрактные понятия, создаваемые тем же исследователем<sup>6</sup>, то во всех этих и аналогичных случаях вопрос о языке как предмете языкознания решается с идеалистических позиций. В рамках материалистического решения этого вопроса язык рассматривается как объективное явление и создаваемые исследователем-языковедом лингвистические понятия представляют собой лишь результат его (языка) отражения. При этом, однако, следует иметь в виду, что по сравнению, например, с объектами исследования естественных наук язык представляет собой весьма специфическое явление, поскольку, наряду с материальной стороной, он включает в себя и идеальную сторону, в которой в той или иной степени уже зафиксированы результаты познавательной деятельности специфически человеческого мышления, направленной как на материальные, так и на идеальные объекты. Однако результаты этой познавательной деятельности, зафиксирован

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 524—525.

<sup>4</sup> Эта точка зрения в наиболее отчетливом виде сформулирована И. М. Коржиным: «...соотношение между языком и речью представляет собой просто отношение между научным анализом, абстракцией, синтезом, классификацией, то есть научной интерпретацией фактов, с одной стороны, и определенными явлениями действительности, составляющими объект этого анализа, абстракции и т. д., — с другой» (И. М. Коржинек, К вопросу о языке и речи, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 317). См. также: E. V u s s e n s, De l'abstrait et de concret dans les faits linguistiques: la parole — le discours — la langue, AL (Copenhagen), III, 1, 1942—1943, стр. 21.

<sup>5</sup> Так, по мнению представителей дескриптивной лингвистики, в полном соответствии с их позитивистской установкой объективно наблюдаемыми фактами являются лишь акты речи, рассматриваемые как один из видов поведения, и лишь они являются предметом языкознания.

<sup>6</sup> Эта точка зрения в наиболее последовательной форме развивалась С. К. Шаумяном и нашла поддержку в работах и некоторых других лингвистов.

ные в языке, предстают перед исследователем-лингвистом как реальные и независимые от него явления, о которых он в свою очередь создает понятия, составляющие уже содержание лингвистики как науки.

Философский аспект имеет и вопрос о соотношении языка и речи. Этот вопрос, в той или иной мере поднимавшийся и ранее <sup>7</sup>, после опубликования «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, стал предметом широкого обсуждения. Диапазон различий между высказанными по этому вопросу точками зрения весьма велик — от противопоставления языка и речи как автономных объектов, отличающихся друг от друга совокупностью существенных признаков, и выделения двух самостоятельных научных дисциплин, а именно лингвистики языка и лингвистики речи, до полного отрицания обоснованности разграничения языка и речи вообще. По Ф. де Соссюру, язык и речь представляют собой «две совершенно различные вещи», которые разграничиваются им по следующим основным признакам:

1. Язык есть чисто психическое явление, локализующееся в мозгу каждого индивида: «...язык... есть явление по своей природе однородное — это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба компонента знака в равной мере психичны» <sup>8</sup>. В отличие от этого речь определяется Ф. де Соссюром как психофизическое явление (стр. 53; см. также стр. 57).

2. Язык есть система значимостей (ценностей), поскольку качественная определенность языковых единиц в обеих их сторонах является результатом их внутрисистемных отношений. Как писал Ф. де Соссюр, «...значимости целиком относительны», или «чисто дифференциальны» (стр. 145—146, 149; см. также стр. 150, 152—154). Понятие значимости является центральным в концепции Ф. де Соссюра о языке. «...понятие значимости, — утверждал он, — в конечном счете покрывает и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и понятие языковой реальности» (стр. 143). Итоговая формулировка Ф. де Соссюра по этому вопросу гласит: «...подобно тому, как шахматная игра целиком и полностью сводится к комбинации различных фигур на доске, так и язык является системой, целиком основанной на противопоставлении его конкретных единиц» (стр. 139).

3. Из этого следует, что язык есть форма, в то время как речь есть субстанция, так как включает в себя звуки и значения (стр. 145, 154).

4. Язык, в отличие от речи, представляющей собой индивидуальное явление, есть социальное явление. Как пишет Ф. де Соссюр, язык «представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива» (стр. 52). В отличие от языка, речь, по определению Ф. де Соссюра, «...есть индивидуальный акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации» (там же).

Рассмотрим прежде всего вопрос о том, насколько правомерно разграничение языка и речи по этому последнему признаку. Хотя речь действительно есть индивидуальный процесс в том смысле, что ее физическим и психическим субъектом является отдельный человек, однако ее психофизиологический механизм есть результат развития человека в филоге-

<sup>7</sup> История вопроса дается, в частности, в книге: Т. С. Шардзенидзе, Проблема взаимоотношения языка и речи, Тбилиси, 1971.

<sup>8</sup> Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977, стр. 53 (см. также стр. 45, 49, 57, 99 и др.; далее стр. указываются в тексте).

незе и в онтогенезе как социального существа (см. об этом ниже). Кроме того, речь осуществляется на базе языка как общего достояния всего говорящего на нем коллектива и подчиняется определенным социальным нормам. Уже поэтому она не может рассматриваться как чисто индивидуальное явление. Вместе с тем речи каждого носителя данного языка, конечно, свойственны те или иные индивидуальные особенности.

Социальный, общественный характер языка состоит не только в том, что он является достоянием всего говорящего на нем коллектива и, функционируя как важнейшее средство общения его членов, обслуживает их общественные потребности, но и в том, что он возникает как продукт социального развития.

Как писал К. Маркс, «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»<sup>9</sup>. К. Маркс отмечал также, что, изменяя в процессе труда внешнюю природу, человек в «то же время изменяет свою собственную природу»<sup>10</sup>, из чего следует, что сама природа человека, и в том числе его язык, есть продукт истории. Принципиально иное содержание вкладывается в понятие социальности языка Ф. де Соссюром. С его точки зрения социальность языка проявляется в том, что он является достоянием всего говорящего на нем коллектива и принудительно усваивается каждым его членом (см. об этом выше). У Ф. де Соссюра можно встретить и такого рода высказывания, из которых следует, что он как будто признавал воздействие социальных сил на развитие языка. Так, в разделе о неизменности знака он пишет: «Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт социальных сил, чтобы стало очевидно, что он не свободен; помня, что язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны добавить, что те социальные силы, продуктом которых он является, действуют в зависимости от времени. Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени» (стр. 107; см. также стр. 47, 55, 108—109). Однако если учитывать контекст этого и некоторых аналогичных высказываний, то становится ясным, что Ф. де Соссюр усматривает воздействие социальных сил на язык опять-таки прежде всего в принудительности усвоения языка каждым новым поколением и в необходимости соблюдения его норм всеми носителями языка. Лейтмотивом же теории Ф. де Соссюра является положение об имманентности языка и его требование не прибегать при объяснении языковых явлений к каким-либо экстраязыковым факторам. Так, выделяя внешнюю и внутреннюю лингвистику, Ф. де Соссюр пишет: «Мы считаем весьма плодотворным изучение „внешнелингвистических“, то есть внеязыковых явлений; однако было бы ошибкой утверждать, будто без них нельзя познать внутренний организм языка» (стр. 60). И далее он утверждает, что «язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» (стр. 61). Указывая на разнородность речевой деятельности, вследствие чего она является объектом, исследуемым в разных науках (психологии, антропологии, нормативной грамматике, филологии и т. д.), Ф. де Соссюр пишет: «По нашему мнению, есть только один выход из всех этих затруднений: надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (попте) для всех прочих проявлений речевой деятельности. Действительно, среди множества двусторонних явлений только язык, по-видимому, допускает независимое (autopome) определение и дает надежную опору для мысли» (стр. 47, см.

<sup>9</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 42, стр. 262.

<sup>10</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 23, стр. 188.

также стр. 53). Следует при этом отметить, что именно эти положения Ф. де Соссюра в дальнейшем были приняты на вооружение и получили дальнейшее развитие в таких наиболее последовательных направлениях структурализма, как глоссематика, и в работах других представителей структуральной лингвистики (С. К. Шаумяна, Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука и др.). Выдвигая, в противоположность этой точке зрения, положение о том, что язык есть продукт социального развития человека и что решающую роль в его развитии играют разного рода общественные факторы и мышление как социальное явление, вместе с тем необходимо учитывать, что язык как весьма сложная, иерархически организованная система представляет собой относительно самостоятельное явление<sup>11</sup>, обладающее некоторыми внутренними закономерностями своей организации и развития.

Хотя и на иной теоретической основе, представление о языке как о некоей изначальной данности, а не как продукте социального развития человека в филогенезе и онтогенезе, развивается и в тех направлениях зарубежного языкознания, в которых он по существу рассматривается как биологическое явление (Е. Леннеберг, Н. Хомский<sup>12</sup> и др.).

В весьма широком философском плане эта точка зрения разрабатывается Н. Хомским и его последователями. По мнению Хомского, выделяющего *linguistic competence* и *linguistic performance*, что в общем и целом соответствует разграничению языка и речи, принятому в других направлениях языкознания, языковая компетенция усваивается ребенком в постнатальный период его развития только благодаря тому, что в его мозгу существуют некие языковые структуры (универсальная грамматика), имеющие врожденный характер, и, следовательно, общие для носителей всех различных языков. Наличие такого рода врожденных языковых структур при воздействии стимулов, получаемых ребенком от взрослых, обеспечивает усвоение им соответствующего конкретного языка (конкретной грамматики). Н. Хомский полагает, что такого рода механизм усвоения ребенком языковой компетенции представляет собой лишь частный случай проявления закономерностей овладения ребенком знанием любого рода. Иначе говоря, по Н. Хомскому, человеческому мышлению свойственны не только некие врожденные языковые структуры, но и другие врожденные (априорные) мыслительные структуры, образующие основу познавательной деятельности человеческого мышления<sup>13</sup>. По его словам, «нет ничего невразумительного во взгляде, что стимуляция создает уму условия для применения определенных врожденных интерпретирующих принципов, определенных понятий, которые происходят от самой „способности понимать“, от способности думать, а не прямо от внешних объектов»<sup>14</sup>. Таким образом, теория Н. Хомского о врожденных языковых структурах имеет в своей основе, как он и сам об этом пишет, учение Декарта о врожденном характере основных принципов организации познавательной деятельности человека и учение Канта об априорном характере категорий человеческого мышления. Эта теория Н. Хомского уже была предметом критического рассмотрения в ее самых различных аспек-

<sup>11</sup> См. об этом: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, М., 1963; Б. А. С е р б р е н н и к о в, Об относительной самостоятельности развития системы языка, М., 1968.

<sup>12</sup> E. H. L e n n e b e r g, *The biological foundations of language*, New York, 1967; N. C h o m s k y, *Language and mind*, New York, 1968 (русский перевод: Н. Х о м с к и й, *Язык и мышление*. М., 1972. В дальнейшем ссылки даются на это издание).

<sup>13</sup> Н. Х о м с к и й, указ. соч., стр. 84 и сл.

<sup>14</sup> Там же, стр. 101.

тах <sup>15</sup>. Мы здесь отметим лишь следующее. Бесспорно, что для возникновения языка должны быть созданы определенные биологические предпосылки в том, что касается уровня развития мозга и органов речи. Однако уже один тот факт, что дети раннего возраста, будучи изолированы от человеческого коллектива на длительное время, не овладевают языком, даже если они в дальнейшем попадают в человеческое общество и, следовательно, получают соответствующие стимулы для проявления врожденной универсальной грамматики, полностью опровергает эти взгляды Н. Хомского. Языковые структуры и не могут быть врожденными, так как результаты социального развития человека, каковым является и его язык, не наследуются, не закрепляются в его генетическом коде. Так, один из крупнейших специалистов по генетике акад. Н. П. Дубинин пишет: «Социальная сущность человека представлена его надбиологической сферой. Для передачи от поколения к поколению содержания этой сферы человеческое общество выработало особый, свойственный только ему способ наследования опыта. После рождения человек растет и развивается в социальной среде. Под влиянием факторов духовной и материальной культуры данного периода происходит становление его социальной сущности. В этом состоит суть принципа социальной наследственности. Социальная сущность человека является содержанием надбиологической сферы, она передается из поколения в поколение по иным каналам, нежели генетическая информация, записанная в молекулах ДНК. С появлением человека впервые в истории жизни создалась качественно новая ситуация, когда самое существенное, то, что определяет прогрессивное историческое развитие человечества, передается помимо генетической программы» <sup>16</sup>.

Показателен в этом отношении тот факт, что если мозг приматов к моменту рождения почти заканчивает свое развитие, то после рождения ребенка в период до 20-летнего возраста он не только увеличивается в весе в несколько раз, но и претерпевает существенные изменения в своей структуре, причем это постнатальное развитие мозга как морфо-физиологической системы происходит под воздействием социальной программы <sup>17</sup>, о чем, в частности, свидетельствует то, как развиваются дети, с раннего возраста лишенные возможности общения с людьми. Иначе говоря, «...развитие человеческого организма опосредствуется социальными условиями его существования», хотя формирование всех его свойств как социального существа «протекает не вне человеческого организма и не помимо процесса биологического развития человека» <sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Библиография литературы в зарубежном языкознании и обобщение результатов критического анализа теории Н. Хомского и его последователей дается в статье: Роберт А. Холл мл., Критика теории Хомского, ВЯ, 1978, 5 (английский оригинал: Robert A. Hall, Jr., Some critiques of Chomskyan theory, «Neophilologische Mitteilungen», LXXVIII, 1, 1977). В советской лингвистике в последние годы теория Н. Хомского и его последователей также стала предметом серьезного критического рассмотрения. См.: Н. М. Курманбаев, Заметки о картезианских основаниях генеративной лингвистики, ВЯ, 1975, 4; Н. Д. Андреев, Хомский и хомскианство, в кн.: «Философские основы зарубежных направлений в языкознании», М., 1977; В. М. Солицев, Относительно концепции «глубинной структуры», ВЯ, 1976, 5; А. М. Шахнарович, Ж. Лендел, «Естественное» и «социальное» в языковой способности человека, ИАН СЛЯ, 1978, 3.

<sup>16</sup> Н. П. Дубинин, Биологические и социальные факторы в развитии человека, ВФ, 1977, 2, стр. 47.

<sup>17</sup> Там же, стр. 52.

<sup>18</sup> Б. Ф. Ломов, Соотношение социального и биологического как методологическая проблема психологии, ВФ, 1976, 4, стр. 84. В широком философском плане проблема соотношения биологического и социального в становлении и развитии человека рассматривается также в статье П. Н. Федосеева «Проблема социального и биологического в философии и социологии» (ВФ, 1976, 3).

Утверждение Н. Хомского о врожденности языковых структур не учитывает этих данных современной биологии и психологии и противоречит положению марксистско-ленинской философии о том, что язык вместе с абстрактным, обобщенным мышлением, средством осуществления которого он является, возникает одновременно и в процессе трудовой деятельности человека, имеющей социальный, общественный характер<sup>19</sup>.

Проблема разграничения языка и речи обсуждается также и в ином категориальном аспекте. Так, в последний период в советском языкознании<sup>20</sup> язык и речь начинают трактовать как проявление диалектических категорий соответственно общего и отдельного, так как язык якобы существует лишь в речи и через речь, подобно тому, как «общее существует лишь в отдельном, через отдельное»<sup>21</sup>.

Однако подобная трактовка не кажется достаточно убедительной. В самом деле, ведь язык как система закодирован в мозгу человека и, следовательно, в этой форме существует вне речи, вне речевых произведений. По-видимому, по той же причине было бы неправильно определять соотношение языка и речи как сущности и явления (эта точка зрения в последнее время также высказывается)<sup>22</sup>. Сущность не имеет особого от явления бытия, а язык, как уже говорилось, существует и вне речи. К тому же речь, в отличие от языка, имеет свои особые сущностные характеристики. Достаточно сказать, что конкретное содержание речевых произведений (словосочетания, предложения и др.) не есть механическая сумма значений языковых единиц, используемых для их построения, и это содержание речевых произведений не является принадлежностью языка. Определять соотношение языка и речи как отношение сущности к явлению, а также общего к отдельному неправильно также и потому, что общее представляет собой совокупность некоторых существенных признаков, присущих многим отдельным, в то время как язык не есть некая совокупность признаков, характеризующая многие акты речи. Речевые произведения строятся из языковых единиц, выступающих в них не как их свойства, а как их отдельные компоненты, обладающие статусом самостоятельного существования, каковой не свойствен ни общему, ни сущности. Наконец, если «всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного»<sup>23</sup>, то в каждом отдельном акте речи используются лишь некоторые языковые единицы, некоторые модели словосочетаний и предложений, а язык в целом репрезентируется лишь в неограниченном множестве текстов. Следует отметить далее, что отношение языка и речи иногда рассматривается как один из случаев соотношения абстрактного и конкретного, причем утверждается, что «соотношение категорий абстрактного и конкретного... применимо к решению проблемы соотношения языка и речи лишь при условии

<sup>19</sup> Это положение получает дальнейшее развитие и в современных теориях происхождения человека. Так, Н. П. Дубинин пишет: «Появление сознания, связанное с развитием второй сигнальной системы, осуществлялось в процессе эволюции под воздействием общественного труда» (Н. П. Д у б и н и н, указ. соч., стр. 48; см. также стр. 54—55).

<sup>20</sup> См., например: В. Я. М ы р к и н, Некоторые вопросы понятия речи в корреляции: язык — речь, ВЯ, 1970, 1, стр. 105; «Научная сессия по проблеме „Язык и речь“. Тезисы докладов», Тбилиси, 1971, стр. 6, 34; сб. «Язык и речь», Тбилиси, 1977, стр. 14, 82.

<sup>21</sup> В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 29, стр. 313.

<sup>22</sup> См., например: Т. П. Л о м т е в, Язык и речь, «Вестник МГУ», 1961, 4, стр. 68; Н. А. С л ю с а р е в а, Гносеологический, онтологический и прагматический аспекты соотношения языка и речи, сб. «Язык и речь», Тбилиси, 1977, стр. 84. Эту точку зрения можно связать с утверждением Ф. де Соссюра о том, что «разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем 1) социальное от индивидуального; 2) с у щ е с т в е н н о е от п о б о ч н о г о и б о л е е и л и м е н е е с л у ч а й н о г о» (Ф. де С о с с ю р, указ. соч., стр. 52; разрядка наша.— В. П.).

<sup>23</sup> В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 29, стр. 318.

рассматривать абстрактное как мысленное, понятийное в противоположность чувственно-созерцаемому, наглядно-данному, т. е. конкретному»<sup>24</sup>. Очевидно, что эта точка зрения проистекает из неразграничения онтологического статуса языка и путей, способов его познания лингвистом. Непосредственным объектом исследования для лингвиста являются акты речи, речевые произведения на том или ином языке, будь то в устной или в письменной форме. Выделяя при их исследовании языковые единицы (фонемы, морфемы, модели словосочетаний, предложений и т. д.), устанавливая их парадигматические и синтагматические связи и т. п., лингвист использует при этом самые разнообразные научные приемы и в том числе анализ и синтез, абстрагирование и обобщение. Но устанавливаемые при этом языковые единицы, синтагматические и парадигматические связи, образующие механизм языка, сами по себе являются реальными, независимыми от исследователя явлениями, а не абстрактными понятиями, создаваемыми им, т. е. реальными фонемами, морфемами, словами и т. п., о которых он, правда, создает понятия (понятия о фонемах, морфемах и т. д.) в процессе их исследования как компонентов речевых произведений, что составляет, однако, уже содержание лингвистической теории, но не сам язык как предмет языкознания. При этом языковые значения, выделяемые лингвистом, действительно, представляют собой абстракции разного уровня, однако не потому, что они создаются лингвистом как исследователем речи, а по той причине, что они являются результатом абстрагирующей деятельности многих поколений носителей соответствующего конкретного языка, что в языковых значениях в той или иной степени фиксируются результаты познавательной деятельности носителей данного языка. Их абстрагирующая, обобщающая деятельность объективируется не только в языковых значениях, но и, в известной степени, в материальной стороне языка. Так, например, фонема выступает как объективированная, осуществленная абстракция по отношению к ее вариантам. В самом деле, ведь говорящие на том или ином конкретном языке в обычных условиях общения не осознают, что между вариантами одной и той же фонемы существуют артикуляционные и акустические различия и все эти варианты отождествляются ими в процессе восприятия речи.

Прямой выход в область гносеологии имеет проблема языкового знака. В языкознании, и в том числе советском, широкое распространение имеет точка зрения, согласно которой двусторонняя языковая единица является знаком в целом, и, следовательно, знаковой природой обладает как ее материальная, так и ее идеальная сторона. Знаковый характер материальной стороны, ее произвольность, т. е. отсутствие подобия между нею и теми объектами, с которыми она соотносится<sup>25</sup>, является условием

<sup>24</sup> Н. А. С л ю с а р е в а, указ. соч., стр. 83.

<sup>25</sup> При всех колебаниях и противоречиях Ф. де Соссюра понятие произвольности, т. е. знаковости билатеральной языковой единицы в конечном счете опирается у него на положение об отсутствии подобия, сходства ее обеих сторон с обозначаемым объектом. В этой связи Ф. де Соссюр и выдвигает как центральный пункт своей теории понятие языковой значимости (ценности) (см. выше, стр. 5), которая, по его мнению, есть всецело результат внутрисистемных противопоставлений, так что идеальная сторона языковой единицы не может рассматриваться как результат отражения обозначаемого ею объекта. Выдвигаемое наряду с понятием произвольности языкового знака понятие его относительной мотивированности лежит совсем в иной плоскости и здесь не существует той антиномии, которая усматривалась последующей традицией. В самом деле, ведь языковой знак объявляется Ф. де Соссюром мотивированным на том основании, что некоторые языковые единицы по своему происхождению связаны с другими языковыми единицами (французское *dix-neuf* «девятнадцать» частично мотивировано «потому что оно вызывает представление о словах, из которых составлено... как, например, *dix* „десять“, *neuf* „девять“...» — Ф. де С о с с ю р, указ. соч., стр. 164). Очевидно, что такого рода мотивированность не ограничивает, как это полагает Ф. де Соссюр (там же, стр. 165), произвольности языкового знака, так как если под послед-

абстрактного, обобщенного мышления и рациональной ступени человеческого познания и никем из лингвистов или философов не подвергается сомнению. Иначе обстоит дело с вопросом о природе идеальной стороны языковой единицы.

Как нам уже приходилось отмечать, один из аспектов материалистического решения основного философского вопроса о первичности материального или идеального состоит в том, что идеальное, рассматриваясь в качестве продукта мозга как формы высокоорганизованной материи, вместе с тем определяется как результат отражения действительности, существующей вне и независимо от человека, и в этом смысле как вторичное по отношению к ней явление. Очевидно, что это положение имеет силу и в отношении той формы идеального, которую представляет собой идеальная сторона языковых единиц, т. е. значение (или, в иной терминологии, сигнификат, десигнат). Вторичность этой формы идеального состоит не только в том, что она есть продукт мозга, но также и в том, что она есть результат отражения действительности и, следовательно, не может не быть подобной этой действительности, не может не быть ее образом (в гносеологическом смысле). Положение же о произвольности (знаковой природе) идеальной стороны языковых единиц предполагает, что она, не будучи подобна объективной действительности, не являясь ее образом, независима от нее и, следовательно, не является вторичной по отношению к ней, т. е. в основе этого положения лежит идеалистическое решение основного философского вопроса о соотношении материального и идеального. Иначе говоря, идеальная сторона языковой единицы, будучи образом тех предметов объективной действительности, с которыми она соотносится, в отличие от ее материальной стороны, не является произвольной и, следовательно, знаковой по своей природе.

В некоторых направлениях современной семиотики, ведущей свое начало от Ч. Пирса, вразрез с предшествующей философской традицией<sup>26</sup>

ней понимается характер его отношения к обозначаемому объекту, то под мотивированностью — характер его соотношения с другими языковыми знаками (наличие у него ассоциативных и синтагматических связей с последними).

Иногда под мотивированностью языкового знака имеют в виду, что связь двух сторон языкового знака не устанавливается заново каждым конкретным посетителем соответствующего языка, а усваивается им от представителей предшествующего поколения посетителей этого языка и в психике человека выступает как *н е о б х о д и м а я* (см., например: Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 92). Понимаемая таким образом мотивированность языкового знака также не может соотноситься с его произвольностью как отсутствием подобия, сходства обозначаемого с обозначаемым и с тем объектом, который представляется, замещается им (языковым знаком).

<sup>26</sup> Эта философская традиция представлена такими учеными, как Гегель, Гельмгольд и др. В марксистско-ленинской теории отражения разграничение, противопоставление знака образу (в гносеологическом смысле) является одним из центральных ее пунктов. В. И. Ленин, критикуя теорию иероглифов Гельмгольца, Плеханова и их последователей, писал: «Бесспорно, что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, *условный знак*. Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, что „отображается“. „Условный знак“, символ, иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма» (В. И. Ленин, *Полн. собр. соч.*, 18, стр. 248). Там же В. И. Ленин подчеркивает, что когда речь идет о познании действительности, «Энгельс не говорит ни о символах, ни о иероглифах, а о копиях, снимках, изображениях, зеркальных отображениях вещей» (В. И. Ленин, *Полн. собр. соч.*, 18, стр. 244—245).

в понятие «знак» наряду со знаком в собственном (узком) смысле включаются также неязыковые иконические знаки (знаки-копии), которые в отличие от первых обладают сходством, подобием с теми объектами, в отношении которого они выступают в знаковой функции. При таком расширении объема понятия «знак» идеальная сторона языковой единицы также может рассматриваться как знаковая по своей природе. Иначе говоря, при этом подходе не только материальная сторона, но и билатеральная языковая единица в целом может определяться как «знак». Однако возникает вопрос, насколько оправдан такой подход и какова его философская основа. Остается фактом, что материальные стороны двусторонних языковых единиц действительно обладают знаковой природой, так как они не имеют сходства, подобия с теми объектами, в отношении которых они выполняют знаковую функцию, что является условием ее осуществления. Имеющиеся во всех языках изобразительные и в особенности звукоподражательные слова, которые имеют некоторые черты сходства с соответствующими объектами, в принципе не меняют этого положения. В то же время идеальные стороны языковых единиц имеют существенные черты сходства, подобия с соответствующими объектами, и, следовательно, не имеют знаковой в собственном смысле этого слова природы. Таким образом, под понятием языкового знака, если таковым считать билатеральную языковую единицу в целом, подводятся совершенно различные в этом отношении сущности. Но как в свое время остроумно заметил Ф. Энгельс, «...мышление, если оно не делает промахов, может объединить элементы сознания в некоторое единство лишь в том случае, если в них или в их реальных прообразах это единство уже *до этого существовало*. От того, что сапожную щетку мы зачислим в единую категорию с млекопитающими, — от этого у нее еще не вырастут молочные железы»<sup>27</sup>. Вместе с тем нельзя не видеть того, что операция подведения под понятие языкового знака и материальной и идеальной сторон языковой единицы имеет совершенно определенный философский (гносеологический) смысл: в этом случае или по существу снимается сама проблема того, отражается ли объективная действительность в языковых значениях, а в конечном счете и человеческим мышлением, поскольку язык является средством его осуществления и существования, или делаются выводы о знаковом характере человеческого знания в целом.

Идеальной стороне билатеральной языковой единицы неправильно приписывать знаковую природу также и потому, что она не может выполнять и не выполняет знаковой функции. Ведь идеальное, которое имеет в виду говорящий в процессе высказывания в этом своем качестве само по себе не воспринимается слушающим и поэтому не может представлять, замещать что-либо для слушающего. Более того, в том отрезке речевой цепи, который локализуется между говорящим и слушающим, имеются только звуковые волны, т. е. только материальные стороны языковых единиц. Идеальные стороны билатеральных языковых единиц в этом отрезке речевой цепи не присутствуют, поскольку, как и всякое идеальное, они не могут существовать вне той высшей формы материи, вне того субстрата, продуктом которого они являются, т. е. вне мозга говорящего и слушающего<sup>28</sup>. И лишь только потому, что у говорящего и слушающего как у но-

<sup>27</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 20, стр. 41.

<sup>28</sup> Классики марксизма-ленинизма неоднократно подчеркивали, что противоположное решение этого вопроса в философском плане означает не что иное, как идеализм. Так, В. И. Ленин писал: «Всякий человек знает — и естествознание исследует — идею, дух, волю, психическое, как функцию нормально работающего человеческого мозга; оторвать же эту функцию от определенным образом организованного вещества,

сителей одного и того же языка, с соответствующими материальными сторонами языковых единиц связываются приблизительно одни и те же значения, слушающий, как носитель того же языка, воспринимая первые из них, затем ассоциирует с ними приблизительно те же значения, что и говорящий, благодаря чему, а не непосредственному восприятию значений языковых единиц, и достигается взаимопонимание между собеседниками.

Эта проблема имеет и более широкое значение. В частности, она возникает, когда речь идет о процессах, имеющих место в электронно-вычислительных машинах, производящих те или иные операции, в какой-то степени аналогичные мыслительной деятельности человека. Очевидно, что в такого рода случаях электронно-вычислительная машина оперирует лишь с материальными знаками, вводимыми в нее человеком, но в ней не происходит мыслительных, идеальных по своей природе процессов. На выходе в результате такого рода операций машины человек также получает лишь определенным образом организованные материальные знаки, которым он приписывает то или иное идеальное содержание, исходя из того идеального содержания, которое он связывал с введенными в ЭВМ материальными знаками и программой операций над ними. Утверждение же о том, что ЭВМ мыслит или что во всяком случае будет мыслить так называемый «искусственный интеллект», не учитывает того положения диалектического материализма, согласно которому мысль, идеальное, психическое может быть продуктом лишь той высшей формы организации материи, каковой является мозг. Поскольку и ЭВМ, и будущий «искусственный интеллект» по сравнению с мозгом представляют собой принципиально иную форму организации материи, их так называемые «мыслительные» операции не могут не иметь принципиально иной природы, чем мысль как продукт мозга. Психика, как совершенно правильно отмечает О. К. Тихомиров, есть «качественно своеобразное явление, возникающее на определенной стадии развития материи и обладающее новыми свойствами по отношению к материи, еще не прошедшей этого развития»<sup>29</sup>. К тому же следует подчеркнуть, что мозг человека есть в значительной мере продукт социального развития, а «сознание не просто обусловлено функционированием мозга или даже отражением внешнего мира, оно предполагает взаимодействие людей, общество» и как социальный феномен «в принципе не может быть сведено к его физиологической основе»<sup>30</sup>.

На принципиальное различие, существующее между функционированием ЭВМ и человеческого мышления, обращают внимание и такие специалисты по кибернетике, как акад. А. И. Берг, который отмечает, что «машины не мыслят — и вряд ли будут мыслить»<sup>31</sup>.

Возвращаясь к вопросу о субстрате языкового значения, необходимо далее отметить, что противоположный подход к решению этого вопроса (см. стр. 12) приобретает характер утверждения об интерсубъектном существовании языка как социального явления, когда он рассматривается как некая объективная данность, не только материальная, но и идеальная

---

превратить эту функцию в универсальную, всеобщую абстракцию, „подставить“ эту абстракцию под всю физическую природу, — это бредни философского идеализма, это насмешка над естествознанием» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 241). См. об этом подробнее: В. З. Панфилов, Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака, ВЯ, 1975, 3, стр. 37—38; е г о ж е, О гносеологических аспектах проблемы языкового знака, ВЯ, 1977, 2, стр. 10—14.

<sup>29</sup> О. К. Тихомиров, Философско-психологические проблемы искусственного интеллекта, «Груды IV Международной объединенной конференции по искусственному интеллекту», 11, М., 1975, стр. 54.

<sup>30</sup> Т. И. Ойзерман, Размышляя о предстоящем философском конгрессе, ВФ, 1978, 7, стр. 139.

<sup>31</sup> «После выступления „Коммуниста“, «Коммунист», 1978, 10, стр. 127.

сторона которой имеют место вне и независимо от индивидов, использующих его как средство общения. Этот подход может быть определен как социологизаторский. Аналогичный подход при определении сущности психики человека отмечается также и в психологии, где он противопоставляется, как в такой же мере односторонний и ошибочный, биологизаторскому подходу. Как отмечает Б. Ф. Ломов, «в психологии такой подход ведет к идеалистическому пониманию природы психических явлений, к утверждению их существования вне времени и пространства, вне материального субстрата, к попыткам рассматривать индивидуальное сознание как некоторую производную от взаимодействия сознаний, от абстрактно понимаемой культуры»<sup>32</sup>. Столь же неприемлем социологизаторский подход и в языковедении. Таким образом, в акте коммуникации при восприятии речи говорящего знаковую функцию выполняют только материальные стороны языковых единиц, ввиду чего языковым знаком следует считать не билатеральную языковую единицу в целом<sup>33</sup>, а лишь ее материальную сторону. Следовательно, языковый знак представляет собой не двустороннюю, а одностороннюю (и при этом только материальную) сущность<sup>34</sup>.

Высказана точка зрения, согласно которой, наряду с психическим образом обозначаемого объекта (причем образ не является знаковым по своей природе и с психологической точки зрения может рассматриваться в качестве содержания самого знака, хотя и не является одной из его сторон), в идеальную сторону двусторонней языковой единицы входит еще значение, обладающее знаковой природой, и, таким образом, наряду с материальной стороной представляет собой одну из сторон самого языкового знака. Эта сторона языкового знака определяется как отношение его материальной стороны к обозначаемой знаком сущности, т. е. к самому объекту и/или понятию об этом объекте<sup>35</sup>. При этом утвержда-

<sup>32</sup> Б. Ф. Л о м о в, указ. соч., стр. 86.

<sup>33</sup> Здесь требует дальнейшего обсуждения также вопрос о том, материальные стороны каких именно билатеральных языковых единиц могут рассматриваться как знаки. Если материальная сторона слова, несомненно, является знаком, то вопрос о морфеме, словосочетании (свободном), предложении и тем более о таких усиленно исследуемых в последнее десятилетие языковых единицах, как сверхфразовое единство и текст, является, по меньшей мере, дискуссионным. Поскольку материальная сторона морфемы (так же как и фонема) сама по себе не представляет, не замещает чего-либо, а лишь входит в слово как его составная часть, то ее, по-видимому, нет оснований рассматривать в качестве языкового знака. Что касается языковых единиц более высокого порядка, чем слово, то, решая этот весьма сложный вопрос, необходимо учитывать следующее. Каждая из названных языковых единиц выступает как составной компонент языковой единицы более высокого уровня. Поэтому возникает вопрос: если материальная сторона языковой единицы более высокого уровня образована из знаков, то является ли она в свою очередь знаком, а не комбинацией знаков? Можно считать установленным, что значение языковой единицы более высокого уровня не есть механическая сумма значений образующих ее языковых единиц низшего по сравнению с ней уровня. (О принципе аддитивности см.: В. З. П а н ф и л о в, О соотношении внутриязыковых и экстраязыковых факторов в функционировании и развитии языка, сб. «Теоретические проблемы современного советского языковедения», М., 1964, стр. 89.) Однако тем не менее весьма проблематичным представляется положение о том, что языковые единицы, начиная с предложения, выполняют такую же по своей сущности номинативную функцию, как и слово, а это ставит под сомнение правомерность положения о том, что материальная сторона такого рода языковых единиц, как и материальная сторона слова, представляет собой знак, а не комбинацию знаков. К этому следует добавить, что статус сверхфразового единства и текста как языковых единиц пока еще нельзя считать в достаточной мере обоснованным.

<sup>34</sup> Данное понимание языкового знака соответствует тому определению знака, которое дается в марксистско-ленинской философии (см.: «Философская энциклопедия», 2, М., 1962, стр. 177).

<sup>35</sup> См.: А. С. М е л ь н и ч у к, [реп. на кн.:] В. З. Панфилов, Философские проблемы языковедения, ВЯ, 1978, 4. Здесь А. С. Мельничук в несколько модифицированном виде излагает свою прежнюю точку зрения. Критический анализ точки зрения, в соответствии с которой идеальная сторона билатеральной языковой единицы пред-

ется, что таким образом определяемое значение знака будет специфичным, особым для каждого знака, так как, по мнению сторонников этой точки зрения, различаются друг от друга те отношения, в которых языковые знаки находят к обозначаемым объектам<sup>36</sup>. Материальные стороны двусторонних языковых единиц, действительно, представляют, замещают, т. е. находятся в знаковом отношении к различным классам объектов. Исключением здесь являются синонимы, которые относятся к одному и тому же классу объектов. Однако нельзя согласиться с тем, что характер знакового отношения, как это полагает А. С. Мельничук, будет различным в силу того, что отличаются друг от друга как сами материальные стороны двусторонних языковых единиц, так и те классы объектов, с которыми они соотносятся. Ведь сущность знаковой функции материальной стороны двусторонней языковой единицы не определяется ее конкретными свойствами. Наоборот, эти ее конкретные свойства нерелевантны для природы знакового отношения и они, следовательно, не могут оказывать влияния на характер этого последнего. Наличие во всех языках собственных имен и синонимов убедительно свидетельствует об этом. В самом деле, собственные имена по своим конкретным материальным свойствам отличаются друг от друга. Различными свойствами обладают и те объекты, с которыми они соотносятся. Однако при всем этом едва ли можно утверждать, что собственные имена имеют лексические значения или во всяком случае значения, сопоставимые по своему характеру со значениями нарицательных имен и что они отличаются друг от друга по этим своим «значениям». Каждое собственное имя, в отличие от нарицательного имени, выступает в чисто знаковой функции, как своего рода метка единичного объекта, а не класса объектов. Поэтому, хотя оно и может соотноситься со многими объектами, как, например, собственное имя человека или животного, его невозможно употребить в родовом значении, в то время как нарицательное имя, фиксируя признаки, общие для всего класса объектов, которые оно обозначает, употребляется для указания как на единичный объект данного класса объектов, так и на весь этот класс объектов<sup>37</sup>.

Что же касается синонимов, то их значения близки или тождественны (абсолютные синонимы), хотя они и имеют различные материальные звуковые облики. Очевидно, что если бы характер знакового отношения зависел от свойств материального облика слова, то синонимов вообще не могло бы быть в языке.

Такого рода языковые факты свидетельствуют о том, что знаковая функция материальной стороны языковой единицы, т. е. функция представления, замещения ею для мыслящего субъекта той или иной обозначаемой сущности, в принципе остается одной и той же, независимо от тех различий, которые существуют как между материальными сторонами языковых единиц, так и между обозначаемыми ими сущностями. Очевидно далее, что двусторонние языковые единицы отличаются друг от друга прежде всего потому, что в их идеальные стороны включаются образы (в гносеологическом смысле) тех объектов, которые обозначаются ими, но эти образы, в отличие от их материальных сторон, не являются знаковыми по своей природе.

---

ставляет собой отношение ее материальной стороны к обозначаемому классу объектов и рассматривается как одна из сторон языкового знака, дается нами в названной выше книге (см. стр. 56—60 указанного сочинения).

<sup>36</sup> См.: А. С. Мельничук, указ. соч., стр. 133.

<sup>37</sup> См. об этом также: В. З. Панфилов, Философские проблемы языкознания, стр. 58, а также стр. 262—268, где анализируется значение формы множественного числа собственных имен.

Языковой знак представляет собой весьма сложное, диалектически противоречивое явление. С одной стороны, он обращен на внешнюю действительность или, шире, на нечто, находящееся вне него, поскольку он выступает в качестве заместителя, представителя каких-либо ее предметов или явлений, будучи сам одним из материальных явлений действительности. С другой стороны, языковой знак выполняет эту функцию лишь постольку, поскольку в этом качестве он выступает для субъекта, обладающего абстрактным, обобщенным мышлением. Вне соотношения с субъектом языковой знак, как и любой другой знак, представляет собой лишь одно из материальных явлений. Далее, наличие языкового знака обеспечивает самую возможность абстрагирования и обобщения, производимых субъектом в процессе мышления, его познавательной деятельности, направленной на другие объекты действительности. В этом проявляется познавательная роль языкового знака, и по этой своей роли он выделяется среди других явлений действительности. С другой стороны, языковой знак играет социальную, коммуникативную роль. В процессе общения он выступает в качестве заместителя, представителя каких-либо объектов действительности не только для говорящего, но и для слушающего. Его социальное назначение выполняется лишь постольку, поскольку он выступает для носителей одного и того же языка в качестве заместителя, представителя одних и тех же объектов действительности и тех идеальных образов (в известной степени варьирующихся у носителей одного и того же языка), которые являются результатом их отражения. Социальная, коммуникативная функция языкового знака состоит и в том, что он должен способствовать выработке хотя бы приблизительно одинаковых образов, создаваемых в процессе познания действительности, у всех носителей соответствующего языка. Иначе говоря, благодаря наличию языкового знака сам процесс познания объективной действительности также приобретает социальный, общественный характер. В этом, в частности, состоит одно из существенных различий между познавательной деятельностью человека и животных. Таким образом, языковой знак, сам по себе имеющий чисто материальный характер, является одним из необходимых условий создания идеальных образов предметов и явлений действительности. Более того, хотя каждый языковой знак в отдельности не имеет подобия, сходства с языковым значением и тем классом объектов, с которым он соотносится, структура языка как системы знаков, т. е. как системы материальных сторон языковых единиц, ориентирована на структуру самой действительности и системы отражающих ее языковых значений<sup>38</sup> и, следовательно, в известной степени система идеальных сторон языковых единиц материализуется в языке как системе знаков и лишь в этой уже материализованной форме идеальное выступает как интересубъектное явление.

Марксистское понимание языкового знака и значения, а также языка в целом противопоставляется их релятивистской трактовке, широко представленной в современном буржуазном, да и не только буржуазном языкознании. Принцип произвольности языкового знака в концепции Ф. де Соссюра и его последователей как раз и зиждется на этом релятивистском истолковании природы языка. Как уже отмечалось, его суть заключается в том, что качественная определенность языковой единицы в обеих ее сторонах рассматривается как результат только внутрисистемных ее отношений с другими языковыми единицами, а язык в целом по существу

<sup>38</sup> См. также: В. З. Панфилов, *Философские проблемы языкознания* стр. 54—55.

сводится к реляционному каркасу<sup>39</sup>. Из этого, в частности, и следует, что языковое значение не есть образ тех или иных явлений действительности и является знаковым по своей природе. Как писал Соссюр, «в противоположность часто встречающемуся ошибочному представлению язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий» (стр. 118). Отсюда же вытекает и принцип имманентности языка. В самом деле, если в языке все есть продукт внутрисистемных отношений языковых единиц, то, следовательно, никакие экстралингвистические факторы, т. е. общество и мышление, не оказывают какого-либо воздействия на язык, и, следовательно, объясняя характер языковых явлений и причины их изменения, неправомечно привлекать какие-либо экстралингвистические факторы. Эта релятивистская концепция природы языка имеет в своей основе ошибочную трактовку соотношения категорий «вещь», «свойство», «отношение», суть которой сводится к тому, что объявляется примат категории «отношения» и «вещь» определяется лишь как пучок «отношений»<sup>40</sup>. В противоположность этому марксистско-ленинская философия, признавая объективность отношений, рассматривает их лишь как «о т н о ш е н и я в е щ е й», т. е. релятивистскому подходу в ней противопоставляется субстанциональный подход. При таком субстанциональном подходе качественная определенность фонем, из которых образуется материальная сторона таких языковых единиц, как слово, не может рассматриваться лишь как результат внутрисистемных фонологических противопоставлений, как пучок дифференциальных признаков. Конкретные материальные свойства звуков не создаются теми противопоставлениями, которые существуют в фонологической системе каждого данного языка, а, возникая по тем или иным причинам в процессе его функционирования, лишь используются для различения языковых единиц друг от друга (и в этом случае выступают как дифференциальные признаки фонем) или не используются в этих целях (и в этом случае не являются дифференциальными признаками фонем, а различают лишь варианты фонем). Иначе говоря (если употреблять здесь термин субстанция), материальная сторона языковой единицы является не формой, а субстанцией. Что касается идеальной стороны языковой единицы, то она также не есть форма, так как она является прежде всего результатом отражения тех или иных явлений действительности (как материальной, так и идеальной), хотя известную роль в ее формировании играют и внутрисистемные языковые факторы. Вместе с тем, в философском плане было бы неверным говорить и о ее субстанциональном характере, ибо с позиций материализма идеальное не есть нечто, существующее наряду с материальным как независимое от него и изначально данное.

Таковы лишь некоторые кардинальные проблемы, при решении которых наиболее очевидным образом проявляется связь языкознания с философией и которые требуют дальнейшей разработки на базе марксистско-ленинской философии.

Перед марксистско-ленинским языкознанием стоит также задача и иного рода. Ф. Энгельс писал, что «с каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для

<sup>39</sup> См., например: Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 283, 333, 337 и др.

<sup>40</sup> См. об этом: В. З. Панфилов, Философские проблемы языкознания, стр. 60 и сл.

развития материализма»<sup>41</sup>. Марксистско-ленинское теоретическое языкознание также может внести свой вклад в творческое развитие марксизма-ленинизма и прежде всего в такие его разделы, как теория познания и исторический материализм. И в этой связи особую важность приобретает дальнейшая разработка таких проблем, как взаимоотношение языка и мышления и, в частности, категории языка и мышления в их соотношении и историческом развитии, сущность языкового значения и природа языкового знака, общественная природа языка и его происхождение и развитие в процессе социальной деятельности человека и некоторые другие.

---

<sup>41</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 21, стр. 286. См. также: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 265—266; «Философия — человек — образ мира в современной науке» (передовая), ВФ, 1978, 7, стр. 7.

ФИЛИН Ф. П.

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Как известно, язык — важнейшее средство человеческого общения. Без него не было бы человечества. Между тем у людей, владеющих языком, может создаться иллюзия, что знания устройства и функционирования языка вовсе не обязательны. Человек выражает свои мысли, общие и специальные, и этого как будто достаточно. Язык вроде воздуха: мы им дышим и, занятые своими делами, обычно не замечаем или во всяком случае не думаем о своем дыхании. Конечно, вне экстремальных условий. В то же время трудно найти другое явление общества, которое так привлекало бы к себе внимание людей, как язык. «Муки слова» известны не только писателям, но и всем, кому сознательно приходится строить свою речь. Всеобъемлющие функции коммуникации и накопления знаний обо всем окружающем и о себе, орудием чего служит язык, привлекали и привлекают к этому уникальному явлению внимание не только лингвистов, но и представителей других специальностей. Лингвистические проблемы перерастают в философские, идеологические и политические. Лингвистам постоянно приходится учитывать эти обстоятельства и соответственно реагировать на них. Выход языкознания в сферу философии, идеологии и политики — огромная область исследования. В настоящей статье я затрону только некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету.

За последние два десятилетия большой популярностью у некоторых лингвистов стал пользоваться американский ученый Н. Хомский, выдвинувший гипотезу биологической «врожденности» языка и разработавший так называемую «порождающую (генеративную) грамматику». Популярность Хомского на Западе начинает проходить, но некоторые наши лингвисты упорно придерживаются его идей. Концепция Хомского — во многом противоречивая и непоследовательная — подверглась справедливой критике как у нас, так и на Западе<sup>1</sup>. Согласно Н. Хомскому, ребенок уже рождается с структурой универсальной грамматики, с набором идей, общих для всех народов и времен; все наши знания являются врожденными и оказываются предпосылкой для опыта, а не его результатом. Только этим, считает он, можно объяснить, почему ребенок уже в три-четыре года овладевает такой сложной системой, как язык; язык же взрослых на него не влияет. Имея врожденные идеи, «глубинную структуру» языка, ребенок лишь усваивает «поверхностную структуру» окружающей языковой среды. Усвоение ребенком английского или какого-либо языка — частное проявление «универсальной грамматики», реализация уже заложенных в ребенке «глубинных структур»<sup>2</sup>. Каждое выска-

<sup>1</sup> См., например: Н. Д. Андреев, Квасилингвистика Хомского, ВЯ, 1976, 5. Обширная зарубежная библиография, в которой критически оцениваются взгляды Н. Хомского, приведена в статье Роберта А. Холла мл. «Критика теории Хомского» (ВЯ, 1978, 5).

<sup>2</sup> Об этом см.: А. М. Шахнарович, Ж. Лендел, «Естественное» и «социальное» в языковой способности человека, ИАН СЛЯ, 1978, 3. Авторы справедливо отвергают главную идею Н. Хомского. О «глубинных структурах» верные замечания содержатся в статье: В. М. Солнцева, Относительно концепции «глубинной структуры», ВЯ, 1976, 5.

зывание «порождается» в процессе развертывания врожденной «универсальной грамматики», с чем связано и само название «порождающая», или «генеративная» грамматика. Эта «грамматика» нашла своих сторонников и среди некоторых советских лингвистов.

В схеме Н. Хомского все бездоказательно. «В последние годы оживленно, а подчас и очень страстно стали обсуждать вопрос: имеет ли значение наследственность в становлении психических свойств человека. Иными словами: запрограммированы ли определенные психические механизмы заранее? Нет, ибо психика как социальный феномен связана с бесконечно сложной совокупностью условных рефлексов, формирующихся в процессе становления и развития индивида, а главное, с выразительностью индивида в сложнейшую систему общественных отношений. Что же касается безусловных рефлексов, то они — проявление сугубо биологических процессов при взаимодействии организма со средой. Биологическое лишь предпосылка психического»<sup>3</sup>. Верно, что ребенок овладевает языком к 3-4 годам своей жизни. Редкие случаи, когда человеческое дитя оказывалось вне сферы человеческого общения, приводили к тяжелым последствиям. Такое существо, попадая к людям, не может стать полноценным человеком, остается полуживотным. Длительная история человечества создала биологические предпосылки тому, что сознание и язык формируются до 3-4 лет. Это так. Однако если бы психика и «универсальная грамматика» с ее идеями были бы заключены в генах и не зависели бы от социального опыта, то они сохранились бы и у изолированного от общества ребенка и с успехом проявились бы у него в любом возрасте. Но это совсем не так.

И как могут существовать сложные правила грамматики, языковые универсалии вне своего языкового воплощения (будь то звуковая, кинетическая и любая другая возможная и невозможная речь), так как в генах «записи» языковой информации никто не находит и никогда не найдет, ибо таковой в них нет и не может быть.

Налицо грубый отрыв сознания, мышления от языка, всегда имеющего конкретные формы своего существования. Без языка не бывает сознания, мышления и наоборот, что очевидно. Встают и другие вопросы. Почему «врожденные идеи» имеются только у человека и их нет у других животных? Верно ли, что эти идеи одинаковы для людей в самом начале их истории и у современного человека? Как это доказать? Таких доказательств, конечно, не существует. Для Н. Хомского и его последователей характерен принципиальный антиисторизм. Откуда появились «врожденные идеи», кто создал и запустил механизм «универсальной грамматики», остается неизвестным. Совершенно очевидно, что хомскианство — одна из разновидностей современного идеализма в языкознании. Антиисторичен и подход к развитию языка у отдельного человека. Ребенок усваивает к 3-4 годам своей жизни только основы родного языка. А дальше идет процесс усовершенствования его сознания, овладение богатствами речи. Знание языка (и языков) зависит от социальных условий человека и интереса к языку. Всем хорошо известно, что эти знания могут быть различными. Если бы «универсальная грамматика» была врожденной и порождалась бы сама по себе в определенной языковой среде, излишними были бы и школа и все другие формы образования.

Идея о «глубинных» и «поверхностных» структурах языка, вошедшая в моду среди части лингвистов, нам представляется также бесперспективной, не открывающей ничего нового. «Глубинные структуры» у Н. Хомского также связаны с «врожденными идеями» и представляют собой некие

<sup>3</sup> П. Р о к и ц к и й, Принципиальные вопросы современной генетики, «Коммунист», 1978, 9, стр. 74—75.

«сущности», которые могут быть представлены разными «поверхностными структурами». Каковы признаки этих «сущностей», как их отделить от «поверхностных» явлений, которые на поверку оказываются конкретными предложениями языка, остается неопределенным. На практике дело сводится к манипуляциям с разными предложениями. *Ученый пишет книгу* — здесь «расстояние» между «глубиной» и «поверхностью» как будто небольшое. *Книга пишется ученым* — оно увеличивается и т. п. Соотносительность предложений (а типов их много) друг с другом по смыслу — дело для языкознания не новое. Сводить эту соотносительность к «глубинным» и «поверхностным» структурам по крайней мере бесполезно, так как на самом деле она неизмеримо богаче и разнообразнее. Не случайно критики Н. Хомского (в том числе и его зарубежные коллеги) неоднократно указывали, что многое в синтаксисе языка не укладывается в схемы этого лингвиста. В связи с этим следует упомянуть вышедшую в 1976 г. в Париже книгу французского лингвиста К. Ажежа «Порождающая грамматика. Критические размышления», в которой дается обстоятельная критика «теории» Н. Хомского и его последователей. К. Ажеж указывает, что в основе этой «теории» лежат факты только английского языка (не во всей их совокупности!), что позволило одному из крупнейших западноевропейских лингвистов А. Мартине назвать «порождающую грамматику» американским «лингвистическим империализмом»<sup>4</sup>. В качестве мировых лингвистических универсалий подсовываются некоторые особенности английского языка. Для Н. Хомского, как и многих других структуралистских направлений, характерна абсолютизация дедуктивного метода, утверждение, что ценность теории не зависит от открытия новых фактов, а отсюда необоснованное тяготение к полной «математизации» лингвистики. Но применение математического аппарата лишь маскирует наукообразность теории «глубинных» и «поверхностных» структур. Если уж применять эти термины (в чем нет никакой надобности), то в языке все «глубинно», т. е. все имеет свое значение, причем нередко очень сложно, полисемантическое, и все «поверхностно», т. е. материально оформлено (в звуках, в строении слов и предложений), доступно для понимания. Если бы это было не так, язык не мог бы стать средством общения.

Одни и те же понятия в различных языках (а на земном шаре существует около трех тысяч языков) передаются по-разному. Когда эти понятия идентичны, перевод их не составляет особого труда. Однако структура понятий часто неодинакова, смыслы слов и предложений осложнены всякими привходящими элементами, характерными только для данного языка, что особенно относится к идиомам (только в русском языке имеется выражение *кричать во всю Ивановскую*, т. е. очень громко: когда-то царские указы читались на Ивановской площади в Кремле для собравшегося народа, что требовало от дьяков большого напряжения голоса, иначе мало кто их услышал бы). Все языки насыщены своими смысловыми особенностями, возникшими в результате особых исторических условий создателей и носителей этих языков. И в данном случае более или менее точный перевод с одного языка на другой в принципе осуществим, но требует от переводчика большого мастерства и знаний. Мировая литература знает огромное количество блестящих переводов поэтических и иных сложных произведений. Обычны и явления, когда понятия, выражающиеся в одном языке, вовсе отсутствуют в другом. Если перевод здесь не может помочь, происходят заимствования из одного языка в другой. И тут встает вопрос, все ли языки мира одинаковы по уровню своего развития. Положительный

<sup>4</sup> Cf. N a g è g e, La grammaire] g é n é r a t i v e. Réflexions critiques, Paris, 1976, стр. 47.

ответ на такой вопрос означал бы отрицание языкового развития, прогресса сознания и мышления. История человечества — сложный и неравномерный процесс. Одни племена и народы уходили вперед по своему культурному развитию, другие отставали, что находило свое отражение в их языках. Разумеется, продвижение вперед или отставание были не «врожденными», не расовыми, а социальными. Любой отставший в своем развитии язык при благоприятных условиях может стать высокоразвитым. Это ясно, когда речь идет о содержательной стороне языка. А как быть с фонетическими и грамматическими системами языков? В принципе и здесь мы должны допустить длительное совершенствование, прогресс, так как не могли же эти сложные системы появиться сразу. Безусловно, и формы языка прошли долгий путь развития от примитивного начала до современного состояния. Форма и содержание взаимосвязаны. Это положение было ясно для крупных лингвистов XIX в. Однако попытки выстроить в исторически последовательный ряд известные формальные особенности языков кончались неудачей. Почему флективные языки должны рассматриваться как высшая ступень развития агглютинативных, а агглютинативные как историческое развитие аморфных? Ведь русский (флективный), турецкий (агглютинативный) и китайский (аморфный) располагают одинаковыми возможностями для передачи знаний, накопленных человечеством. Кроме того, известно много случаев, когда языки, имевшие в прошлом развитые флексии, впоследствии теряли их (например, английский, персидский), в то же время прогрессируя в своем развитии. Сами признаки флективности, агглютинации и аморфности в различных языках представлены очень неодинаково и смешиваются между собой в одном и том же языке. А это означает, что исходный принцип изучения исторического развития формы был обоснован неправильно.

В поисках новых путей исследования возникло сравнительно-типологическое языкознание, которое имеет две взаимосвязанные задачи: описательную и объяснительную. Описательное сравнительно-типологическое языкознание должно установить сходство (и соответственно различие) фонетических и грамматических структур родственных и особенно неродственных языков больших регионов и всего мира, а объяснительное — исследовать происхождение и развитие этих структур. Очень важно определить состав языковых универсалий (т. е. общих для разных языков явлений), принципы их выделения. Наиболее перспективным представляется путь, намеченный советскими языковедами, которые к наиболее существенным универсалиям относят семантико-грамматические особенности (грамматические категории, особенности построения предложения), связанные с развитием мышления. Кое-что в этом отношении уже сделано, но главная работа еще впереди. И здесь в конечном счете мы приходим к вопросу о соотношении языка и мышления, их природе, происхождении и истории от начальных стадий до нашего времени.

Некоторые исследователи, пытаясь раскрыть тайны происхождения языка и мышления, обращаются к изучению языка ребенка, надеясь увидеть в процессе овладения ребенком речью этапы развития языка вообще. Каких-либо существенных результатов на этом пути не достигнуто, что и вполне понятно. Ребенок обучается языку в современной социальной среде у взрослых; история языка в его биологии не заложена (в отличие от развития эмбриона, в какой-то мере биологически повторяющего особенности отдаленных предков человека).

Язык — чрезвычайно сложное многоаспектное явление. В нем усматривают знаковую систему особого рода<sup>5</sup>. Языковой знак — категория

<sup>5</sup> В. М. С о л н ц е в, Язык как системно-структурное образование, ч. II — Знак, 2-е доп. изд., М., 1977.

двойкая. С одной стороны, это звуковые единицы (фонемы, морфемы, слова, предложения, контексты), которые имеют свои значения разного рода, выражают понятия и связи между понятиями, складывающиеся в человеческом мозгу. Асемантических элементов в языке нет. С другой стороны, наше мышление отображает объективную действительность: независимую от нашего сознания материю, всю окружающую нас среду, общество, субъективное состояние самого человека<sup>6</sup>. Очень важно отметить, что сущность языка вовсе не сводится к его знаковой стороне. Между тем, некоторые ученые (не только лингвисты) пытаются видеть в языке только знаковую систему. Ю. А. Петров в учебном пособии для философских факультетов под видом анализа познавательного процесса, его форм и методов проводит отнюдь не новую точку зрения, согласно которой все сводится к знакам, к формальным методам оперирования ими. Все языки, естественные и искусственные, уравниваются, хотя между ними существуют качественные различия. Языки в свою очередь рассматриваются как один из видов систем, а система — множество объектов с отношениями, существующими между ними<sup>7</sup>. Таким образом, стирается всякая грань между общественным и естественным, субъективным и объективным.

Получается, что всякие отношения, в том числе природные, выражаются знаками. Весь мир — совокупность знаков, только знаков чего? Богословы на этот вопрос отвечают: знаков бога. Но мы-то не богословы, а ученые. Поскольку имеется тенденция совместить несовместимое и найти между ними общие черты, выдвигается примат формального над содержательным. Выдвигаются на первое место «чисто формальные языковые системы» (которые могут не иметь никакого содержания<sup>1</sup>), «формально-содержательные» и «чисто содержательные». Все это не имеет никакого отношения к языковой действительности, поскольку в любом языке (в том числе и формально-логическом) имеются и содержание и форма, без чего никакой язык существовать не может. Увлечение формализмом (логическим, лингвистическим) вносит путаницу в теорию познания, идеологию.

Нередко язык рассматривается как код. Нет ничего ошибочнее этой точки зрения. Слово «код» во всех словарях определяется более или менее одинаково. «Код» — система условных знаков (символов) для передачи, обработки и хранения какой-либо информации (на каком-либо из естественных языков), искусственно создаваемая человеком для технических и иных надобностей. В его основе — сначала мысль, знание, затем условное закрепление за ними произвольно выбранных сигналов. В языке все иначе. Язык возник в отдаленные времена, развивался стихийно, значение и его обозначение возникло одновременно. А то ведь получается так: у человека есть мысли «в чистом виде» (чего не бывает), он их кодирует в форме языка, а слушающий или читающий их раскодирует и опять превращает в мысли. Сознание (мышление) отрывается от языка, рассматривается по отношению к нему как нечто независимое. Между тем, как учил К. Маркс, язык «есть практическое... сознание»<sup>8</sup>. Кодовые языки действительно условны, могут по мере надобности заменяться. Язык со своим неисчислимым богатством содержания, как было сказано выше, один из важнейших признаков нации, его заменить нельзя ничем, тем более по желанию группы исследователей. Между языком и кодовыми языками сходство только внешнее, слишком общее. Называть язык кодом

<sup>6</sup> Основательный анализ вопросов языка и мышления дан в кн.: В. З. П а н - ф и л о в, Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты, М., 1977.

<sup>7</sup> Ю. А. П е т р о в, Методологические вопросы анализа научного знания, М., 1977.

<sup>8</sup> К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч. 3, стр. 29.

можно разве что только образно, но такой образ опасен, так как он искажает сущность языка. Не надо так обеднять языковую действительность.

Достижения языкознания (а они значительны) добывались в сложной борьбе различных направлений, за которыми стоят различные теоретические концепции, связанные с философскими школами. За последние десятилетия широкое распространение получила структуральная лингвистика, сама по себе неоднородная, но имеющая общие черты: упор на изучение языка как системы, применение дедуктивных методов исследования и привлечение математического аппарата при языковых описаниях. То, что язык представляет собой систему, все звенья которой взаимосвязаны, безусловно верно. Язык как система изучался и до структуралистов. Любое, даже самое примитивное, описание языка всегда сталкивалось с взаимосвязью языковых явлений. Еще в античную эпоху было ясно, что именительный падеж относится к склонению и стоит в ряду с другими падежами. Понятие языка как системы значительно усовершенствовалось в XIX — начале XX в. Формулировка звуковых законов, открытых так называемыми младограмматиками, вообще немислима без установления определенных фонетических условий, в которых эти законы реализовались. В этом отношении языкознание добилося точности, которая свойственна не всем общественным наукам. Не случайно некоторые языковеды склонны вывести лингвистику из состава общественных наук и включить ее в науки естественные, что, конечно, неверно, так как язык — ярко выраженное общественное явление.

Что же нового вносят структуралисты в изучение языка как системы? Их исходная позиция — примат отношений, пронизывающих весь язык, включая и лексику, над языковой субстанцией. Степень отрыва языковых отношений от языковой материи в разных структуральных направлениях неодинакова. Для достижения частных целей в изучении языковых отношений в работах структурального направления имеется немало полезных результатов, выработаны новые интересные приемы исследования. На наш взгляд, такие работы следует поощрять. Однако многие структуралисты претендуют на большее: они считают свои концепции единственно правильными, а все остальные направления устаревшими, «традиционными» (в слово «традиционный» вкладывается отрицательный смысл). Возведенный в абсолют релятивизм приобретает явно философский характер, ничего общего не имеющий с марксизмом. Каких-либо весомых достижений в языкознании на этом пути не оказалось ни за рубежом, ни у нас. Новые предприятия, построенные на структуральном релятивизме, терпят крах. Например, группа сотрудников (Ю. Д. Апресян и др.) задумала составить новый словарь русского языка, отвергнув богатый опыт советской лексикографии как «традиционный» т. е. устаревший. При этом она исходила из того, что неисчерпаемое море лексических значений является суммой неких «элементарных смыслов», которых имеется всего то ли сто, то ли двести (авторы сами не могли определить их число). Эти «элементарные смыслы» были положены в основу определения значений слов. Было составлено несколько десятков статей «нового словаря» с пустыми определениями вроде *умирать* — «каузировать исчезать» или явными искажениями лексических значений. Был объявлен поход против оттенков значений, которые только «мешают» прямолинейным схемам. Естественно, что из задуманного словаря ничего не получилось. Примеров такого рода можно было бы привести много.

Совершенно очевидно, что не отношения порождают субстанцию (из ничего не получается ничего), а бесконечно разнообразная языковая субстанция обуславливает наличие весьма сложной сети связей между ее элементами. Пренебрежение языковыми фактами, их индивидуальными

особенностями не может привести к серьезным успехам, о чем говорит богатый опыт лингвистики у нас и за рубежом. Объективно существующие в языке связи между конкретными его явлениями, закономерности этих связей совсем не похожи на правила игры в шахматы, для которых безразлично, из чего сделаны фигуры, из дерева или слоновой кости. *Рабочие строят дом, Дом строится рабочими* — два нормальных соотносящихся друг с другом предложения. Но попробуйте применить формально ту же трансформацию *Кошка загрызает мышь* и *Мышь загрызается кошкой*, как сразу почувствуете сопротивление лексического материала — *Мышь загрызается кошкой* представляет собой искусственно построенную фразу, так никто не говорит (за исключением людей, не чувствующих языка). В трансформах структуралистов сплошь и рядом встречаются натяжки, а то и просто несуразности.

Очень важно само понимание языковой системы. Система языка включает в себя антисистемность, во всех своих уровнях она пронизана противоречиями<sup>9</sup>. Это вполне понятно. Исторические корни любого языка уходят в глубокую древность. В языке постоянно что-то отмирает и что-то нарождается. Изменения, происходящие обычно стихийно, заложены в самой структуре языка, а также появляются под внешним воздействием. Существительные в русском языке обычно изменяются по падежам, но под влиянием других языков у нас появляются несклоняемые существительные типа *пальто, бюро, боа, какаду* и т. п. (в общеупотребительном литературном языке их уже насчитывается более полутора тысяч, в специальной терминологии их гораздо больше), количество которых увеличивается. Совсем недавно появилось название государства *Бангладеш*, которое в нашей прессе почему-то не склоняется (*приехал из Пакистана, но приехал из Бангладеш*). Противоречия в языке наслаиваются одно на другое, перекрещиваются, и объяснить их можно (да и то далеко не всегда), только раскрывая историю конкретного языка, а для более ранних времен применяя методы сравнительно-исторического языкознания и смежных с ним дисциплин. Нередко можно слышать сетования по поводу чрезмерной сложности языка и пожелания лингвистам упростить его, чтобы не затрачивать так много сил на его изучение. Однако упростить язык никак нельзя, иначе он перестанет быть самим собой. Никто искусственно упрощенным языком как средством массового общения не будет пользоваться. Задача лингвистов состоит в другом: помогать овладевать нормами литературного языка, повышать культуру речи масс, не отменяя того (этого никто не сумеет сделать), что создавалось народом в течение многих веков.

Язык — не застывшая прямолинейная система, а вечно изменяющееся средство общения. Так было, так и будет (даже когда человечество в отдаленном будущем придет к всеобщему языку, этот язык все равно будет обогащаться сложным путем; впрочем, проблема всеобщего языка будущего пока относится к компетенции фантастов). Само развитие языка шло и идет через преодоление противоречий, без наличия которых не было бы и движения. Характерно, что последовательные структуралисты фактически игнорируют историю, которая не находит в их схемах, подчиненных одностороннему, упрощенному пониманию системности, себе места. История трактуется ими как ряд наложенных друг на друга синхронных срезов, «механизм» смены которых они объяснить бессильны. Лингвистический структурализм в своем принципе антиисторичен. Представители его стремятся видеть в языке не то, что в нем есть на самом деле, а «строитую» и непротиворечивую систему. В связи с этим иногда высказывается

<sup>9</sup> Р. А. Б у д а г о в, Система и антисистема в науке о языке, ВЯ, 1978, 4.

мнение, что в обиходном языке, в отличие от современного научного, заложено наивное (т. е. расплывчатое, примитивное) видение мира. Конечно, наука на то и есть наука, чтобы расширять и углублять сферы нашего познания, поднимать его на новые ступени. Однако правомерно ли противопоставлять научное мышление «обиходному» в век широкого распространения знаний среди народных масс? Не следует забывать и о том, что ученые глубоко знают только свою специальность, а во всем остальном они такие же люди, как и все другие, что основой научного языка является обиходный язык, без которого нельзя обойтись даже при комментировании формул, диаграмм, схем и прочих элементов научного языка. Сплошного текста из специальных терминов обычно не бывает. «Обиходные» слова (вроде *понимать, видеть, полный* и пр.) сохраняют свои исходные и вторичные значения и в научных сочинениях. Современный язык сохраняет мудрость веков и тысячелетий. А что «наивного» можно усмотреть в языке «Войны и мира» Толстого или «Тихого дона» Шолохова, далекого от «математической точности»? По-видимому, наивным (без кавычек) является видение языка теми лингвистами, которые «математизируя» все и вся, упрощают и искажают действительность.

С пониманием сущности языка связаны методы его исследования. В зависимости от поставленных целей эти методы чрезвычайно разнообразны даже в пределах одного и того же направления. Язык — явление многоаспектное. Некоторые из его аспектов поддаются исчислению, что открывает благоприятные перспективы для применения в языкознании математики и развития прикладной кибернетики, имеющей важное практическое значение. Проблемы машинного перевода с одного языка на другой, совершенствование искусственных машинных языков и разнообразных алгоритмов и многие другие вопросы ожидают активного участия в их решении математически подготовленных лингвистов. Кое-что в этом отношении уже сделано и делается у нас и за рубежом, хотя надежды на скорое решение таких проблем, широко распространенные в 50—60-е годы, во многом не оправдались. Все же мы остаемся оптимистами и рассчитываем на большие успехи в будущем в кибернетической лингвистике. Кстати, о термине. Многие ставят знаки равенства между кибернетическим (математическим, инженерным и пр.) языкознанием и прикладной лингвистикой. Это, конечно, неверно. Прикладная лингвистика — понятие более широкое. К ней относятся не только работы, связанные с ЭВМ, но и все, что имеет практическое значение для общества: создание лингвистических учебников и учебных пособий, словарей, справочников, разработка методов обучения языкам и т. п. Тем более нельзя ставить знаки равенства между прикладным языкознанием (в том числе кибернетическим) и структурализмом как методологическим направлением.

Как было сказано, для структурализма (в разной степени для его многочисленных видов) язык — это прежде всего такая знаковая система, которая подобна непротиворечивому логическому построению. Короче говоря, один знак — одно значение, отношения между знаками и значениями (они выдвигаются на первый план) подчиняются своим правилам на манер правил шахматной игры. Отсюда тяготение структуралистов к математической логике, которая будто бы сама по себе является единственным методом познания, заменяя собой любую философию. Достаточно создать такую модель языка вообще или какой-либо отдельной его стороны, которая успешно «работала бы», как все тайны языка будут раскрыты. Отсюда тяга к дедуктивным построениям и пренебрежительное отношение к изучению конкретных проявлений языка. Появляется множество моделей, «заранее заданных теорий», которые, увы, не приносят каких-либо ощутимых результатов ни для языкознания, ни для математики.

ни для кибернетики. Раздаются призывы устранить «совершенно неупорядоченную, неточную» терминологию «традиционной лингвистики» и заметить ее математической логикой, которая должна стать метаязыком математики и языкознания (как, впрочем, и других наук). Становится в сущности безразличным, какой язык (русский, английский или какой-либо другой) изучать методами математической логики. Подготавливаются кадры лингвистов, которые, не получая профессиональных лингвистических знаний, оказываются математиками среди языковедов и языковедами среди математиков, т. е. людьми с поверхностными знаниями. А это уже опасней появления очередных модных «универсальных теорий», поскольку последние недолго держатся на поверхности и лопаются, как мыльные пузыри. Характерно, что собственный язык таких лингвистов становится небрежным, переполненным всякого рода ляпсусами<sup>10</sup>.

Поскольку структурализм оказался наиболее распространенным направлением в США и Западной Европе, его сторонники у нас объявляют советское языкознание как особую школу лингвистики, опирающуюся на марксистско-ленинскую философию, несуществующим и призывают советских языковедов к слиянию с «мировым языкознанием» (т. е. с американским и западноевропейским со всеми их философскими истоками). Такой позиции в течение многих лет придерживается, например, В. А. Звегинцев<sup>11</sup>.

Однако язык имеет не только и не столько количественную сторону, поддающуюся исчислению. Он существенно отличается от машинных и алгоритмических языков, как и других искусственно созданных знаковых систем (например, дорожных знаков) тем, что его элементы (слова, предложения, грамматические формы и пр.) многозначны, имеют свойства образовывать новые переносные значения и оттенки значений, не говоря уже о бесконечном разнообразии их употреблений. Вместе с словесно-понятийным мышлением, являющимся ведущим и проявляющимся в языке, существует мышление образное (например, в живописи, архитектуре, скульптуре и иных видах зрительно воспринимаемого искусства), слуховое (музыка) и др., которое невозможно адекватно выразить словами. Всякого рода неязыковые ассоциации, присущие человеку, теснейшим образом переплетаются с языковыми, являются их составными частями. Даже в такой, казалось бы, простейшей однозначной команде, как *ать, два* содержатся разные гаммы эмоций, смотря по обстоятельствам. Не случайно, что и в научной терминологии, идеалом которой является однозначность термина, постоянно образуется семантический разнобой, с которым мы боремся, но далеко не всегда достигаем удовлетворительных результатов. Часто в один и тот же термин вкладывается различное содержание (особенно когда речь идет о явлениях социальных, классовых, мировоззренческих, но не только о них). Переплетение ассоциаций элементов языка настолько сложно и бесконечно (как само наше сознание), что не может поддаться самому изощренному количественному учету. Известно также, что в каждом языке значения выражаются по-разному, что еще более усложняет дело. Любой язык оригинален и неповторим. Из этого следует, что математические методы анализа языковых явлений (их не следует отождествлять с лингвистическим структурализмом), которые обещают многое в развитии нашей науки, имеют свои пределы. «Проблема генетических предпосылок психических особенностей человека пока еще очень слабо изучена. К ней с трудом приложимы математические методы,

<sup>10</sup> Примеры такого рода приводятся в статье: О. С. А х м а н о в а, О. В. Д о л г о в а, Синтаксическая теория и знание языка, ВЯ, 1979, 1.

<sup>11</sup> О позиции В. А. Звегинцева см.: Ф. П. Ф и л и н, О специальных теориях в языкознании, ВЯ, 1978, 2.

хотя заманчиво было бы установить количественные соотношения между генетическим и средовым компонентами в становлении различных признаков — нормальных и патологических<sup>12</sup>. Так обстоит дело с генетическими (биологическими) предпосылками психических особенностей человека. А ведь язык неизмеримо сложнее биологических закономерностей. Математики сами обычно правильно оценивают возможности своей науки. Так, например, известный советский математик Н. Н. Моисеев в статье «Компьютер ставит эксперимент» писал: «Сегодня мы, математики, ... отлично понимаем, что лишь небольшая часть проблем, стоящих перед человечеством, поддается математической формализации и описанию на языке математики. И это не следствие слабости математики. Эта ситуация отражает тот факт, что человек познает истину не только с помощью чисто логических процедур»<sup>13</sup>.

Я позволю себе привести высказывание еще одного математика. «Люди, далекие от математики, склонны приписывать ей непогрешимость, которой она не обладает, и усматривать в математических формулах своего рода „философский камень“... Действительно, если биолог оперирует такими расплывчатыми понятиями, как „влияние окружающей среды“, „наследственность“, „раса“, „приобретенный признак“ и обозначает их математическими символами, то от этого понятия не становятся лучше определенными». И далее: «Часто совершают еще одну ошибку: считают „величиной“ то, что не поддается измерению. Формула, являющаяся отнюдь не конечной целью прикладной науки, а лишь средством для описания и понимания известных и предсказания новых явлений, становится при этом надгробием мысли, на котором следовало бы написать: „Торжество науки над здравым смыслом“. Интересно заметить, что математики таких недоразумений не любят и часто предостерегают от переодевания нематематического содержания в математический наряд»<sup>14</sup>.

Языкознание, имеющее много стыков с другими дисциплинами, в том числе и с математикой, будет несомненно обогащаться в результате разработки перспективных стыковых проблем. Однако нельзя одно подменять другим. Языкознание всегда будет оставаться общественной наукой со своими методами, соответствующими специфике своего предмета. Тем более нельзя выдавать частное (например, математическую логику и кибернетику), как бы важно оно ни было, за всеобщее (философию, мировоззрение).

<sup>12</sup> П. Р о к и ц к и й, указ. соч., стр. 77.

<sup>13</sup> «Литературная газета», 1 I 1973.

<sup>14</sup> Г. Ш т е й н г а у з, Что такое математический метод?, «Наука и жизнь», 1974, 10, стр. 53.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ТРУБАЧЕВ О. Н.

«СТАРАЯ СКИФИЯ» (Ἀρχαία Σκυθία) ГЕРОДОТА (IV, 99) \*  
И СЛАВЯНЕ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Скифия никогда не была этнически однородной. Боги геродотовской Скифии носили имена, непонятные из иранского (Οἰτόςυρος, Θαμμάσάδας, Ἄπι, Ἀργύμασα, Παπαῖος), что признал уже один из основоположников теории иранской принадлежности языка скифов В. Миллер<sup>1</sup>. Еще в прошлом веке были известны факты, говорящие о древнем доскифском субстрате (ср., например, наличие скорченных захоронений в Нижнем Поднепровье, на реке Конской, или Конке<sup>2</sup>). Археологи знают, что скорченные захоронения характерны для тавров, которых никто, начиная с Геродота, скифами не считал. Вопрос о таврах приобретает большую остроту в ряду этнолингвистических проблем Скифии, их связи с синдмеотами Северо-Западного Кавказа, а также, заметим, с Ольвией и Березанью<sup>3</sup> позволяют отводить именно таврам центральное место среди нескифских компонентов Скифии.

Лингвисту странно читать слова археолога о том, что «в настоящее время таврские племена изучены хорошо»<sup>4</sup>, потому что сведения о языке тавров до сих пор равнялись нулю. Положительные результаты применения теории индоарийской, или собственно индийской языковой принадлежности синдов также к единичным остаткам таврского языка могут иметь значение для правильной оценки нескифского, индоарийского вклада в язык и культуру Скифии. Не повторяя здесь уже опубликованного<sup>5</sup>, возьмем новый пример — негреческий и явно культовый термин ΣΑΣΤΗΡ в знаменитой гражданской присяге Херсонеса предположительно III в.

\* Используется изд.: Herodoti historiae, recognovit C. Hude, Oxonii, 1976.

<sup>1</sup> В. Миллер, Осетинские этюды. Часть III, Исследования. М., 1887, стр. 132.

<sup>2</sup> W. Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. I, «Sitzungsberichte der Philos.-histor. Classe der Akademie der Wissenschaften», 116, Wien, 1888, стр. 722.

<sup>3</sup> А. М. Лесков, Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры, Киев, 1965, стр. 161.

<sup>4</sup> А. П. Смирнов, Скифы, М., 1966, стр. 37.

<sup>5</sup> О. Н. Трубачев, О синдах и их языке, ВЯ, 1976, 4, стр. 39 и сл. (таврская принадлежность имен Παλαχος, Δαυδάκη и их индоарийские этимологии — стр. 57, 62); е го же, Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье, ВЯ, 1977, 6, стр. 13 и сл. (таврская интерпретация названий Δορός, Урага, Δια, Teagin-, Asandi, Καζέκα, Αλεξανδρῶ, имя дуба у фульского племени, и др.); е го же, Таврские и синдмеотские этимологии, «Этимология. 1977» М., 1979, стр. 129 и сл.; этимологизируются как таврские имена \*salā, Βραβλινῶ, Sikita, \*salatā, mapanan).

(<sup>1</sup>)  
Sikita, \*salatā, mapanan).

до н. э. <sup>6</sup> Уже одних этих указаний достаточно, чтобы предположить здесь слово из языка тавров, зная условия Херсонеса (главенствующий культ таврской богини Девы), и если Фасмер отождествил ΣΑΣΤΗΡ с иран. (авест.) *sāstar-*, „властелин, государь“<sup>7</sup>, это объясняется лишь недооценкой местных условий, как, впрочем, и особенностей употребления авестийского слова *sāstar-*. Последнее, оказывается, применялось главным образом к врагам маздеистского вероучения<sup>8</sup>, т. е. потенциально принадлежало к слою «дэвовской» (по терминологии Грэя и Барроу<sup>9</sup>), генетически не иранской, а индоарийской лексики. Что касается херсонесской присяги, то ее контекст представляет очень ясное свидетельство: καὶ τὸν ΣΑΣΤΗΡΑ τῷ δάμῳ διαφυλάξῳ καὶ οὐκ ἐχθρομοιθῳ τῶν ἀπορρήτων οὐθὲν οὔτε ποτὶ Ἑλλανα οὔτε ποτὶ βάρ[ρ]βαρον «и ΣΑΣΤΗΡ народу охраню и не передам на словах ничего тайного ни эллину, ни варвару...»<sup>10</sup>. Если, согласно этимологии Фасмера, подставить сюда иран. *sāstar-*, „властелин, государь, князь“, то смысл целого станет от этого превратным и еще более темным, что является признаком ложной этимологии: «и князя (?) народу охраню и не передам на словах ничего тайного...». Но Херсонес времен присяги не знал ни князя, ни единовластия, а предположение о том, что загадочное ΣΑΣΤΗΡ обозначало какого-то одного верховного магистрата, высказывавшееся и до Фасмера, решительно опроверг Латышев: «...такому предположению противоречат 1) ярко демократический колорит всей присяги, 2) то обстоятельство, что такой представитель верховной власти нигде не упоминается в херсонисских документах, тогда как названия других магистратов встречались уже неоднократно»<sup>11</sup>. Позднее Жебелев весьма убедительно указал, что глагол διαφυλάττειν управляет только неодушевленными существительными, а термин ἀπορρήτα употребляется чаще всего о мистических культах. Этот ученый сделал также важный дальнейший вывод, что искать объяснение для слова ΣΑΣΤΗΡ надо не в области «древностей государственных», а в области «древностей сакральных»<sup>12</sup> и что этим негреским словом скорее всего назывался «таврский кумир»<sup>13</sup>. Как видим, наши историки внесли немалую ясность в понимание этого ключевого слова херсонесской присяги, и, однако, для окончательного разъяснения слова ΣΑΣΤΗΡ, признаваемого по-прежнему темным в литературе о Херсонесе, требуются дополнительные усилия этимолога. Иранское, авестийское слово *sāstar-* не подходит в качестве непосредственного источника, поскольку оно как раз означает одушевленное лицо («властелин, государь, князь») и не имеет культового значения, точнее — положительного культового значения («враг правой веры!» см. выше), что все вместе противоречит

<sup>6</sup> В. В. Л а т ы ш е в, Гражданская присяга херсонисцев, в кн.: В. В. Л а т ы ш е в, ПОНТИКА, СПб., 1909, стр. 142 и сл., особенно стр. 163 и сл.

<sup>7</sup> M. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland, в кн.: M. V a s m e r, Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, I, Berlin, 1971, стр. 156. В. И. Абаев («Скифский язык», в кн.: В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949) не упоминает этого термина.

<sup>8</sup> Chr. B a r t h o l o m a e, Altiranisches Wörterbuch, 2. Aufl., Berlin, 1961, стр. 1573.

<sup>9</sup> T. B u r r o w, The Proto-Indoaryans, «Journal of the Royal Asiatic Society», 1973, стр. 132; L. H. G r a y, The «Ahurian» and «Daevian» vocabularies in the Avesta, JRAS, 1927, стр. 427—441 (цит. по Барроу).

<sup>10</sup> В. В. Л а т ы ш е в, указ. соч., стр. 144—145.

<sup>11</sup> Там же, стр. 165.

<sup>12</sup> С. А. Ж е б е л е в, Херсонесская присяга, в кн.: С. А. Ж е б е л е в, Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи, М.—Л., 1953, стр. 236—237. Ср. еще: А. И. Т ю м е н е в, Херсонесские этюды. IV. ВДИ, 1950, 2, стр. 51.

<sup>13</sup> С. А. Ж е б е л е в, указ. соч., стр. 244—245.

характеристике термина ΣΑΣΤΗΡ. Поэтому этимологически отождествлять последнее надо не с иранским словом, а с родственным, но особым семантически др.-инд. *sāstrá*-ср. р. «божественная, религиозная книга, свод»<sup>14</sup>, что отлично соответствует херсонесской присяге: «и б о ж е с т в е н н ы й с в о д народу охраню и не передам (не выдам) ничего тайного ни эллину, ни варвару...».

К единственно правильному пониманию ΣΑΣΤΗΡ как обозначения сакрального, тайного свода, «legum summa», как догадывался в свое время Латышев<sup>15</sup>, приводит нас этимологическая интерпретация этого слова из индоарийского, древнеиндийского, индоарийская концепция таврского языка. Социальнолингвистическая весомость термина с подобной семантикой, безусловно одного из центральных в религиозноэтической лексике соответствующего языка и культуры, в свою очередь, недвусмысленно свидетельствует в пользу названной концепции языка тавров.

Тавры имели, видимо, близких родственников в сатархах, занимавших север Крыма<sup>16</sup>; и те, и другие пиратствовали на море и имели убежища в пещерах, ср. известное толкование (*Satarcheos*) *Spalaeos* (Plin. NH VI, 23) из греч. Σπήλαιοι «пещерники»<sup>17</sup>. Этноним *Satarchae*, вариантный во второй части с разбиравшимся ранее *Satauci* (Плиний)<sup>18</sup>, соблазнительно расшифровать как «семь уделов»; ср.— как аналог возможному праkritскому фонетическому состоянию северопонтийскоиндоарийского — пали *satta* (при санскритском *sapta*) «семь» и др.-инд. *arghá-* «цена, стоимость». Случайно ли примыкавшие к Крыму с севера земли носили у османских турок название *Едисан*, что можно понять как «семь (крупных) чисел»? Тюркская форма оказывается переводом более древнего местного обозначения.

Геродот не упоминает сатархов, но из этого еще не следует, что они появились здесь поздно, как иногда думают (так, *Satarchae* впервые упоминаются Помпием Мелой на севере Крыма, у Перекопа, почему, например, Ростовцев не считал их древними насельниками собственно Крыма<sup>19</sup>). Но, кроме чисто лингвистических соображений, против этого говорит упоминавшаяся культурная близость сатархов именно с таврами, едва ли сложившаяся вторично и за короткое время.

Мы приблизились к месту, которое было для Геродота в его скифском рассказе как бы центральным в Скифии. Такой срединной точкой Скифии ему представлялась Ольвия, или — ближе к тексту — торжище борисфенитов, город у впадения Южного Буга (Herod. IV, 17). Примыкающая местность с изрезанной береговой линией, Кинбурнским полуостровом —

<sup>14</sup> M. Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary, New edition, greatly enlarged and improved, Oxford, 1964, стр. 1069; M. Maurya, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, III, Heidelberg, 1976, стр. 330. Форма слова ΣΑΣΤΗΡ испытала грецизацию, ср. суффикс -τηρ. Иную гипотезу предлагает молодая исследовательница Е. В. Кухтина [«К вопросу о значении термина *астер* в „Херсонесской присяге“» (в печати)]: вслед за С. А. Жебелевым она ищет корень ΣΑΣΤΗΡ в греч. (дельф.) *σᾶσις* «просеивание», якобы первонач. «межевая сетка», откуда ΣΑΣΤΗΡ — «угломерный инструмент». Это словопроизводство сомнительно семантически, лингвогеографически и формально, так как *σᾶσις* — отглагольное производное (\**tyā-ti-s*).

<sup>15</sup> В. Латышев, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae, IV, Petropoli, MDCCCXI, N 79.

<sup>16</sup> Ю. М. Десятчиков, Сатархи, ВДИ, 1973, 1, стр. 131 (со ссылкой на В. Д. Блаватского).

<sup>17</sup> Там же, стр. 136 и сл. (вслед за Кисслингом).

<sup>18</sup> О. Н. Трубачев, Лингвистическая периферия древнейшего славянства, стр. 48.

<sup>19</sup> М. И. Ростовцев, Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических, Л., 1925, стр. 46—47.

геродотовской Гилеей «Лесной страной», далеко вдающейся в море <sup>20</sup>, не случайно нам напоминает Таманский полуостров и дельту Кубани. Давно замечено, что это классические реликтовые зоны. Примерно в этих двух районах Геродот упоминает и киммерийцев <sup>21</sup> (последнее прибежище и место погребения киммерийских царей он помещает на реке Днестр). Нельзя не обратить внимание на то, что в тех же районах (приазовской Синдике и упомянутых местах Северо-Западного Причерноморья) древние авторы знают синдов. Речь идет не о позднейших литературных переносах вроде синдов на Истре-Дунае, вместо Гипаниса-Кубани, в обработке мифа об аргонавтах Аполлония Родосского (Schol. Dionys. 681; Schol. Apoll. Argon. 321) <sup>22</sup>, а о реальных фактах истории.

Дело не ограничивалось посещениями заезжих жителей Боспора и Синдикы, оставившими след вроде памятника тому «моряку с Боспора» (*ἀπὸ Βοσπόρου ναύτης*) на Тендровской косе <sup>23</sup> или находки с надписью ΑΠΑΤΟΡΝΗΣ на острове Березань <sup>24</sup>, связанной с культом Афродиты-Апатуры в Синдике. Дело в существовании здесь, в низовьях Днепра, Синдской Скифии — Scythia Sindica (Plin. NH IV, 84). В этом свидетельстве Плиния сомневались, считали появление здесь синдов вторичным; Мюлленхоф полагал, что название Scythia Sindica у Плиния перенесено на запад от Меотиды, подобно тому как у того же автора туда пересажены (*verpflanzt*) меоты <sup>25</sup>. В нашей литературе последних десятилетий высказывалось мнение, что Scythia Sindica Плиния — это Синдика, подчиненная скифам <sup>26</sup>, или же просто Синдская Скифия отождествлялась с таманской Синдикой <sup>27</sup>. И то, и другое неверно прежде всего историкогеографически: Скифия никогда не распространялась на азиатскую часть Боспора Киммерийского и искать Синдскую Скифию в Синдике на Тамани — бесполезное дело. Ростовцев, например, со всем вниманием отнесся к сообщению Плиния о Синдской Скифии близ Днепра <sup>28</sup>, и он был прав.

Геродот не знает синдов в этих местах Северного Причерноморья, но зато хорошо знает традицию о «детях рабов», изложением которой, можно сказать, начинается книга IV его «Истории», посвященная Скифии: скифы, преследуя киммерийцев, углубились в Азию (Мидию) и провели вдали от дома 28 лет, а за это время их жены стали жить с их рабами и от внебрачного союза родилось целое молодое поколение, которое взбунтовалось против возвращающихся господ. Попутно выясняется, что скифы по соображениям удобства (передвижения?) ослепляли своих рабов, будучи не землепашцами, а кочевниками (*ὅ γάρ ἀράται ἐῖσι ἀλλὰ νομάδες*. Herod. IV, 2). Для лучшего понимания дальнейшего эти сведения представляют прямой интерес, потому что ниже, после перечисления скифов-пахарей, скифов-земледельцев, скифов-кочевников и царских скифов, Геродот говорит, что эти последние считают прочих скифов своими раба-

<sup>20</sup> См. подробное описание: П. О. Бурачков, О местоположении древнего города Каркинитеса и монетах, ему принадлежащих, «Записки Одесского общества истории и древностей», IX, 1875.

<sup>21</sup> Ср.: А. П. Смирнов, указ. соч., стр. 27.

<sup>22</sup> См.: В. В. Латышев, Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, I. Греческие писатели, СПб., 1890, стр. 215, 436.

<sup>23</sup> В. Латышев, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae, I, Petropoli, MDCCCLXXXV, стр. 54, 172 (N 183).

<sup>24</sup> E. H. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 479; И. И. Толстой, Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья, М.—Л., 1953, стр. 55 (№ 78).

<sup>25</sup> К. Мюлленхофф, Deutsche Altertumskunde, III, Berlin, 1892, стр. 60.

<sup>26</sup> В. И. Мошинская, О государстве синдов, ВДИ, 1946, 3, стр. 204, примеч. 3.

<sup>27</sup> Ю. С. Крушкoл, Древняя Синдика, М., 1971, стр. 9.

<sup>28</sup> М. И. Ростовцев, Скифия и Боспор, Л., 1925, стр. 59.

ми (Herod. IV, 20). Собственно скифы («лучшие», «бóльшие» скифы, там же) — это прежде всего кочевники (см. выше), которых трудно отделять от царских скифов. В скифах-пахарях, отграничение которых от скифов-земледельцев представляется искусственным и неверным не только нам, но и некоторым другим исследователям уже с давних пор<sup>29</sup>, угадываются те самые геродотовские рабы из легенды, подчиненное земледельческое население. Скифы-пахари (Σκίθαι ἀροτῆρες) и скифы-земледельцы (Σκίθαι γεωργοί) не были собственно скифами, что в научной литературе замечено также давно<sup>30</sup>. Разница между теми и другими (греч. ἀροτῆρ «пахарь, крестьянин», γεωργός «земледелец») остается для читателя неясной.

Высказывавшуюся в разное время и разными авторами мысль о славянстве земледельческих скифов<sup>31</sup> нельзя считать доказанной по следующим соображениям. Во-первых, о скифах-пахарях Геродот говорит, что они «сеют хлеб не для того, чтобы кормиться, но для продажи» (ὄχι ἐπὶ σιτήσι σπειροῦσι τὸν οἶτον ἀλλ' ἐπὶ πρῶσι. Herod. IV, 17), а это свидетельствует не о славянском земледелии, а скорее о производстве зерна для территориально близкого греческого эмпория (вещь маловероятная для славян в столь раннее время — V в. до н. э.!). Например, по свидетельству археолога, земледелие зарубинецкой культуры Среднего Поднепровья имело небольшие масштабы, рассчитанные «на удовлетворение личных небольших потребностей», а на античный Юг сбывались продукты скотоводства, охоты и лесных промыслов<sup>32</sup>. В связи с этим и локализовать скифов-пахарей было бы реальнее ближе к скифам-земледельцам на Нижнем Днепре, а не в Подольской и Киевской губерниях и не «за алионами», как буквально у Геродота (там же), ср. ниже этимологию этого племенного названия. Во-вторых, проблематичным поискам славян в земледельческих скифах давно и убедительно противостоит традиция отождествления геродотовских «детей рабов» и синдов этих мест. Геродотовский рассказ о возмущении внебрачных детей рабов позднейшие авторы приурочивают к синдам, на что Ростовцев обратил пристальное внимание, сопоставив места из Валерия Флакка и Аммиана Марцеллина: *degeneresque ruunt Sindi glomerantque paterno crimine nunc etiam metuentes verbera turmas* (Val. Flacc. VI, 86 и сл.); *longo exinde intervallo paene est insula quam incolunt Sindi ignobiles post eriles in Asia casu coniugiis potiti dominorum et rebus* (Amm. Marc. XXII, 8, 41)<sup>33</sup>. Тенденция распространять название «дети рабов» на другие народы в этих местах держалась долго, примером чего могут служить Σκίθαι Δουλοσπόροι «скифы, дети рабов» у ряда авторов<sup>34</sup>, такое прозвище — из иранских уст — получили даже пришлые германцы — \**bast-arna-* букв. «дети, потомки рабов»<sup>35</sup>, но на славян это не распространилось.

Таким образом, Геродот не упоминал о славянах, однако это несколько не умаляет значение его «Истории» для изучения славянской древности, что мы и постараемся показать. В связи со сказанным выше обращает на себя внимание одно место из описания Скифии: ἀπὸ Ἰστρου αὐτῆ ἤδη(κῆ) ἀρχαίη Σκιθίη ἐστὶ, πρὸς μεσοαβρίην τὴν καὶ νότον κειμένην, μέχρι πάλ-

<sup>29</sup> См., вслед за Минзлом: Т. Р е к к а п е н, *The ethnic origin of the Δουλοσπόροι*, Helsinki, 1968 (= «Arctos. Acta philologica Fennica», Suppl. I), стр. 128.

<sup>30</sup> E. V o n n e l l, *Beiträge zur Altertumskunde Russlands*, I, St. Petersburg, 1882, стр. 363.

<sup>31</sup> См., например: Т. Р е к к а п е н, указ. соч., стр. 129 (с литер.).

<sup>32</sup> Е. В. М а к с и м о в, *Зарубинецкая культура*, сб. «Проблемы этногенеза славян», Киев, 1978, стр. 50.

<sup>33</sup> М. И. Р о с т о в ц е в, указ. соч.

<sup>34</sup> Т. Р е к к а п е н, указ. соч., стр. 121 и сл.

<sup>35</sup> О. Н. Т р у б а ч е в, *Лингвистическая периферия древнейшего славянства*, стр. 25.

ιος Καρκινιτιδος καλεομένης (Herod. IV, 99) «от реки Истр это уже Стара́я Скифия, простирающаяся на юг и на юго-запад, до города Каркиннитиды». В литературе это название толковалось как «исконная», «главная» Скифия, Erzskythien<sup>36</sup>. Но при этом бросается в глаза противоречие, в которое вступает такое понимание и тот факт, что «царские, лучшие и большие скифы» (Σχίθαι οἱ ἀριστοὶ τε καὶ πλείστοι. Herod. IV, 20), почему-то оказываются в стороне от «коренной» Скифии — за Днепром. В другом месте<sup>37</sup> я попытался показать, что это известие образует как бы коррелятивную пару с другим крайне любопытным известием Геродота: Ὡς δὲ Σχίθαι λέγουσι, νεώτατον πάντων ἐθνέων εἶναι τὸ σφέτερον (Herod. IV, 5) «скифы говорят, что их народ — самый молодой из всех народов». Это место надо целиком отнести к настоящим скифам, поскольку здесь, видимо, отражено их собственное генеалогическое кредо. Теперь очевидно, что предыдущее выражение надлежит понимать именно как «Старая Скифия». Вместе с тем закономерно предположение, что Старой Скифией, в отличие от скифов-младших, называлась какая-то другая, нескифская часть более крупного целого. Можно думать, что Геродот сохранил нам драгоценное первое письменное свидетельство о древнем разделении индоиранской ветви на иранцев-скифов и индоарийцев, скрывающихся под именем Старой Скифии. Добавим, что Старая Скифия Геродота и Синдская Скифия других авторов (выше) территориально совпадают, после чего круг поисков на данной стадии замыкается. Разыскания следов индоарийского (неиранского) языкового субстрата, начатые в скромных размерах на Таманском полуострове, в Синдике, и приведенные затем довольно неожиданно к положительным результатам в Таврике, должны проводиться с меньшим основанием на берегах Старой Скифии, в Северо-Западном Причерноморье.

Подтверждением этнических свидетельств и оппозиции «старые» — «молодые» скифы процитированного выше начала генеалогической легенды скифов у Геродота оказывается внешне совершенно самостоятельная скифская генеалогическая легенда Диодора Сицилийского: ταῦτον [scil. Σχίθην] δὲ γενόμενον ἐπιφανέστατον τῶν πρὸ αὐτοῦ τοὺς λαοὺς ἀφ' ἑαυτοῦ Σχίθας προσαγορεύσαι. τῶν δὲ ἀπογόνων τούτου τοῦ βασιλέως ἀδελφοὺς δύο γενέσθαι διαφόρους ἀρετῇ, καὶ τὸν μὲν Πάλον, τὸν δὲ Νάπην ὀνομάσθαι. τούτων δ' ἐπιφανεῖς πράξεις κατεργασαμένων καὶ διελασμένων τὴν βασιλείαν, ἀφ' ἑκατέρου τοὺς λαοὺς τοὺς μὲν Πάλους, τοὺς δὲ Νάπας προσαγορεύθηναι (Diod. Sic. II, 43) «[Скиф]... превзойдя славою всех своих предшественников, назвал народ по своему имени скифами. В числе потомков этого царя были два брата, отличавшиеся доблестью; один из них назывался Пал, а другой — Нап. Когда они совершили славные подвиги и разделили между собой царство, по имени каждого из них назвались народы, один палами, а другой напами»<sup>38</sup>. В племенном названии Πάλοι мы видим вариант (порчу) греч. Παλαίοι «Старые, Древние». Последняя форма засвидетельствована в другой связи Плинием: ibi Naraei interisse dicuntur a Palaeis (Plin. NH VI, 50) «здесь (на Танаисе), говорят, напеи были истреблены палеями». Еще Мюлленхоф правильно

<sup>36</sup> Ср. еще: Н. И. Надежди́н, Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями, «Записки Одесского общества истории и древностей», I, 1844, стр. 16—17, 78, 83 (вслед за Линднером); С. А. Жебелев, Скифский рассказ Геродота, в кн.: С. А. Жебелев, Северное Причерноморье, стр. 343 (с литер.).

<sup>37</sup> О. Н. Труба́чев, Ein Fall der Typologie: das Problem der 'alten Arier und die arische Trennung, «Wechselbeziehungen diachroner und synchroner Sprachwissenschaft. Festschrift für Oswald Szemerényi zum 65. Geburtstag» (= «Amsterdam [Studies in the theory and history of linguistic sciences]), Amsterdam (в печати).

<sup>38</sup> Цит. по кн.: В. В. Латышев, Известия древних писателей греческих и латинских..., I, стр. 458.

объяснил этих Palaei как Παλαίοι<sup>39</sup>, хотя напрасно искал их далеко на востоке (ср. прямо противоположное и точно локализованное указание Геродота на Старую Скифию на западе). Можно согласиться с мнением, что в смутном предании о размежевании Πάλοι — Νάπαι сохранилось свидетельство о каком-то большом разделе в этом этнолингвистическом регионе<sup>40</sup>. При этом Πάλοι / Palaei явно было греческой передачей, переводом туземного термина (\**san-arya-* «старые арии»?), но отнюдь не скифским самоназванием<sup>41</sup>, тогда как в имени Νάπαι отразилось противопоставленное иноязычное слово, и его возможная этимология подкрепляет принятую идентификацию Πάλοι / Palaei: ср. индоиранские названия отпрыска, сына, внука в др.-инд. *nāpāt*, авест., др.-перс. *napāt*, ср.-перс. *nar*, н.-перс. *navā*, *navāda*. Таким образом, диодоровскую пару этнонимов Πάλοι καὶ Νάπαι нужно читать как «Старые и Потомки». Загадочная тавтология наименований Скифия и Старая Скифия постепенно проясняется, позволяя по-новому взглянуть и на сложные истоки скифской генеалогической легенды. Согласно этой легенде, первым человеком в этой, еще пустынной, земле был некто Таргитай (Herod. IV, 5). В литературе правильно обращалось внимание на автохтонность Таргитая, бывшего сыном Зевса и дочери реки Борисфена, а также на принадлежность его к Старой Скифии<sup>42</sup>. Довершающим лингвистическим штрихом при этом может быть указание на близость имени Ταργίταος, обозначавшего, в свете изложенного, видимо, не скифа<sup>43</sup>, и имени меотянки (иксоматской принцессы) Τιργατάω, жены синдского царя Гекатея<sup>44</sup>. Происхождение имени Ταργίταος из иран. \**darga-tava-* «долго-мощный» (?)<sup>45</sup> не очень вероятно, особенно если учесть замеченное соответствие имени Τιργατάω в Передней Азии — *Tirgutawiya* (II тыс. до н. э.) — задолго до появления там иранского элемента<sup>46</sup>.

Иранисты, стремясь объяснить из иранского языковой материал, приуроченный к Старой Скифии, сталкивались с большими трудностями. Достаточно сказать, что такие якобы скифские личные собственные имена как Σάβλιος, Ἰδάνθουρος, Γουδρος, Ἀνάχαρσις (все это — имена царей и знатных людей, кстати, сплошь родственники!) не имеют иранской этимологии<sup>47</sup>. Происхождение некоторых из этих до сих пор темных и, видимо, приблизительно записанных Геродотом имен можно прояснить с помощью древнеиндийского. Возьмем имена Анахарсиса и его отца Гнура. Знаменитый мудрец, побывавший у греков, вошел в историю под «говорящим» именем, второй компонент которого — *rsi* — давно идентифицирован как др.-инд. *rṣi-* «мудрец»<sup>48</sup>. Все имя Ἀνάχαρσις можно было бы отождествить с древнеиндийским сложением *maha-rṣi-* «великий мудрец», за исключением начального А-, привативный характер

<sup>39</sup> К. М ü l l e n h o f f, Deutsche Altertumskunde, III, Berlin, 1892, стр. 23.

<sup>40</sup> Ср.: К. М o s z y ŋ s k i, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław—Kraków, 1957, стр. 113.

<sup>41</sup> Так см.: Э. И. С о л о м о н и к, Новые эпиграфические памятники Херсонеса, Киев, 1964, стр. 12.

<sup>42</sup> А. М. Х а з а н о в, Легенда о происхождении скифов, «Скифский мир», Киев, 1975, стр. 74 и сл.

<sup>43</sup> Инородство родоначальника — распространенный мотив династических и генеалогических легенд.

<sup>44</sup> Ср. еще: К. М ü l l e n h o f f, указ. соч., стр. 111.

<sup>45</sup> В. И. А б а е в, указ. соч., стр. 163.

<sup>46</sup> О. Н. Т р у б а ч е в, О синдах и их языке, ВЯ, 1976, 4, стр. 60.

<sup>47</sup> М. V a s m e r, Skythen—Sarmaten: Sprache, «Eberts Reallexikon der Vorgeschichte», 12, 1928, цит. по кн.: М. V a s m e r, Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, I, стр. 184.

<sup>48</sup> Так уже считал Л. Майер, см.: М. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland, в кн.: М. V a s m e r, Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, I, стр. 114.

которого («не-»), действительный как для греческого, так и для индоиранских языков, может получить объяснение как вторичное наращение имени, так сказать, уже после осуждения скифами Анахарсиса за следование обычаям греков. Это отрицание, кажется, получило буквальное отражение в рассказе об Анахарсисе, передаваемом Геродотом явно со слов скифов: καὶ οὖν ἦν τις εἰρηταὶ περὶ Ἀναχάρσιος, οὗ φασὶ μὲν Σκῆθαι γινώσκειν, διὰ τοῦτο ὅτι ἐξεδήμησέ τε ἐς τὴν Ἑλλάδα καὶ ξεινικοῖσι ἔθεσι διεχρήσατο (Herod. IV, 76) «и теперь, если кто-либо скажет об Анахарсисе, скифы говорят, что не знают его за то, что он ездил в Грецию и принял чужеземные обычаи». Что касается отца Анахарсиса, интересно, что он упоминается древними под двумя разными именами, причем одно из них — чисто греческое — Δαυκέτης (Luc. Sam. Scythes, 3)<sup>49</sup>, производное от δαυκος «вид зонтичного растения, пастернак, морковь» тогда как другое имя, уже упоминавшееся Γυῶβρος (Herod. IV, 76) — темное, иноязычное. Для несколько приблизительного сравнения, ослабленного вероятной порчей формы Γυῶβρος у Геродота, но подкрепляемого глоссирующим Δαυκέτης у Лукиана, можно предложить др.-инд. *gaṇḍīra-* «какое-то огородное растение» или *gārjara-* «морковь». Греч. Δαυκέτης, таким образом, было бы калькой местного Γυῶβρος, а Анахарсис, «сын Пастернака», получил бы некоторое подобие индоарийской родословной. Между прочим, Лукиан Самосатский не всегда заслуживает того недоверия, с которым к нему относятся современные ученые<sup>50</sup>, полагая, что приводимые им имена — «сплошь выдумки»<sup>51</sup>. Достаточно вспомнить, что в той же новелле «Скиф» этот писатель подарил науке важный социальный термин из скифского быта — прозвище οἱ ὀκτάποδες «восьминогие», т. е. «имеющие пару волос с повозкой (о простых людях)»<sup>52</sup>.

Индоарийские этимологии из Старой Скифии можно продолжить. Выше каллипидов сидели, по Геродоту, к северу от Старой Скифии ализоны, имя которых, кроме народноэтимологического сближения с греч. ἀλαζῶνες «болтуны» (?)<sup>53</sup> и даже с амазонками<sup>54</sup>, в свое время получило у Томашека этимологию из \**ara-zāna-* «von abgesondertem Geschlecht»<sup>55</sup>. Последний со свойственной ему пронизательностью был, пожалуй, ближе всех к истине, однако предложенная им реконструкция остается этнически индифферентной. Членение в общем кажется правильным, но надо иметь в виду, что по-ирански «род» — *zantu-*<sup>56</sup>, в то время как по-индийски — *jana-*, ср. и его отражения в личных именах индоарийцев в Перед-

<sup>49</sup> Цит. по кн.: В. В. Л а т ы ш е в, Известия древних писателей греческих и латинских..., I, стр. 544.

<sup>50</sup> Ср., например: Т. В. Б л а в а т с к а я, Очерки политической истории Боспора в V—IV вв. до н. э. М., 1959, стр. 146.

<sup>51</sup> М. V a s m e r, указ. соч., стр. 113.

<sup>52</sup> Э. А. Г р а н т о в с к и й, Индоиранские касты у скифов. «XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., 1960, стр. 15.

<sup>53</sup> А. А. Б е л е ц к и й, Лексикология и теория языкознания (ономастика), Киев, 1972, стр. 45. Греческое слово, видимо, и вызвало к жизни вариант этнонима Ἀλαζῶνες в отличие от варианта Ἀλαζῶνες, который «не читается» по-гречески и поэтому признается нами наиболее авторитетным этимологически в согласии с используемым здесь изданием Геродота.

<sup>54</sup> Л. А. Е л ь н и ц к и й, Знания древних о северных странах, М., 1961, стр. 85—86.

<sup>55</sup> W. T o m a s c h e k, Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. I, «Sitzungsberichte der Philos.-histor. Classe der Akademie der Wissenschaften», 116, Wien, 1888, стр. 720.

<sup>56</sup> В. И. А б а е в, указ. соч., стр. 190; O. S z e m e r é n y i, Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages, «Acta Iranica. Textes et mémoires», VII (Varia 1977), Téhéran—Liège, 1977, стр. 100—101, с указанием, что иран. *zantu-* «племя, род» «не имеет подлинных соответствий даже в индийском».

ней Азии, например *Piriazana*<sup>57</sup>. Мы реконструируем \**ali-jana*- на базе этнонима Ἀλιζῶνες и считаем его индийским, точнее, архаическим индийским образованием (до перехода \**ali*-> др.-инд. *ari* «чужой», ср. наличие других примеров сохранения ламбдацизма в языковых реликтах Северного Причерноморья) со значением «другой род». У Геродота в этом месте ясно сказано: ἄλλο ἔθνος οἱ Ἀλιζῶνες καλέονται (Herod. IV, 17) «д р у г о е п л е м я , которые называются а л и з о н ы». Так индоарийцы Старой Скифии звали ближайших иноплеменных соседей на севере. Геродотовские Ἀλιζῶνες — ценный архаизм в этнической картине Северного Причерноморья, поскольку уже двести лет спустя их не знает там ольвийский декрет в честь Протогена (III в. до н. э.)<sup>58</sup>.

Важный географический ориентир Старой Скифии — название Днепра Βορυσθένης (неоднократно у Геродота) — и Βορυσθενίς, эмпорий у его устья, до сих пор этимологизировали из иран. \**varu-stāna*- (или «авестизированного» \**vouru-stāna*-) «широкое место, широкий край»<sup>59</sup>, на крайнюю неудовлетворительность чего уже справедливо обращалось внимание<sup>60</sup>. Действительно, со стороны фонетической иран. \**varu*- едва ли дало бы греч. Βαρυ- или Βορυ-, но скорее \**oδaru*- или, вполне возможно, \**ōru*-; ср. Ὀρος — из иран. *Vaxš*, название Аму-Дарьи. С реально-семантической стороны толкование из первоначального «широкое место» не выдерживает критики, если считается с твердо установленным фактом тождества названий Βορυσθένης «Борисфен, Днепр» и Βορυσθενίς «Борисфенида», эмпорий и остров у его устья, позднее — остров Березань, а также с давно высказанным вероятием, что название это вторично перенесено с острова на реку. Дело в том, что маленький остров Березань — это отнюдь не «широкое место», а «высокое место»: остров всегда обращал на себя внимание крутизной и высотой своих берегов. Кстати, нынешнее название *Березань* удачно отождествлено с иран. *bərzant*- «высокий», осет. *bərzond*<sup>61</sup>. Иранское или иранизированное название образует как бы вторичный пласт, почему оно и дошло до нас, в отличие от мертвого геродотовского Βορυσθένης, Βορυσθενίς. Это последнее, в наших глазах, образует бесспорно более первоначальный пласт и может быть истолковано как особое, индоарийское \**br̥ha-sthāna*- «в ы с о к о е м е с т о». Точнее, в основу греческой формы лег незначительно измененный пра-критизм \**baru-sthāna*- с тем же значением, ср. первый компонент в местном названии *Bharu-kaccha*, Βαρόραζα (Птолемей), собственно — «высокий берег», в Западной Индии<sup>62</sup>. Предлагаемая здесь этимология Борисфена вполне удовлетворительна как в плане обозначения, так и обозначаемого. Иранизация индоарийского названия осуществлялась легко, потому что языки были близкородственны. Вскрываемая семантика «высокое место» отвечает действительному ландшафту и окончательно убеждает

<sup>57</sup> W. B r a n d e n s t e i n, Die alten Inder in Vorderasien und die Chronologie des Rigveda, «Frühgeschichte und Sprachwissenschaft», Wien, 1948, стр. 141.

<sup>58</sup> В. В. Л а т ы ш е в, Исследования об истории и государственном строе города Ольвии, ЖМНП, ССХLIX, 1887, февраль, стр. 87.

<sup>59</sup> К. М ü l l e n h o f f, Deutsche Altertumskunde, III, стр. 122; М. V a s m e r, указ. соч., стр. 161; В. И. А б а е в, указ. соч., стр. 187.

<sup>60</sup> А. О. Б і л е ц ь к и й, Борисфенес — Данапріс — Дніпро (з історичної гідроніміки України), «І р е с п у б л і к а н с ь к а т о п о н і м і ч н а п а р а д а. Тези доповідей і виступів». Київ, 1959, стр. 17 и сл. (ротапринт). Попытка автора обосновать исконно греческое происхождение, опираясь на отнесение Βορυσθενίς к Геллеспонту у Гесихия, не убеждает, ср. приводимые далее данные.

<sup>61</sup> М. V a s m e r, указ. соч., стр. 160.

<sup>62</sup> Chr. L a s s e n, Indische Altertumskunde, I, 2. Aufl., Leipzig — London, MDCCCLXVII, стр. 136—137; V. S. A g r a w a l a, India as known to Pāṇini, Lucknow, 1953, стр. 65; J. W. M c C r i n d l e, Ancient India as described by Ptolemy, Calcutta, 1927, стр. 38 (notes by S. Majumdar Sāstri).

во вторичности переноса на реку (индо-иранское *st(h)āna-* характерно для топонимов, а не для гидронимов). Наша гипотеза о Βορυσθένης из индоар. «высокое место», первоначально об острове, обретает неожиданную перспективу при сравнении с названием *Боргустан*, хребет на Северном Кавказе. Весьма показательно для этимологии, что данное соответствие там обозначает не реку, а именно горный хребет<sup>63</sup>. Форма названия *Боргустан* более архаична, а ее местонахождение не противоречит локализации следов и путей индоарийцев.

Несколько личных собственных имен из эпиграфических находок в Старой Скифии получают объяснение как индоарийские, индийские: Ταχάσιος (II в. н. э., Ольвия)<sup>64</sup>, единичное имя, более нигде не встретившееся и признаваемое неясным<sup>65</sup>, мы предлагаем рассматривать как индоарийское сложение \**tana-sīśava-* «плодящий детей», ср. др.-инд. *tan-* «продолжать (например, себя или свой род)»<sup>66</sup>, *sīśu* м. р. «ребенок, мальчик», мн. *sīśava-*<sup>67</sup>, без иранских соответствий. Ср. царское имя *Sīśunāga*<sup>68</sup> в Магадхе. Любопытно, что отец этого человека носил имя Χοῦρσαζος — иранское, но с близкой семантикой — «сажающий злаки» (так Фасмер и Абаев). Возврат к индоарийскому имени в условиях иранизации возможен, если вспомнить обычай называть внука именем деда. В таком случае этимология этого имени приоткрывает завесу над сложным взаимодействием этносов и языков.

Другой человек, звавшийся Σιρδοῦχανος Βουτουνατος «Сирдуханс, сын Бутуната»<sup>69</sup>, носил, несмотря на позднюю эпоху (III в. н. э.), и имя, и отчество неиранского, индоарийского происхождения, что свидетельствует о длительном сохранении остатков этого нескифского этноса в Старой Скифии спустя семь столетий после Геродота. Надпись, донесшая до нас это имя, обнаружена в 1909 г. на камне в Одессе, на Молдаванке, и ее текст — посвящение Ахиллу Понтарху от стратегов Ольвии — говорит также о значительной пестроте этнического состава этих правящих магистратов во всяком случае послеэллинистического времени<sup>70</sup> (Тит Флавий, сын Филумена, Агафокл, сын Агафокла, Феодор, сын Тумбага, Садиман, сын Санбатиона, т. е. коллегами Сирдуханса были греки, римляне, эллинизированные иранцы и т. д.). Имя Σιρδοῦχανος, не имеющее этимологии<sup>71</sup>, мы сравниваем с др.-инд. *śardh-* «показывать силу», со ступенью редукции — *śrdhyā-* ж. р. «дерзость, наглость», что, впрочем, вряд ли целесообразно отделять от гнезда *śardh-* «releger»<sup>72</sup>, которое могло породить

<sup>63</sup> Небольшой горный хребет Боргустан находится в районе Кисловодска. См.: И. С. Щук и н. Очерки геоморфологии Кавказа. Ч. I. Большой Кавказ, М., 1926, стр. 133, 135. Справкой о книге я обязан докт. геогр. наук Д. А. Тимофееву (Институт географии АН СССР).

<sup>64</sup> В. L a t y s c h e v, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae, I [2-е изд.], Petropoli, MCMXVI, стр. 124—125 (№ 92).

<sup>65</sup> Ю. Н. Трещева, Просопография должностных лиц Ольвии I—III вв. н. э., ВДИ, 1977, 4, стр. 174 и сл. Фасмер и Абаев не объясняют это имя.

<sup>66</sup> M. M o n i e r - W i l l i a m s, Sanskrit-English dictionary, New edition, Oxford, 1964, стр. 435.

<sup>67</sup> Там же, стр. 1076.

<sup>68</sup> Chr. L a s s e n, указ. соч.: Anhang, стр. XXXVII.

<sup>69</sup> В. L a t y s c h e v, Inscriptiones antiquae..., I<sup>2</sup>, стр. 161 и сл. (№ 136).

<sup>70</sup> Исследователи этнического состава населения эллинистической Ольвии нередко очень настаивают на почти исключительно греческом его характере (см.: М. П а р о в и ч - П е ш и к а н, Некрополь Ольвии эллинистического времени, Киев, 1974, стр. 65, 144 и сл.). Но даже если это так (хотя оговорки и уточнения здесь возможны, ср. наличие нескольких негреческих имен, туземные захоронения с травяной подстилкой), надо считаться с тем, что этнолингвистический субстрат может проявляться (а тем более прогрессировать социально) не сразу, а, напротив, весьма поздно.

<sup>71</sup> Ю. Н. Трещева, указ. соч., стр. 174.

<sup>72</sup> См. (с отличиями в трактовке): P. P e r s s o n, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, Uppsala, 1912, стр. 167 и сл.

эти (метафорические) обозначения дерзости. Тогда полнее объясняется морфология первого компонента Σῖρδου = др.-инд. *śrdhu-* «*prodex*»<sup>73</sup>, а весь образ довершается возможным этимологическим тождеством второй части — Χανσος = др.-инд. *hamsā-* «гусь» (в иранском было бы \**zanha-*<sup>74</sup>). Таким образом, не объясненное иранистами ольвийское личное имя Σῖρδουχανσος мы реконструируем как индоарийское \**śrd(h)u-hansa-* «*anser pedens*». Но особенно интересно отчество Сирдуханса — Βουτουνατος<sup>75</sup>, род. п. от основы на согласный \**Βουτουνατ-ς*, \**Βουτουνας*<sup>76</sup>. Для этого имени мы можем указать полное тождество с др.-инд. *bhūtanātha-* «властелин духов», также *Bhūtanātha-*, одно из имен бога Шивы<sup>77</sup>. Тем самым в ономастике Старой Скифии обнаруживается соответствие индийскому культовому слову и теофорному имени, что, по нашему мнению, трудно переоценить. Словообразовательная сложность имени Βουτουνατ- косвенно отражает сложность и развитость соответствующих религиозных воззрений. Свидетельства Старой Скифии в этом, как и в других случаях, небезразличны для индологии. Например, считается, что с культом Шивы индоарийцы познакомились лишь после прихода в Индию<sup>78</sup>. Этимологическое тождество Βουτουνατος = *Bhūtanātha-* недвусмысленно свидетельствует, что некоторые представления этого культа (Шива-Рудра повелевает армией злых духов<sup>79</sup>) в предсмысленном виде принесены индоарийцами в Индию из Северного Причерноморья. С лингвистической точки зрения, важно отметить, что это сложение носит специфически индийский характер, без иранских соответствий.

Примерно то же можно сказать об имени Μαγάδαα μήτηρ «мать Магадава» в надписи II—III вв. н. э., найденной на западном побережье Черного моря, но посвященной памяти некоего Домнина, выходца из города Тиры (в устье Днестра), сына «благородных родителей» — отца, Аврелия Гераклида, и вышеупомянутой «матери Магадавы»<sup>80</sup>. Этимологией этого имени как будто специально не занимались, если не считать беглого упоминания о том, что «Б. Н. Граков склонен считать его сарматским...»<sup>81</sup>. Между тем как перед нами, конечно, форма, практически тождественная др.-инд. *mahā-devā-* м. р. «великий бог», также имя Рудры или Шивы, далее — имя Парвати, жены Шивы, и ряда других женщин<sup>82</sup>. В применении к женщине это имя читается как «(принадлежащая) Великому богу». Соответствующие понятия выражаются по-ирански иначе, поэтому не может быть и речи о сарматской принадлежности имени, несмотря на хронологически позднесарматскую эпоху (II—III вв. н. э.).

При всей спорадичности дошедших до нас свидетельств, вот уже второе из них подряд обнаруживает откровенно культовый характер и относится к тому же сюжету индийской мифологии и религии. Это делает возможными некоторые обобщения, до чего бы не дошло, если бы данные имели случайный вид. Опуская другие детали, напомним о наблюдавшейся нами приуроченности к Старой Скифии Геродота индийских этимологий и индоарийских реконструкций: Ἀνάχαρσις — (*a*)*maha-rṣi-*,

<sup>73</sup> Только в словарях, см.: M. M a u r h o f e r, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, III, Heidelberg, 1976, стр. 310.

<sup>74</sup> Там же, стр. 571.

<sup>75</sup> В. L a t y s c h e v, Inscriptioes antiquae..., I<sup>2</sup>, стр. 161 (№ 136).

<sup>76</sup> Ю. Н. Т р е щ е в а, указ. соч., стр. 177.

<sup>77</sup> M. M o n i e r - W i l l i a m s, A Sanskrit-English dictionary, стр. 762.

<sup>78</sup> Н. Р. Г у с е в а, Индуизм. История формирования. Культурная практика, М., 1977, стр. 90 и сл. (там же литер.).

<sup>79</sup> Там же, стр. 94.

<sup>80</sup> П. О. К а р ы ш к о в с к и й, Материалы к собранию древних надписей Сарматии и Тавриды, ВДИ, 1959, 4, стр. 120.

<sup>81</sup> Там же.

<sup>82</sup> M. M o n i e r - W i l l i a m s, указ. словарь, стр. 796.

<sup>83</sup> Ἀλιζῶνες — \**ali-šana-*, Βορυσθένης — \**baru-sthāna-*, Ταναΐσιος — \**tana-šišava-*, Σιρδουχάνσιος — \**šrd(h)u-hansa-*, Βουτουνατος — *Bhūtanātha-*, Μαχαδάουα — *Mahādevā*<sup>83</sup>. Наблюдается калькирование (перевод) потенциально индоарийских имен греческими именами, ср. выше Γυόρος — Δαυκέτης, Ἀλιζῶνες — ἄλλο ἔθνος. Допустимо, наконец, предполагать и случаи калькирования индоарийских имен иранскими (скифскими, сарматскими), ср. выше Βορυσθένης (\**baru-sthāna*) — Березань (*berəzant-*), Ταναΐσιος — Χουαρσάζος, что позволяет ставить — в общем совершенно естественный — вопрос об отношениях билингвизма между индоарийцами Старой Скифии и собственно скифами-иранцами.

Греки появились на берегах Старой Скифии очень давно (начало поселения на острове Березань относят к VII в. до н. э.). Этнические отношения, почти навсегда скрывшиеся потом под общим именем Скифии и вскрываемые нами сейчас с таким трудом, в древности были живыми и налагали свой отпечаток на культурные и языковые контакты в этом районе. Довольно стабильное («*ενοικηδιοι*»), земледельческое индоарийское население служило проводником информации, поступавшей в греческие эмпории из глубин Скифии. Так, называя некоторые более отдаленные народы, сначала греки, а вслед за ними и мы до сих пор, возможно, употребляем индоарийские имена.

Большой иранский народ, известный как Σαρματαί (Herod. IV, 21) и Sarmatae (Polyb. XXV, 2), употреблял о себе, как, впрочем, и другие арии, основное самоназвание \**arya-*, ср. *Arraei Sarmatae* у Плиния (Plin. NH IV, 41), *Arii* у Епифания (IV в. н. э.)<sup>84</sup>. Имя сарматов, до сих пор удовлетворительно не проэтимологизированное<sup>85</sup>, не является, по-видимому, иранским. Залогом правильной этимологизации названия сарматов/савроматов по-прежнему остается внимательное чтение древних. При этом представляет особый интерес еще не использованное этимологами устойчивое соположение имени и определения «сарматы женовладеемые»: Σαρματῶν δὲ ἐστὶν ἔθνος γυναικικρατούμενον (Scyl. Caryand. 70); Sauromatae Gynaecocratumenoe, Amazonum conubia (Plin. NH VI, 19). «Женовладеемость» сарматов/савроматов, т. е., попросту говоря, сильная матриархальность быта этих племен<sup>86</sup>, надвинувшихся с востока, произвела, видимо, сильнейшее впечатление, была овевана мифами (например, об амазонках). Поэтому, если верно, что в основу наименования обычно ложится самый броский признак обозначаемого, то справедливо полагать, что в данном случае таким признаком оказалась именно матриархальность сарматов и уж никак не их длинные мечи или копья. Сказанное позволяет взглянуть на данный этноним как на сложившееся первоначально в Старой Скифии индоарийское образование, имя-предание \**sar-mat-* «женские, принадлежащие женщинам», прилагательное с суффиксом *-ma(n)t/-va(n)t-* от реликтового \**sar-* (по-ирански было бы \**har-*)

<sup>83</sup> Аналогичные примеры см.: О. Н. Трубачев, Nichtskythisches im Skythien Herodots, IF, 82, 1977 (Ἐξαιπαιός — \**a-kšama-paia*, ἀνταχαιός — \**anta-kaja-*).

<sup>84</sup> J. H a r m a t t a, Studies in the history and the language of the Sarmatians, Szeged, 1970, стр. 29, 77.

<sup>85</sup> Весьма натянутой кажется новая этимология из \**Saura-ma(r)ta-* «убийцы героев», см.: W. B l ü m e l, [рец. на:] Н. Schmeja, Griechen und Iranier. 2. Die Abstammungssage der Sarmaten. — «Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift für Hermann Güntert». Innsbruck, 1974, «Beiträge zur Namenforschung», 13, 1978, стр. 95. Прочие объяснения см.: М. V a s m e r, указ. соч., стр. 125, 149 («имеющие мечи», «имеющие копья»), В. И. А б а е в, указ. соч., стр. 184 [«чернорукие» (?); этимологии Фасмера отвергает]; В. Д. Б л а в а т с к и й, О скифской и сарматской этнонимике, «Краткие сообщения Института археологии АН СССР», 143, 1975, стр. 46.

<sup>86</sup> Б. Г р а к о в, ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ (Пержитки матриархата у сарматов), ВДИ, 1947, 3, стр. 100 и сл.

«женщина»<sup>87</sup>. Разумеется, эта гипотеза, если она подтвердится, послужит аргументом против мнения о фиктивности и.-е. \**sor* «женщина», представляемого в последнее время О. Семереньи<sup>88</sup>.

Подобно тому как о сарматах греки впервые услышали от индоарийцев Северного Причерноморья, таким же путем несколько столетий спустя сами греки и с ними тогдашний цивилизованный мир узнали о древних славянах. Равным образом название части славян на юго-восточной окраине ἸΑυταί (Прокопий), Antes (Иордан) не было славянским самоназванием, но также не было и словом иранского происхождения; оно возникло в индоарийской языковой среде, ср. др.-инд. *anta-* «конец, край»<sup>89</sup>. Эти данные, а также некоторые другие, сообщаемые ниже, позволяют высказать предположение об индоарийско-славянских культурных и языковых контактах, ориентированных на Старую Скифию Геродота. Если мы не признаем возможности этих соприкосновений, мы не поймем или поймем неправильно факты языковой истории. К их числу принадлежат ставаны, упоминаемые Птолемеем: ὑπὸ μὲν τοὺς Οὐενέδας πάλιν Γαλίνδαи καὶ Σουδινοὶ καὶ Σταυανοὶ μέχρι τῶν Ἀλανῶν (Ptol. Geogr. III, V, 9) «а ниже венедов — галинды и судины, и ставаны до аланов». Считая это свидетельство сомнительным отражением славянского самоназвания \**slověne*<sup>90</sup> (сильное отклонение формы, слишком ранняя фиксация — II в. н. э.), ученые относили это имя то к сарматским, то к балтийским племенным названиям, ср. действительное соседство имени ставаны с аланами, а также с несомненными балтами — судинами и галиндами. Впрочем, было верно замечено, что этот перечень как раз отражает неплохое знакомство древнего географа с народами, заселяющими «азовско-балтийский коридор»<sup>91</sup>. Было бы необъяснимо и противоестественно, если бы в этом пространстве совершенно отсутствовали славяне. Связь форм \**slověne* и Σταυανοὶ несомненна, ее нужно лишь объяснить. Ср. др.-инд. *stāvāna-* или иран., авест. *stavana-* «хвалимый», причастие от глагола др.-инд. *stauti*, авест. *staōti* «хвалить, славить». Трудно не видеть здесь, что индоарийское или — на сей раз — общее индоиранское \**stavana-*, Σταυανοὶ явилось передачей славянского \**slověne* с субституцией *st-*, вместо затруднительной группы *sl-* (вспомним аналогичную субституцию слав. *sl-* греческим *σλ-* в этом

<sup>87</sup> См. далее: О. Н. Трубачев, О синдах и их языке, стр. 56.

<sup>88</sup> O. S z e m e r e n y i, Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages, стр. 37 и сл. (со ссылкой на более ранние труды автора и другую литературную проблему). Семереньи реконструирует и.-е. название женщины не в форме \**sor*, а \**esor*, связывая последнее с греч. *ἄρ* из и.-е. *osr*. Природа восстанавливаемой при этом апофонии \**esor*: \**osr*?, однако, остается неясной.

<sup>89</sup> Подробнее см.: О. Н. Трубачев, Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье, ВЯ, 1977, 6, стр. 24—25.

<sup>90</sup> О происхождении макротопонима \**slověne*, *славяне* до сих пор ведутся споры, но ясно одно: по употреблению это имя было изначальным самоназванием (то в наднациональной, то в национальной функции), в чем содержится, кстати, ключ к верной этимологии \**slověne* как «люди (одной) речи», ср. *verbum dicendi* \**slavp*, \**sluti*, \**slovo*. Вызывает поэтому наше удивление, что на последнем съезде славистов Л. Мошинский, справедливо усомнившись в старой теории о \**slověne* как производном от названия реки \**Slava* (такого гидронима никто пока не обнаружил), находит возможным утверждать, что «ни одно славянское племя не употребляло это имя о себе» [L. M o s z y ŋ s k i, Is the name of Slavs (\**Slavēni*) indeed a nomen originis?, «VIII Međunarodni slavistički kongres. Zagreb, 3—9. IX, 1978. Knjiga referata. Sažeci», II, Zagreb, 1978, стр. 614]. О тождестве *stavani* = *славяне* см. еще: D. A. M a č i n s k i j, Die älteste zuverlässige urkundliche Erwähnung der Slawen und der Versuch, sie mit den archäologischen Daten zu vergleichen, «Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas Philosophica. Ethnologia Slavica», VI, 1974, стр. 56; Д. А. М а ч и н с к и й, М. А. Т и х а н о в а, О местах обитания и направлениях движений славян I—VIII вв. н. э., «Acta archaeologica carpathica», XVI, 1976, стр. 70.

<sup>91</sup> H. Ł o w m i a ŋ s k i, Sarmacja, «Słownik \* starożytności słowiańskich», V, Wrocław—Kraków—Gdańsk, 1975, стр. 67—68.

имени), а также с закономерным отражением славянского вокализма ( $o - \dot{e}$ ) в виде единственно возможного индоиранского  $a - a$  (может быть, с долготой второго  $a$ , ср. вокализм древнеиндийской формы, выше, на фоне вероятной долготы слав.  $\dot{e}$  в *\*slovǝne*). Важно другое. Эта передача носила характер осмысленного перевода-кальки, что говорит об определенной степени контактирования, а также как бы подтверждает в наших глазах тут редкий пример единения народной и научной этимологии, которые отличает друг от друга только отсутствие или наличие необходимых ступеней словообразования, почему в одном случае та же самая связь как бы неверна (народная этимология *славяне* < *слава*), а в другом — верна (научная этимология *\*slovǝne* < *\*slovǝ*, *\*sluti* > *\*slava*).

До настоящего времени серьезно не поднимался вопрос о древнеиндийском влиянии на праславянский, если не считать спорной книги Траймера<sup>92</sup>, в которой, между прочим, уже говорится (правда, бездоказательно) об отражениях славянских контактов с праиндийцами, об индийском высшем слое в скифском обществе и о конкуренции древнеиндийского с иранским на Юге России.

Значительным древнеиндийским, или индоарийским включением в этнонимии славян можно считать название народа сербов. Я уже писал<sup>93</sup> об этимологической связи имени античных сербов Σέρβοι, Σίρβοι (Птолемей) с др.-инд. *śiras* «голова» на основании эмэндации *Serbi Cephalotomi* у Плиния (Plin. NH VI, 16). В исторической науке сейчас тоже вновь проявляется некоторое оживление интереса к близости названий сербов на Северном Кавказе и у славян (на Балканах и т. д.), а также готовность допускать здесь положительное решение<sup>94</sup>. Для этого не требуется выводить сербов-славян прямо с Кавказа, подобно тому как necessarily вести хорватов с Дона-Танаиса, где засвидетельствован реальный эпоним последних — Χορρωαθης, личное собственное имя (кстати, этого античного «хорвата», как и тех античных сербов, отделяет от появления в письменной истории собственно славянских племенных названий хорватов и сербов приблизительно одинаковая лагуна в восьмем столетий). В обоих случаях мы имеем дело с первоначальным вторжением иноплеменных и иноязычных групп в зону славяинства с последующей их ассимиляцией. Выявление следов первоначальных связей — задача науки. В случае с сербами речь может вестись о внедрении в территорию славян какого-то индоарийского (древнеиндийского) племени. Как легко себе представить по известным аналогиям, ассимиляция была постепенной и длительной. Неясно, можно ли придавать большое значение рассказу Масуди о народе *Surbīn* (сербы), которого боятся славяне. Сербы сжигают себя, если умирает их царь или вождь, соблюдая при этом обычай, похожие на обычаи индийцев<sup>95</sup>. Культурные аналогии могли, конечно, выработаться независимо. Учитывая столь дальний путь сербов, главные надежды при дешифровке этого эпизода их этногенеза приходится возлагать на язык. Но могущественный фактор времени сделал и тут свое дело: как и следовало ожидать, системно организованные уровни языка — его фонетика-фонология и морфология — давно и полностью ассимилированы и не дают для нашей цели ничего. К счастью, остаются пока-

<sup>92</sup> К. Треймер, *Die Ethnogenese der Slaven*, Wien, 1954, стр. 22, 37, 41, 47, 75.

<sup>93</sup> О. Н. Трубачев, Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время, ВДИ, 1978, 4, стр. 41—42.

<sup>94</sup> W. S w o b o d a, Serbowie starożytni, «Słownik starożytności słowiańskich», V, стр. 146 (там же остальная литература). Особенно см.: G. L a b u d a, Serbia Biała, там же, стр. 142.

<sup>95</sup> Цит. по кн.: J. M a r q u a r t, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, стр. 102.

зания лексики, но и они в данном случае единичны, прежде всего этноним *Срб(ин)*, праслав. \**srъbъ*, исконнославянское происхождение которого не кажется нам убедительным в свете изложенного выше. Этноним привнесен извне. Кое-что (немного) может подсказать антропология, которая устанавливает арменоидный тип в западной части Балканского полуострова и на Кавказе<sup>96</sup>. По-прежнему важные указания о миграции сербов уже в пределах славянской территории содержатся в славянских и византийских письменных источниках: примерно в одно и то же время (X в.) сербы известны близ Южного Буга, а также на Западе, в местности *Воѣи* (в Карпатах?) неподалеку от империи франков, и, наконец, на Балканском полуострове. Некоторая статичность этой этнической картины, в основном по Константину Багрянородному, искупается более динамичными свидетельствами самих этнонимов в тех их формах, которые до нас дошли в сочинении византийского императора. Последний называет сербов в земле *Воѣи* белыми, как и соседних с ними хорватов (Const. Porph. De adm. imp., 32)<sup>97</sup>, что значило, очевидно, «западные» (вероятно, влияние на славян тюрк-аваров, поскольку именно в тюркских языках отмечается символическое обозначение запада как белой стороны). Белые сербы были названы таковыми (западными) по отношению к первоначально более восточному местонахождению всего племени или его части. Возможно, что это перемещение на запад надо датировать гораздо более ранним временем, поскольку с какими-то сербами определенно связаны *Montes Serrorum* в Трансильванских Альпах, т. е. в Карпатах, упоминаемые Аммианом Марцеллином (IV в. н. э.; Amm. Marc. XXVII, 5, 2—3)<sup>98</sup>.

Но наиболее вероятным первоначальным районом вхождения сербов в пределы славянства остается течение Южного Буга, т. е. местность, сопредельная со Старой Скифией Геродота. Мы практически ничего не знаем из ономастики античных сербов на Северном Кавказе. Вероятно, они проникли оттуда после II в. н. э. через Керченский пролив в Крым, о чем говорят косвенные данные. Пребывание этих древних дославянских сербов в Крыму оставило в истории лишь смутные отголоски вроде татищевского: «Сербы, серабы, которые иногда в Таурике, иногда на Дунае»<sup>99</sup>. Но уже между топонимией Крыма и Карпат насчитывается несколько определенно старых соответствий, которые можно попытаться связать с интересующим нас утраченным этносом и истолковать в направлении с востока на запад.

*Бадрак*, название реки в Юго-Западном Крыму, уже давно сравнивали с гидронимом *Vodrog*, приток Тисы в Карпатах<sup>100</sup>; последнее название не этимологизируется из окружающих старых и новых европейских языков<sup>101</sup>. Крымская форма *Бадрак* типологически более первоначальна (возьмем хотя бы исход *-ак*), и в порядке гипотезы можно предположить ее

<sup>96</sup> J. Gładkowska-Rzeczycka, Słowianie. Struktura antropologiczna, «Słownik starożytności słowiańskich», V, стр. 281.

<sup>97</sup> См.: G. Labuda, указ. соч.

<sup>98</sup> Цит по кн.: N. Zupanić, Srbi Plinija i Ptolemeja. Pitanje prve pojave Srba na svetskoj pozornici sa historijskog, geografskog i etnološkog stanovišta, «Зборник радова посвећен Јовану Цвијићу поводом тридесетпетогодишнице научног рада», Београд, 1924, стр. 578.

<sup>99</sup> В. Н. Татищев, История российская, I, М.—Л., 1962, стр. 330.— Источники?

<sup>100</sup> В. Н. Юргевич, цит. по: А. И. Маркевич, Географическая номенклатура Крыма как исторический материал, «Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии», II, Симферополь, 1928, стр. 30.

<sup>101</sup> V. Smilauer, Vodopis starého Slovenska, Praha—Bratislava, 1932, стр. 420; L. Bednarczyk, Zagadnienie przedślaviańskiej hydronimii Karpat, «Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace językoznawcze», II, 1973, стр. 23.

родство с др.-инд. *bhadra*ka- «хороший, красивый». Необходимо отметить, далее, несмотря на несколько загадочный характер, близость *Bojka* у Константина Багрянородного (видимо, название горной страны в Карпатах) и *Bojka*, *Bajka*, название горного массива в Крыму<sup>102</sup>. Сложность усугубляется находкой для последнего эпиграфической формы *Поjа*, XIV в.<sup>103</sup>, возможно, тоже наиболее первоначальной и авторитетной в плане этимологии. В качестве осторожной гипотезы можно предположить здесь суффиксальное производное от корня, представленного и в др.-инд. *rāyate* «набухать, наливаясь», *rāya*ḥ «молоко, жидкость», ср. греч. *πόα*, дор. *πο'α* «луг» как «поющий, наливающий (молоком)»; гора *Bojka*, действительно, покрыта хорошими лугами.

Если предыдущие два сравнения относительно мало выразительны в смысле преимущественной индоарийской принадлежности и имеют для нас в основном значение точно локализованных крымско-карпатских топонимических соответствий древнего вида, то предлагаемое ниже следующее сравнение перспективно именно в столь ценном лингвистическом плане. Речь идет о родстве названия реки *Nitra* в бассейне Дуная, в Карпатах, явно дославянского и традиционно неясного<sup>104</sup>, и топонима *Чигенимтрабогаз*<sup>105</sup>, обозначающего проход через Караби-яйлу в Карасубазар. Крымский топоним прекрасно этимологизируется как сложение основ др.-инд. *jigāti*, *jigeti* «идти» и *netrá* - «провод, проход», также в качестве названия реки<sup>106</sup>. Индоарийское \**jigā-netra*-, реконструируемое из крымского *Чигенимтра* путем несложных операций (ср. известную вариативность отражения *ч/дж*- в начальной позиции в тюркоязычной среде и — в целом — возможные изменения вокализма в условиях гармонии гласных), означало «пеший проход», ср. калькирующее его татарское *богаз*. Нам пока неизвестна письменная история слова *Чигенимтра*, но его современная форма — пример редкостного сочетания древности и относительной сохранности употребления. Наиболее вероятное истолкование получает при этом и название реки *Nitra* в Карпатах, тождественное второму разобранному компоненту *netra*-. Др.-инд. *netrá*- (\**naitra*-) — отглагольное производное с суффиксом *-tr-* от *náyati* «вести», ср. еще авест. *naye'ti* «нести, вести». Кстати, из всех славянских языков один сербохорватский имеет странную глагольную основу — инфинитив *-nijeti*, *-net*, *-niti* «нести» (только с приставками, например, *zànijeti* «понести, забеременеть»), аорист *nijeh*, — супплетивно подключенную к *něsti* «нести», но продолжающую совершенно особое праслав. диалект. \**něti*, ускользнувшее от внимания этимологов. Этот праславянский реликт тождествен упомянутому индоиранскому глаголу «нести, вести»<sup>107</sup>. Глагольно-именная пара \**něti* — *Nitra*, обнаруживаемая нами на славянской территории, весьма смахивает на остаток регулярных отношений др.-инд. *náyati* — *netrá*-.

<sup>102</sup> «Списки населенных мест Российской империи. ХLI. Таврическая губерния», СПб., 1865, стр. 98; А. И. Марквич, указ. соч., стр. 20—21.

<sup>103</sup> Н. В. Малицкий, Заметки по эпиграфике Мангуна, Л., 1933 (= «Известия ГАИМК», 71), стр. 9.

<sup>104</sup> V. S m i l a u e r, указ. соч., стр. 337; L. V e d n a g s z u k, указ. соч., стр. 26; K i s s L., Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978, стр. 475.

<sup>105</sup> «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», под ред. В. П. Семенова-Тяньшанского и под общ. рук. П. П. Семенова-Тяньшанского и В. И. Ламанского, XIV, Новороссия и Крым, СПб., 1910, стр. 785.

<sup>106</sup> M. M o n i e r - W i l l i a m s, указ. словарь, стр. 568. Ср. толкование крымских богазов именно как проходов, прорытых реками в хребте, см.: «Россия...», стр. 785.

<sup>107</sup> Специально см.: О. Н. Трубачев, Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав. \**-něti* «нести, приносить», «Сборник к 70-летию акад. В. И. Георгиева», София (в печати).

При реконструкции и этимологизировании древнейшего пока достигаемого лингвистического субстрата, каковым был индоарийский язык тавров Крыма и земледельческого населения Старой Скифии, приходится иметь дело не с одними только гипотетическими построениями, достижимыми ценой нелегких трудов, но и с фактами, до сих пор удивительно хорошо сохранившимися и лежащими на поверхности, которые своим видом ясно говорят, что они не принадлежат к греческому слою (сюда *Каламитта*, *Форос*, *Ай-Василь*, *Ай-Петри*, *Мегапотам*, *Меганом*, *Мисхор*, *Капсихор* и т. п.) и в еще меньшей степени — к тюркскому (сюда *Аджи-Кой*, *Коккозы*, *Джанкой*, *Донузлав*, *Тарханкут*, *Чокрак* и многие другие в Крыму), но представляют собой нечто отличное типологически: *Чигенитра*, *Манаготра*.

АХМАНОВА О. С., ПОЛУБИЧЕНКО Л. В.

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА»  
И «ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ»

Термин «дифференциальная лингвистика» имеет целью представить в самом обобщенном виде все известные нашей науке разновидности изучения «общего в отдельном», «единства во множестве», «того же» через «не то же». Иными словами, дифференциальная лингвистика изучает онтологию и эвристику различий между языковыми явлениями, которые как бы заданы как разновидности чего-то, в основе своей единого. Однако это понятие, наиболее убедительно обоснованное в работах В. Вильдгена<sup>1</sup>, само по себе не заслуживало бы специального рассмотрения; можно было бы вполне ограничиться простым упоминанием о нем в связи с конкретными исследованиями в этой области. Во всяком случае, можно было бы просто обратить внимание на то, что хотя, например, между сравнительно-историческим изучением различных германских языков и сравнением тех социальных диалектов, которые бытуют в современном английском языке, есть существенное различие, тем не менее метатеоретически между ними можно обнаружить несомненное онтологическое подобие. Так, если английский язык существует в своих диалектах как общее в отдельном (и через отдельное), то в более широкой перспективе и общегерманское единство (как бы его ни трактовать) можно представить себе как «инвариант», воплощенный в отдельных германских языках и «через» них. Иначе говоря, независимо от конкретного характера того или другого частного случая, поднимаемая над обобщением первого порядка (касающимся тех или иных конкретных областей) и восходящая далее по уровням абстракции, можно достигнуть метатеоретического уровня исследования. Здесь задача заключалась бы в том, чтобы, раскрывая онтологию общего, выходить за рамки одномерного структурно-синхронического описания тех или иных языков и/или диалектов.

Из изложенного видно, что мы считаем целесообразными поиски возможностей метатеоретического обобщения, приведшие В. Вильдгена к понятию «дифференциальная лингвистика». Однако остается далеко не достаточно изученным соотношение дифференциальной лингвистики и развивавшихся параллельно с ней попыток применить к языкознанию методы одной из отраслей математики — т о п о л о г и и. Топология занимается вопросами непрерывности и инвариантности, исследуя такие свойства системы, которые не изменяются при ее преобразованиях. Поскольку разного рода аналогии уже и раньше устанавливались между отдельными аспектами языкознания и другими науками, вполне естественными оказались и попытки сблизить математику и языкознание и в этой области.

<sup>1</sup> W. W i l d g e n, Versuch einer sprachtheoretischen Fundierung des Variationsbegriffes, «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», 1974, 41; е г о ж е, Differentielle Linguistik: Entwurf eines Modells zur Beschreibung und Messung semantischer und pragmatischer Variation, Tübingen, 1977.

Хотя, вообще говоря, метафорический перенос в языкознание терминов и понятий других наук вряд ли целесообразен<sup>2</sup>, тем не менее термины, приведенные в заглавии статьи (и соответствующие им понятия), заслуживают самого серьезного обсуждения. Необходимо, во-первых, попытаться пресечь необоснованное введение еще одной туманной метафоры в наш метаязык и, во-вторых, показать, почему введение понятия филологической топологии может оказаться полезным для улучшения нефилологического образования<sup>3</sup>.

Итак, топология изучает константы и инварианты и, следовательно, тоже занимается как будто бы вопросом об онтологии общего и отдельного. Поэтому, возвращаясь к социальным диалектам английского языка, можно предположить, что эта проблема должна быть близка и топологии, так как взаимоотношение между английским языком и его диалектами, видимо, легко представить себе в терминах инварианта («постоянного», константы) и тех разновидностей «инобытия», в которых и через которые он существует. Если обратиться к литературе вопроса, легко убедиться в том, что поиски именно такой интерпретации различных сторон, или аспектов языка получили значительное распространение.

Заметим в этой связи, что многие работы в этой области в соответствии со все еще не преодоленной «модой» продолжают злоупотреблять так называемой «формальной репрезентацией»<sup>4</sup>. В качестве оправдания выдвигается тезис, что в современной науке математика превратилась в «разновидность общего языка, приспособленного для выражения соотношений, которые либо невозможно, либо сложно излагать словами»<sup>5</sup>. Однако это утверждение, справедливое, как показывает опыт, для целого ряда естественных наук, звучит весьма сомнительно в применении к языкознанию как одной из наук гуманитарных. В самом деле, языкознание успешно развивало и продолжает развивать свою теорию, не прибегая при этом к языку математики. Наоборот, до сих пор одним из главных препятствий для подлинного понимания связи наук, для интердисциплинарного исследования, состоящего во взаимном обогащении каждой науки, продолжает оставаться смешение существа вопроса и проблемы соотношения «языков» различных наук. В результате в языкознании нередко складывается такое положение, что написать формулу — хорошо, а просто сказать то же самое на общепринятом, «консубстанциальном» метаязы-

<sup>2</sup> Достаточно вспомнить, например, о химическом термине «валентность», получившем столь широкое распространение в современной лексикологии и лексикографии: опыт показал, что он несколько не проясняет сущности лексико-фразеологических отношений между словами языка.

<sup>3</sup> О нефилологическом образовании см.: Л. В. Щербачева, Опыт лингвистического толкования стихотворений, I — «Воспоминание» Пушкина, в кн.: Л. В. Щербачева, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 26; е г о ж е, К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и о состоянии филологического образования, в кн.: Л. В. Щербачева, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958, стр. 26—27.

<sup>4</sup> Подробнее об этом см.: O l g a A k h m a n o v a, Linguistic terminology, Moscow, 1977, стр. 4—10. Понятно, что, поднимаясь на уровень метатеоретических обобщений, исследователь, как правило, оказывается перед необходимостью создания нового метаязыка. При этом метаязык может быть построен либо на основе использования единиц самого языка-объекта (консубстанциально), либо может иметь совершенно иную семиотическую основу (буквы, цифры, индексы и т. д.). В последнее время в языкознании, как, впрочем, и в других науках, особое распространение получили именно формализованные, синоптические способы представления материала.

<sup>5</sup> Н. Б о р, Атомная физика и человеческое сознание, М., 1961, стр. 96. Ср. также: Е. А. Б е л я е в, Н. А. К и с е л е в а, В. Я. П е р м и н о в, Некоторые особенности развития математического знания, М., 1975, стр. 13.

ке — плохо<sup>6</sup>. Необходимо, наконец, отдать себе отчет в том, что формальная репрезентация — это отдельный, самостоятельный язык, вполне понятный математику или физику, но, как правило, неизвестный языковеду, в совершенстве владеющему общепринятым метаязыком нашего предмета.

Это длинное отступление было необходимо для того, чтобы исключить возможность недоразумения: вопрос о целесообразности введения в нашу метатеорию п о н я т и я, заимствованного из математики, ни в коем случае не следует смешивать с простым введением математической символики в изложение языковедческой теории.

Возвращаясь к литературе по топологии, следует прежде всего выделить работы в тех областях языкознания, где уже давно исследуется понятие инварианта. Именно в таком плане вопрос об общем, инвариантном понятии и его различных видоизменениях в составе синонимического ряда трактуется Х. П. Эдмундсоном<sup>7</sup>. Фактически дело здесь сводится к тому, чтобы «изобразить» (represent) понятие синонимии символами математической логики, например:  $S_i(x) = \{y : yS_i x\}$ , т. е.  $S$  (синонимы)  $i$  (со значением  $i$ )  $x$  (слова  $x$ ) = (представляют собой)  $\{ \}$  (множество)  $y$  (слов  $y$ ): (при условии, что)  $y$  (слов  $y$ )  $S$  (синонимично)  $i$  (в значении  $i$ )  $x$  (слову  $x$ ).

Цель подобного «моделирования» синонимических отношений автором не разъясняется, однако компактность записи хорошо известных языковедческим фактов достигается здесь явно за счет существенных потерь в ф и л о л о г и ч е с к о м содержании понятия синонимии.

Как бы высшей точки достигает в этом смысле работа известного математика Р. Тома<sup>8</sup>, которая настолько заинтересовала наших ученых, что была переведена на русский язык<sup>9</sup>. Хотя заглавие статьи «Топология и лингвистика» действительно всеобъемлющее, более общим вопросам, таким, как соотношение языкознания и семиотики, проблема языковых универсалий и др., автор уделяет сравнительно небольшое внимание, ограничиваясь просто более или менее произвольным их толкованием для того, чтобы дать математикам представление о соответствующих языковедческих категориях. Непосредственную же свою задачу автор видит в том, чтобы предложить последовательную и как можно более убедительную топологическую переинтерпретацию теории «актантов».

Конкретно дело сводится к следующему. Такая, например, фраза, как *Пьер привязывает козу к дереву веревкой*, рассматривается как первоначально имеющая три актанта: «субъект  $S$ , объект  $O$ , цель  $B$ ». При этом «...  $S$  испускает орудие  $I$ , которое образует с  $O$  метастабильное соединение  $I \rightarrow O$ , стабилизируемое соединением с целью  $B$ » (стр. 213). На этом основании глагол *привязывать* и все семантически близкие ему глаголы (включая и глаголы типа *сопоставлять*, *сравнивать*) считаются «ответствующими морфологии склеивания» (стр. 213). «Катастрофа» же склеивания, по разрабатываемой Р. Томом «теории катастроф», описывается вполне

<sup>6</sup> Можно считать теперь твердо установленным, что введение в лингвистическое исследование математических знаков и формул для придания «точности» и «непротиворечивости» утверждению хорошо известных языковедам истин является просто вредным, так как истины эти каждый раз оказываются уже гораздо более полно и точно выраженными средствами обычного языковедческого метаязыка. О понятии точности для языкознания см., например: Р. А. Б у д а г о в, Понятие *точности* в филологии (к его истории и теории), ИАН СЛЯ, 1977, № 2 и 3.

<sup>7</sup> Н. Р. Е d m u n d s o n, *Mathematical models in linguistics and language processing*, в кн.: «Automated language processing», New York, 1967, стр. 71—72.

<sup>8</sup> R. T h o m, *Topologie et linguistique*, в кн.: «Essays on topology and related topics. Mémoires dédiés à George de Rham», Berlin, 1970.

<sup>9</sup> Р. Т о м, *Топология и лингвистика*, «Успехи математических наук», XXX, 1 (181), 1975.

определенными алгебраическими уравнениями, а в графическом изображении представлена на рисунке.

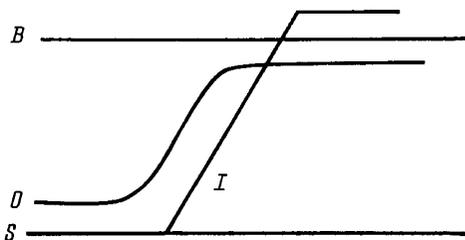
Результатом работы является список из 17 морфологий-архетипов с соответствующими графами.

Весьма широко возможности топологического моделирования языковых фактов прилагаются к изучению текстов<sup>10</sup>. К сожалению, эти работы очень мало убедительны и служат в основном примером того, что можно назвать «метатеорией без теории». В самом деле, несмотря на то, что сейчас много говорят о необходимости формализации речи и построении «рациональных» текстов, кроме общих слов и неубедительных «репрезентаций», и здесь трудно обнаружить что-либо пригодное для научного речеведения. Понятно, что, осуществив «скачок» сразу на метатеоретический уровень, исследователи «конструируют» свою метатеорию как бы «сверху», исходя из собственной топологической концепции, подгоняя под нее свои суждения о реальных языковых фактах.

Примеры этого рода и разъяснения соответствующих работ можно было бы значительно увеличить. Однако наша задача состоит не в том, чтобы попытаться более или менее беспристрастно и обстоятельно выяснить, в какой степени подобного рода построения могут быть полезны для современной инженерной лингвистики<sup>11</sup>. Эти вопросы продолжают дискутироваться. Будем надеяться, что настанет время, когда объем соответствующих теоретических дискуссий придет в несколько большее соответствие с объемом полученных из них выводов и достигнутых при их помощи конкретных и даже практических результатов.

Все вышесказанное было необходимо для того, чтобы подготовить почву для попытки, которую мы теперь собираемся предпринять, а именно для обоснования возможности постановки вопроса о филологической топологии<sup>12</sup> и о ее подлинном соотношении с дифференциальной лингвистикой. О чем же здесь идет речь и как можно попытаться вкратце сформулировать эту проблему?

Заметим прежде всего, что, говоря о филологической топологии, мы исходим из необходимости покончить с тем положением, когда языковедение и литературоведение рассматриваются каждое само по себе. Эти *disjecta membra* должны снова «срастись» и выявить, наконец, свои общие, филологические проблемы. Их разделение принесло большой вред советской филологии. Достаточно в этой связи напомнить, что такие ученые, как В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, А. И. Смирницкий,



<sup>10</sup> См., например: Teun A. van Dijk, *Models for text grammars*, «Linguistics», 1973, 105, стр. 63; J. M. Lipski, *A topology of semantic dependence*, «Semiotica», 12, 1974; е го ж е, *Towards a topology of natural languages*, «Poetics», 4, 1975; е го ж е, *Connectedness in poetry: toward a topological analysis of E. E. Cummings*, «Language and style», IX, 3, 1976; Z. Saloni, A. Tribulec, *Coherence of a text and its topology*, «Semiotica», 11, 1974; B. Grainger, *Graphs, topology and text*, «Poetics», 6, 1977.

<sup>11</sup> См., например, Р. Г. Пиотровский, *Текст, машина, человек*, Л., 1975.

<sup>12</sup> Намек на аналогичную постановку вопроса находим в следующих изданиях: R. J. Schoek, *Mathematics and the languages of literary criticism*, «The journal of aesthetics and art criticism», 1968, XXVI, 3, стр. 369—370; G. Steiner, *After Babel*, London, 1975, стр. 414—474.

Г. О. Винокур, В. М. Жирмунский, А. А. Шахматов, М. В. Сергиевский, Р. А. Будагов, будучи филологами, никогда не представляли себе возможности изучения языка в отрыве от литературы, истории и культуры народа. Поэтому одной из основных и важнейших задач современного языкознания является реабилитация филологии, т. е. восстановление в правах такой науки о языках и литературах, которая действительно раскрывала бы как можно полнее подлинную сущность нашего предмета, его действительные задачи и цели и пресекала бы все еще не оставленные попытки подменить филологическое знание разного рода эрзац-лингвистиками<sup>13</sup>.

Филология — это общее название дисциплин, изучающих язык, литературу и культуру данного народа, преимущественно через посредство литературных и других культурно-исторических сочинений и памятников. Ее метод заключается прежде всего в историческом и сравнительно-историческом изучении различных памятников и, шире, вообще различных произведений речи. Что касается художественной литературы, то между различными произведениями речи, как правило, постепенно устанавливается определенная преемственность и одним из основных методов филологического исследования является установление разнообразных тождеств и различий, выяснение того, чем и как те или иные произведения речи отличаются друг от друга<sup>14</sup>.

В отличие от дифференциальной лингвистики, которая изучает онтологию общего в отдельном в сравнительно ограниченной области, где объектом исследования является только та часть собственно языкознания, которая связана со специфическими проблемами соотношения более широких и более узких языковых систем и их отдельных сторон, их нормализации, сосуществования и т. д., филологическая топология в первую очередь должна заниматься сопоставлением произведений словесно-художественного творчества и выяснением соотношения между ними.

Выдвигая понятие филологической топологии и пытаясь его обосновать, мы должны, как мы это делали и в отношении дифференциальной лингвистики, сразу же оговориться, что речь здесь отнюдь не идет об открытии и провозглашении каких-то новых областей знания, которые прежде были неизвестны нашей науке. По существу так же, как и в случае с дифференциальной лингвистикой, которая пытается представить в более широком, метатеоретическом плане целый ряд уже давно развиваемых языковедческих областей, мы и здесь видим свою задачу в том, чтобы рассмотреть разные аспекты единой, хотя и очень обширной области знания (в отдельных своих частях уже давно разрабатывающейся), выявить объединяющее их начало. Повторим, что цель наших рассуждений о филологической топологии состоит вовсе не в том, чтобы обогатить нашу науку еще одной метафорой. Из того, что было сказано выше,

<sup>13</sup> Ср.: Р. А. Будагов, О некоторых общих проблемах филологии, ФН, 1976, 1; Я. Билинкис, Доверие к слову, «Литературное обозрение», 1979, 1; Д. Лихачев, Связь всех связей, там же; В. Федоров, Быть хозяйкой своего дома, там же; Ф. П. Филин, О специальных теориях в языкознании, ВЯ, 1978, 2.

<sup>14</sup> С точки зрения филологии, интересным является следующее объяснение предмета топологии: «Топология — это раздел математики, который занимается такими отношениями между определенными точками фигуры и такими ее основными свойствами, которые остаются неизменными и тогда, когда форма данной фигуры подвергается полному изменению (как, например, если резиновому листу, на котором нарисован треугольник, придается коническая или сферическая форма)» (G. Steiner, указ. соч., стр. 425). Если применить это понятие к современной культуре (литературе, искусству и т. д.), то вполне возможно представить себе историю того или иного тороз, архетипа, мотива или жанра именно в этом аспекте.

явствует, что мы отнюдь не сторонники систематического привнесения в филологию всевозможных метафор и наукообразных аналогий из других областей знания<sup>15</sup>. Однако поставить и обсудить эту проблему, принимая во внимание уже довольно значительную литературу вопроса, представляется целесообразным и своевременным.

Филология — наука чрезвычайно разветвленная, потому что бесконечно многообразие и самого человеческого языка со всеми его разнообразными регистрами и функциями. Поэтому так важно особо выделить из всего этого множества именно историко-составительный аспект филологии<sup>16</sup> и поставить вопрос о филологическом тождестве, начиная с перевода произведений художественной литературы на различные языки.

Мы принимаем такой порядок потому, что в этом направлении уже много сделано и есть на что опереться, развивая понятия и категории филологической топологии<sup>17</sup>. Эти работы стремятся перевести исследуемую проблематику в методологический план. Поэтому, например, «филологический» перевод нескольких знаменитых шекспировских монологов, предложенный В. Я. Задорновой на основе всех предыдущих переводов, представляет собой не что иное, как попытку топологического обобщения, инварианта, абстрагирующегося по возможности от недостатков и неточностей всех предыдущих попыток (вариантов). Сюда включается, конечно, и вопрос соотношения филологического перевода и шекспировского подлинника: в самом деле, человек, читающий, например, монолог Гамлета в его филологическом переводе, читает ли, действительно, Шекспира или нечто иное? И так ли уж справедливо глубоко укоренившееся в нашем сознании представление о том, что раз мы имеем дело с «переводом», то (пусть в большей или меньшей степени) это есть нечто принципиально общее с оригиналом, принципиально одно и то же. Мы привыкли исходить именно из этой предпосылки, но так ли уж она верна<sup>18</sup>? И главное, ка-

<sup>15</sup> См. также: О. С. Ахманова, И. М. Магидова, Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика, ВЯ, 1978, 3.

<sup>16</sup> Подобная проблема (правда, более узко, в рамках теории «бродячих сюжетов») ставилась уже А. Н. Веселовским, который считал основной задачей своей исторической поэтики «определить роль и границы предания в процессе личного творчества» (А. Н. Веселовский, Историческая поэтика, Л., 1940, стр. 493). Ср.: «Если, как мне кажется, в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу — проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие» (там же, стр. 52).

<sup>17</sup> См.: В. Я. Задорнова, Филологические основы перевода поэтического произведения. КД, М., 1976; О. С. Ахманова, В. Я. Задорнова, О филологическом подходе к переводу классической поэзии, в кн.: «Проблемы общего и германского языкознания», М., 1978; и х же, Есенин в переводах зарубежных авторов, в кн.: «Есенин. Проблемы творчества», М., 1978; и х же, The present state of Shakespeare translation in the USSR, «Shakespeare translation», 2, Tokyo, 1975; и х же, The Russian translation of «To be or not to be» and «The quality of mercy is not strain'd», в кн.: «Shakespeare Jahrbuch», 112, Weimar, 1976; и х же, The philology of translation, «Shakespeare translation», 4, Tokyo, 1977.

<sup>18</sup> При этом неизбежность некоторых, прежде всего формальных различий признают практически все. Интересно, в этой связи, рассуждение Р. А. Брауэра, который в своем исследовании «Агамемнона» Эсхила и шести его английских переводов разных веков исходит именно из невозможности даже в подлиннике воспринять греческий текст так, как он воспринимался в V в. Тем более эсхилковский «абсолют» (как Брауэр называет оригинал) не может быть в е р е в е д е н без некоторых неизбежных искажений, которые, по мнению автора, позволяют судить, как в ту или иную эпоху понимаются поэзия и поэтическое. См.: R. A. Brown, Seven Agamemnon, в кн.: «On translation», Cambridge (Mass.), 1959.

ковы должны быть филологические методы установления тождества/различия таких текстов?

Пытаясь наметить различные объекты исследования в плане филологической топологии, мы остановимся также на «переводе» произведений художественной литературы на тот же язык, но относящийся к более позднему периоду, и на сопоставительном изучении различных вариантов художественного произведения, принадлежащих одному и тому же автору. При всем сходстве этих проблем методика их исследования, по-видимому, должна существенно различаться. Однако какой-то законченной методики, тем более такой, которая уже сейчас могла бы стать предметом вузовского преподавания, при современном состоянии науки в этой области пока предложить нельзя. Можно лишь попытаться высказать на этот счет отдельные соображения, проиллюстрировав их соответствующими примерами.

Сплошной анализ Пролога к «Кентерберийским рассказам» Чосера и его перевода на современный английский язык, выполненного Н. Когхиллом, показал, что переводчик прежде всего стремился как можно точнее придерживаться подлинника, сохраняя, по возможности, чосеровские слова и словосочетания и лишь модернизируя их написание. Казалось бы, подлинник и перевод должны в этом случае представлять собой принципиально одно и то же. Но если подойти к вопросу не механически (со стороны «механики» самого процесса перевода), а с точки зрения лингвопоэтики<sup>19</sup>, то придется констатировать утрату в переводе чего-то неуловимого и невозможного, что и делало гениальное произведение художественной литературы гениальным и без чего перевод превратился просто в своеобразный подстрочник к оригиналу (правда, прекрасно отработанный, рифмованный и продуманный). Но как, какими методами исследовать это интуитивно ощущаемое различие?

Следует признать, что для среднеанглийского языка с достаточной степенью научной точности уже восстановлено предполагаемое произношение, из которого можно исходить при анализе чосеровского текста. Таким образом, принимая во внимание также и довольно основательную разработанность в нашей науке вопросов, связанных с ритмическим членением мерной речи, именно сопоставительный анализ ритма стиха следует поставить в данном случае во главу угла<sup>20</sup>. После посвященного рифме Чосера глубокого и всестороннего исследования профессора Масуи<sup>21</sup> можно считать, что и здесь имеется уже достаточно надежная методическая основа для сопоставительного анализа.

Однако если в области фонетики, морфологии и отчасти морфологии сравнительно-историческое языкознание достигло больших и несомненных успехов, то в области лексики мы в основном должны довольствоваться разысканиями этимологов. Сопоставляются ли этимологически слова оригинала «Кентерберийских рассказов» и перевода? Безусловно. *Showres — sho.vers, droghte — drought, veyne — vein, licour — liquor, breeth — breath, heeth — heath* и т. д. этимологически тождественны. Но можно ли ограничиться констатацией этого тождества и, тем более, можно ли на его основании заключить, что тождественны и сами тексты оригинала и пере-

<sup>19</sup> См.: Olga Akhmanova, Velta Zadornova, On linguopoetic stratification of literary texts, «Poetica», Tokyo, 1977, 7.

<sup>20</sup> Ср.: Olga Akhmanova, Velta Zadornova, Oú en'est la linguopoétique?, «Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach», I, Oviedo, 1977.

<sup>21</sup> M. Masui, The structure of Chaucer's rhyme words (an exploration into the poetic language of Chaucer), Tokyo, 1964.

вода? Вообще, какая здесь должна быть научная методика сопоставления? Все эти вопросы остаются пока открытыми.

В области словосочетания надежных исследований (например, словаря коллокаций с выделением метасемиотически окрашенных коллокаций в отличие от нейтральных и т. д.) для среднеанглийского языка, по-видимому, не существует. Это объясняется тем, что в то время, когда создавались основополагающие работы по среднеанглийскому языку, теория словосочетания просто еще не существовала. Она была создана лишь в начале нашего века в русском языкознании и до сих пор еще полностью не распространилась на англистику. Очевидно, что достоверно установить роль и место тех или иных слов, словосочетаний, конструкций и оборотов в тексте «Кентерберийских рассказов», чтобы затем выработать надежную методику сопоставления оригинала с переводом и по этой линии, можно только на основе тщательного анализа большого количества произведений, принадлежащих перу современников Чосера.

Что же касается проблемы работы автора над своим произведением, то она имеет по крайней мере два аспекта: с одной стороны, это различение одного и того же произведения и работа с аутентическим текстом автора, существующим в различных черновых вариантах, из которых он остановился на каком-то одном; с другой стороны, это проблема переработки автором (часто через много лет) своих ранних, уже вышедших в свет и ставших литературным фактом произведений и создание новой редакции, существующей отныне параллельно с первой.

Из всей обширнейшей литературы вопроса эту проблему можно проиллюстрировать двумя публикациями самого последнего времени. Это статья А. Д. Григорьевой, посвященная анализу черновиков стихотворений А. С. Пушкина «На холмах Грузии...» и «Был и я среди донцов»<sup>22</sup>, и работа Р. Якобсона и С. Руди над редакциями 1892 и 1925 гг. одного из стихотворений У. Б. Ейтса<sup>23</sup>. При общности основных методических приемов этих исследований (изучение композиции, повторов, рифмы, разбор отдельных слов — особенно существительных, прилагательных, местоимений и глаголов — с точки зрения их значения и функции в стихотворении и др.) работа Р. Якобсона и С. Руди имеет своей целью прежде всего scrupulous и последовательный лингвостилистический анализ текста, в то время как статья А. Д. Григорьевой в значительной мере тяготеет к экстратекстуальному и экстрапоэтическому анализу. Однако в обоих случаях открытым остается вопрос, в какой степени исследование достигает уровня лингвопоэтического анализа и вообще насколько авторами осознается его отличие от анализа лингвостилистического.

Все сказанное непосредственно подводит нас к следующей проблеме филологической топологии, а именно к вопросу о л и т е р а т у р н ы х р е м и н и с ц е н ц и я х и их отграничении от собственно перевода. В известной статье «Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом» Л. В. Щерба убедительно показывает, что «с формальной точки зрения довольно точный» перевод Лермонтова на самом деле «является хотя и прекрасной, но совершенно самостоятельной пьесой, очень далекой от своего quasi-оригинала»<sup>24</sup>, так как трагическая концепция Гейне в ней сознательно уничтожается.

<sup>22</sup> А. Д. Григорьева, К вопросу об анализе языка поэтического текста, ВЯ, 1978, 3.

<sup>23</sup> R. Jacobson, S. Rudy, Yeats' «Sorrow of love» through the years, Lisse, 1977.

<sup>24</sup> Л. В. Щерба, Избранные работы по русскому языку, стр. 98. Общеизвестна также и работа В. М. Жирмунского «Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт

В. А. Сайтанов в статье с широким названием «Пушкин и Кольридж. 1835»<sup>25</sup> обнаруживает параллели между творчеством позднего Пушкина и Кольриджем буквально во всем: и в области художественных интересов, и в сходстве литературных ситуаций, и в предпочтении к некоторым литературным формам и даже стихотворным размерам, и в общности мотивов творчества и тем, и даже в сходстве их литературных судеб, — и это при наличии у Пушкина всего лишь одного собственно перевода (вернее наброска перевода) из Кольриджа («Жалоба»).

У некоторых авторов, к сожалению, сопоставительное изучение творчества разных писателей оказывается полностью подчиненным стремлению во что бы то ни стало поразить публику каким-нибудь невероятным «открытием». Именно в этом плане следует рассматривать претенциозную и вызывающую попытку изобразить творчество А. С. Пушкина как «рабский путь» подражания французской литературе<sup>26</sup>. Оказывается, что великий поэт просто «обворовывал своих менее великих собратьев» и не только большая часть словосочетаний и образных выражений Пушкина является прямым переводом с французского, но и весь вертикальный контекст<sup>27</sup> «Евгения Онегина» строится на переводе соответствующих мест из (не всегда точных) французских переводов и пересказов тех или иных произведений мировой литературы. Видимо, прежде всего в связи с такого рода работами — чтобы их выводы проливали дополнительный свет на наше представление о творческой лаборатории великого человека, а не искажали его, — и необходимо ставить вопрос о соотношении перевода в собственном смысле слова, заимствований и литературных реминисценций.

Одним из самых сложных аспектов проблемы является и з у ч е н и е р е м и н и с ц е н ц и й в ш и р о к о м п л а н е, т. е. изучение тех традиционных мотивов и сюжетов<sup>28</sup>, которые, раз появившись, затем уже не сходят с литературной сцены и вновь и вновь пересказываются многими поколениями писателей и поэтов. Достаточно упомянуть лишь о нескольких: Прометее, Федре, Электре, Парисе и Елене, Одиссее, Троице и Кресиде, рыцарях Круглого Стола, Дон Жуане, докторе Фаусте, — чтобы стало ясно, о чем идет речь. В каждой последующей интерпретации эти сюжеты обрастают дополнительными подробностями и деталями, перетолковываются, наполняются новым содержанием<sup>29</sup>, а в модернистской литера-

сравнительно-стилистического исследования» (в кн.: В. М. Ж и р м у н с к и й, Теория литературы. Поэтика. Стилистика, Л., 1977), где автор показывает, что «внешнее сходство темы, при более пристальном изучении, делает лишь очевиднее коренную противоположность между поэтическим искусством Брюсова и Пушкина» (стр. 143—144). В несколько ином аспекте ставится эта проблема Р. А. Будаговым, которого интересует не столько влияние одного писателя на другого, сколько типология литературных ситуаций: «Изучение подобных типологически аналогичных или близких ситуаций у больших мастеров слова представляет бесспорный интерес при условии, если сами эти „приемы“ рассматриваются не в замкнутом кругу 36 или более возможных ситуаций, а как средство своеобразного раскрытия характеров и психологии действующих лиц повествования... Вместе с тем возникает и лингвистический вопрос: как выражается данная ситуация в разных произведениях, какими языковыми средствами она передается...» (Р. А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 262).

<sup>25</sup> В. А. Сайтанов, Пушкин и Кольридж. 1835, ИАН СЛЯ, 1977, 2.

<sup>26</sup> V. N a b o k o v, The servile path, в кн.: «On translation».

<sup>27</sup> См.: О. С. А х м а н о в а, И. В. Г ю б б е н е т, «Вертикальный контекст» как филологическая проблема, ВЯ, 1977, 3.

<sup>28</sup> Разграничение м о т и в о в (как простейших сюжетных линий и ходов, которые могли самостоятельно зарождаться в различных местах и быть случайно похожими) и с ю ж е т о в (как сочетаний нескольких мотивов, сходство которых может быть объяснено лишь заимствованием) проведено А. Н. Веселовским (указ. соч., стр. 500).

<sup>29</sup> Интересно сравнение А. Н. Веселовского: «Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над истари заветными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их тем новым

туре старые сюжеты, попадая в совершенно особый мир модернистской риторики, трансформируются настолько, что становятся почти неузнаваемыми<sup>30</sup>. В результате неизбежно возникает вопрос: в какой степени для адекватного понимания последующих интерпретаций того или иного сюжета необходимо знание интерпретаций предыдущих, включая и первоисточник? Иными словами, насколько, например, для понимания «Каменного гостя» существенно знание соответствующих произведений Байрона, Мольера, Гольдони, Тирсо де Молина и др., вплоть до знакомства с испанской средневековой легендой о Дон Жуане?

Эта проблема непосредственно относится к теории вертикального контекста, поэтому здесь уместно было бы попытаться разграничить некоторые понятия. Представляется полезным отделить ту область изучения вертикального контекста, которая занимается непосредственно аллюзиями и их лингвостилистической функцией в тексте художественного произведения, от той его области, которая связана с «вертикальным» рассмотрением и установлением тождества/различия целых оригинальных произведений словесно-художественного творчества. В первом случае речь идет о том, что может быть названо ассоциативным вертикальным контекстом и строится на наличии у читателя определенного (часто весьма условного и обобщенного, полученного из третьих рук, а не путем знакомства с первоисточником) представления о тех или иных культурно-исторических фактах. Если, при всей сложности встающих здесь нерешенных проблем, роль ассоциативного вертикального контекста для понимания художественной литературы уже в достаточной мере определена<sup>31</sup>, то необходимость знания последовательности развития образов и сюжетов в определенной культурной традиции (т. е. необходимость знания синтагматического вертикального контекста) для верного восприятия того или другого конкретного произведения еще требует изучения.

Итак, проблема преемственности вертикального контекста — это безусловно проблема филологической топологии. При этом особенно интересно проследить, как из века в век изменяется в литературе отношение к различным компонентам вертикального контекста. На каком, например, этапе «резинный лист» мифологического вертикального контекста был деформирован настолько, что произошел почти полный разрыв культурной традиции, связывавшей английскую литературу с античным наследием? И почему библейский компонент здесь, видимо, почти не подвергался деформации со времен Шекспира и до наших дней? Очень вероятно, что именно почти полный разрыв классической традиции как раз и обусловил обращение английских писателей-модернистов к мифологии, которая стала, после того как ее знание свелось в основном лишь к небольшому набору ходячих образов-символов, весьма удобным средством для «зашифровки» авторского метасодержания (как того требует модернистская риторика)<sup>32</sup>. Сколько вообще можно выделить таких более или менее

---

пониманием жизни, которая собственно и составляет ее прогресс перед прошлым? По крайней мере история языка предлагает нам аналогичное явление. Нового языка мы не создаем, мы получаем его от рождения совсем готовым, не подлежащим отмене; фактические изменения, приводимые историей, не скрадывают первоначальной формы слова или скрадывают постепенно, незаметно для двух следующих друг за другом поколений. Новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала» (А. Н. Веселовский, указ. соч., стр. 51).

<sup>30</sup> См. исследование романа Джеймса Джойса «Улисс»: И. В. Ладусева, Риторика модернизма как лингвостилистическая проблема, М., 1978 (статья сдана на депонирование в ИНИОН).

<sup>31</sup> См.: О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет, указ. соч.

<sup>32</sup> И. В. Ладусева, указ. соч.

устойчивых составляющих при диахроническом анализе вертикального контекста той или иной литературы?

Понятно, что перечисленными проблемами дело далеко не ограничивается и филологическая топология охватывает целый ряд других вопросов<sup>33</sup>, которые, однако, невозможно даже пытаться перечислить в пределах одной статьи. Наша задача заключалась лишь в том, чтобы выяснить, в какой мере некоторые наиболее общие научные понятия из области математики могут способствовать более широким обобщениям в сфере неофилологии, и наметить основные направления в разработке этого вопроса.

---

<sup>33</sup> Сюда, например, будут относиться проблемы пародии и рифмованный нонсенс (non sense verses), онтология которых полностью основана на их зависимости от некоего инварианта (прототипа, протослова и т. д.). См., например: М. В. В е р б и ц к а я, Филологические основы литературной пародии и пародирования. КД (подготовлена к защите на кафедре английского языка филологического факультета МГУ); O l g a A k h m a n o v a, V e l t a Z a d o r n o v a, «Understanding» poetry and the metasemiosis of nonsense versification, «Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik», 1, 1976.

БАЙКОВ В. Г.

К ПОСТРОЕНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

(на материале квалиметрии простого предложения)

Задачи современности требуют тесной увязки лингвистических исследований и преподавания дисциплин языковедческого цикла с положениями марксистско-ленинской методологии и ее диалектико-материалистической основы. Неисчерпаемость диалектики обуславливает научный прогресс, который закономерно ведет ко все более полному раскрытию ее эвристических потенций в развитии науки<sup>1</sup>. В этом плане большое значение приобретают проблемы лингвистики прогнозирования в связи со спецификой объекта науки о языке.

Модель любого объекта обладает прогностическими свойствами как по отношению к объекту, так и по отношению к своим частным моделям, связанным взаимопрогнозированием. С общеметодологической точки зрения прогноз и его обратная сторона — реконструкция (в логике она называется «регрессивным синтезом») суть функции информации как отображения одной системы объектов в другой. Потенциальным носителем этих функций является статическая упорядоченность систем, создающая корреляции своих участков и компонентов.

Прогноз — понятие статико-динамическое. Следует разграничивать прогноз в статическом аспекте как свойство динамической системы языка (лингвистика структур и лингвистика процессов) и прогноз в динамическом аспекте как построение моделей речевой деятельности. Наиболее разработанной частью лингвистики прогнозирования является этот последний аспект. Именно с него, на основе так называемых «марковских цепей» как стохастического процесса, началось применение идей теории информации, вскрывших автоматизм речевого функционирования языковой системы и роль избыточности языкового кода в понимании/порождении речи. Естественно поэтому, что теория прогноза в речевой деятельности, обогащенная также данными информационных измерений языка, психометрии, нейрофизиологии и социально-культурного аспекта коммуникации, концентрирует внимание на линейно-синтагматическом и ситуационно-контекстуальном планах предсказуемости в развертке текста. Но это — только часть проблемы, не затрагивающая многомерности и разнонаправленности корреляций прогноза в языковой системе<sup>2</sup>. Тем не менее очевидно, что эвристические потенции прогнозирования заложены уже в самой метрике языковой системы как  $n$ -мерного пространства. В зависимости от точ-

<sup>1</sup> Л. Ф. Ильичев, Философия и научный прогресс (Некоторые методологические проблемы естествознания и обществознания), М., 1977.

<sup>2</sup> Даже при линейном прогнозировании, как в лингвистике кодирования, так и в лингвистике декодирования, возникает настоятельная потребность построения таких моделей речевой деятельности, в которых учитывалось бы многоуровневое взаимодействие корреляционных осей прогноза, накладывающее ограничения на стохастический процесс (см., например: Г. В. Чернов, Теория и практика синхронного перевода, М., 1978, стр. 63—71.)

ки отсчета в системе координат, в языковой системе диалектически взаимодействуют упорядоченность и неупорядоченность, причем наложение разных координат, разных фонов связей на один и тот же объект создает векторы, поля и пространства, направление и конфигурация которых определяют параметры конструируемых объектов, воспроизводящих с помощью аппроксимации свойства оригинала. Внесистемное исследование объектов невозможно: сама система навязывает исследователю свои корреляции и зависимости, так что ее иерархия и изоморфизм по отношению к избранным координатам создают полную или частичную упорядоченность, обеспечивающую прогноз как внутрисистемных, так и внешнесистемных параметров.

При взгляде на систему языка извне, что составляет предмет структурной типологии, метрика изучаемой системы в целом или совокупности систем осуществляется эталонным путем. Эталон же, выступая в качестве точки отсчета координат, несет информацию о свойствах частной системы в статике, прогнозируя ее развитие и намечая детерминанту языка в динамике.

При взгляде на систему языка изнутри, создается положение, при котором, «...сосредоточив свое внимание лишь на одной стороне, на одном параметре или компоненте системы, исследователь, хотя и не во всех деталях, но все-таки, вольно или невольно, получает информацию о многих других сторонах, параметрах или компонентах этой системы»<sup>3</sup>.

Трудности построения относительно законченной модели явления возрастают с увеличением сложности объекта, что влечет за собой необходимость идти от микросистем низшей к микросистемам высшей организации<sup>4</sup>. В силу этого обстоятельства для объектов разной сложности различной оказывается и глубина прогноза (количество корреляционных осей зависимости между компонентами модели), и его степень (показатель вероятностной зависимости на какой-либо одной оси взаимосвязей). В подсистемах простых объектов многомерность прогноза ограничена, зато корреляционные зависимости между этими объектами отличаются большей жесткостью. В подсистемах сложных объектов многомерность прогноза налицо, однако не все корреляции можно установить с достаточной степенью жесткости ввиду наличия опосредованных связей.

Сравнительная оценка разных стратумов и компонентов языковых систем по степени и глубине прогностических потенций еще никем не осуществлена. Во всяком случае, известное полсьение о количестве взаимосвязей как показателе сложности системы требует конкретизации. Теоретическое и прикладное значение подобных изысканий сомнению не подлежит, а накопленный фактический материал уже подготовил для них необходимую почву. В некотором приближении к этой идее можно рассматривать, например, попытку К. Пайка оценить так называемую «дименсиональность» грамматических систем с помощью векторных матриц и многомерных графов<sup>5</sup>, построение которых получило широкое распространение и во многих других системных исследованиях.

Очевидно, что в синтагматике прогнозирование линейно, на чем и основываются информационные измерения языка. Правда, и они не охватывают синтагматику в полном объеме, поскольку наиболее обнадеживающие результаты были достигнуты лишь в сфере одноплановых единиц. В парадигматике прогноз носит плоскостной характер. Теоретическое восполне-

<sup>3</sup> «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 80.

<sup>4</sup> В. Н. М и г и р и н, Гносеологические проблемы знаковой теории языка, фонологии и грамматики, Кишинев, 1978.

<sup>5</sup> K. L. P i k e, Dimensions of grammatical constructions, «Language», 38, 3, 1962.

ние ущербных парадигм при моделировании процессов языкового развития, а также действие законов аналогии основаны на прогнозирующей потенции системы в стратуме одного уровня, хотя функционально парадигматические лакуны восполняются за счет ресурсов других уровней. Парадигматика и синтагматика связаны взаимным прогнозом во внутрисистемном плане хотя бы уже потому, что парадигма извлекается из проективности речевой цепи, а развертка текста предсказывается со стороны парадигматических отношений. Прогнозирование же во многомерном пространстве языковой системы в целом — «стереометрично», объемно, «дименсионально».

Вследствие того, что выбор координат при построении лингвистической теории осуществляется теоретическим мышлением, многомерность прогноза конструируемых системных объектов проявляет черты изоморфности с многомерностью мышления, которое, будучи процессом отражательным, протекает в разных сферах: качественной, количественной, пространственной и временной. Для разных сфер мышления логика выработала ряд эвристических правил, руководствуясь которыми исследователь на основании прогноза изучает специфику взаимосвязанных явлений. Из этих правил лингвистика прогнозирования учитывает правило нераздельности, правило реконструкции, правило выбора системы координат и установления иерархических отношений, правило совместности/несовместности структур и процессов, правило процессуальной зависимости, правило качественно-количественной и пространственной координации, правило неполной синхронности параллельно развивающихся систем<sup>6</sup>.

Нераздельность свойств, связей, процессов позволяет осуществить в равной мере как реконструкцию, так и прогноз, ибо статическая упорядоченность обеспечивает ретроспективную и перспективную экстраполяцию, а также выбор системы координат для дальнейшего познания объекта. Правила реконструкции и нераздельности отображают структурные отношения как разновидность качественно-количественной и пространственной координации. Эта координация распадается на отношения между частью и целым, между частями и между целыми. По части реконструируется и прогнозируется целое, по целому прогнозируется часть (интегративные отношения), так что взаимопрогнозом связаны и компоненты стратума, и ярусы. Применение любых типов статистики также имеет прогнозирующие функции, поскольку оно основано на отношении «часть — целое». Следовательно, на совокупности нераздельных свойств зиждется весь механизм иерархии и изоморфности, вся архитектоника языковой системы. Изоморфизм же обеспечивает эвристическую плодотворность экстраполяций исследовательских методик с одного уровня на другой при учете, разумеется, специфических особенностей уровней. Изоморфизм устанавливается как в лингвистике структур, так и в лингвистике процессов. В последнем случае функционально-перспективные экстраполяции тесно переплетаются с ретроспективно-генетическими. В таксономиях компоненты динамической системы даны в статике, но из статической упорядоченности можно извлечь информацию о прогнозе, если в одной классификации совместить синхронные сведения о компонентах нескольких систем, развивавшихся неравномерно, или сведения о компонентах разных фаз в развитии одной и той же системы<sup>7</sup>. Эвристическая сила правила неполной синхронности параллельно развивающихся систем и подсистем состоит в том, что в гно-

<sup>6</sup> Некоторые из подобных правил рассматривает В. Н. Мигирин (указ. соч.). Эвристичность подобных правил не только в их прогнозирующей силе, но и в том, что их применение способствует снятию избыточных конструктов.

<sup>7</sup> В. Н. М и г и р и н, Опыт построения классификаций, прогнозирующих развитие местоимений и словообразовательных парадигм, ФН, 1973, 3.

сеологическом отношении оно предстает как мощный аппарат познания, а в онтологическом отношении выводится из наблюдений над реально ошутимым субстратом напластований языка разных эпох и вариантов нормы, благодаря которым в синхронию вводится динамизм и историчность как важнейшая поправка к известному сосюрловскому постулату.

В контексте изложенного интерес представляет рассмотрение ряда частных примеров. Так, если фонема прогнозирует только фонему (в системе фонем — и фонь), то морфема прогнозирует не только морфему, но и весь звуковой состав слова, а через него — его семантику, характер словообразовательной парадигмы и внутреннюю форму. Слово, выступая в роли синтаксической единицы, прогнозирует не только «органику» синтаксической группы, им формируемой (размер, глубину или емкость, структуру, валентно-дистрибутивные свойства), но и характер предикативных единиц, поясняющих эту группу. Наблюдается, например, изоморфизм между симметрией выражения сочинительного ряда на уровне номинативных единиц и на уровне предикативных структур: двусоставность предложения сочетается с двусоставностью, односоставность — с односоставностью. Диапазон сочетаемости двусоставных структур шире диапазона сочетаемости односоставных. Если комбинаторика слова, выступающего в роли ядра синтаксической единицы, широка, то такое его качество обуславливает и большие возможности его пояснения различными предикативными структурами, играющими роль придаточных.

Указанные факты, основанные на ряде конкретных исследований, свидетельствуют о том, что с возрастанием сложности единицы возрастает и глубина ее прогностических потенций. Установление прогностических зависимостей существенно прогрессирует при сознательном применении эвристических правил. Основываясь на правиле нераздельности, исследователи изучают такое важное явление, как точечную дистрибуцию (совместимость или несовместимость) грамматических категорий, а также глубину взаимодействия классов слов (частей речи и лексико-грамматических разрядов). Такой аспект исследования в лингвистике прогнозирования важен для вскрытия механизмов грамматизации разноуровневых таксонов (понятийных и семантических категорий). Изучая некоторые общие для разных подсистем категории языка, исследователи устанавливают, например, изоморфизм лица и действия в словообразовательной системе с субъектно-предикатными отношениями в синтаксической системе. Применение правила неполной синхронности параллельно развивающихся систем позволило предложить принципиально новую прогнозирующую классификацию местоимений русского языка и наметить детерминанту развития словообразовательных парадигм<sup>8</sup>.

Особого внимания в рамках лингвистики прогнозирования заслуживает проблема диалектики качественно-количественных связей. Для краткости этот аспект можно было бы именовать к в а л и м е т р и ч е с к и м<sup>9</sup>. Методологические проблемы квалиметрии на конкретных примерах развития и функционирования системы языка не раз обсуждались нашими языковедами<sup>10</sup>. Ниже будут сделаны лишь несколько дополнительных замечаний в плане расстановки акцентов.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Некоторые предпочитают термин «квантиметрия» для обозначения сходных явлений (см.: Н. Б. Г л е б о в а, Подлежащее и его действующая модель. На материале художественной прозы современного английского языка. АБД, Одесса, 1978).

<sup>10</sup> См., в частности: В. Г. А д м о н и, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, в кн.: «Теоретические проблемы современного советского языковедения», М., 1964; е г о ж е, Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений, ВЯ, 1970, 1; Н. В. Я р ц е в а, Пределы развертывания синтаксических структур в связи с объемом информации, в кн. «Инвариантные син-

Когда речь идет об эвристических возможностях диалектики качества и количества, имеется в виду реконструкция по прогнозу качества со стороны количества качества и обратно. Такая возможность открывается вследствие нераздельности качества и количества как относительно самостоятельных свойств языковой материи. Прогнозирование качества по его количеству обеспечивается тем, что последнее выступает как мера первого. Качественные параметры, под которыми в применении к языку следует понимать структуру и структурированную семантику в широком плане, определяются системой координат в метаязыке и природой объекта при выборе способа его познания. Количество же наблюдаемо непосредственно, хотя не все формы его проявления еще вскрыты в языке. Пока известно, что структурно (не семантически!) количество проявляется в долготе и силе звука, в составе единиц обоих планов (в плане содержания — количество значений), в протяженности сегментных единиц, в степени употребительности явления, в совокупности его признаков и в степени изменчивости качества. Известно также, что количество качества имеет два аспекта: функциональный (частотность) и физический (органика лингвистического «тела»), причем оба аспекта системно взаимосвязаны в силу того, что физические свойства имеют статистическое распределение. Понятие количества информации по отношению к естественному языку является производным от данных форм проявления количества и новых форм не вскрывает, хотя и обеспечивает поиск новых или выбор уже установленных единиц измерения указанных количественных проявлений. При этом важно отметить, что эталоны количественной метрики языковых явлений в ряде случаев оказываются столь же условными, как и системы координат в метрике (параметризации) качества. Разумеется, эталон количественной метрики явления определяется его качественными особенностями. Ведь мера — не количественное, а качественно-количественное квантование. Н. Б. Глебова справедливо замечает, что, не определив самого эталона количественной метрики, невозможно выделить и изучаемый качественный параметр, а вне параметризации качество предстает как недискретный континуум, что сводит эвристическую ценность процедур отождествления объекта к нулю<sup>11</sup>. Но именно по отношению к разным типам оценки количества информации в знаках и знаковых конструкциях языка эталон отличается высокой степенью условности, вероятно, вследствие того, что о качестве информации в настоящее время известно гораздо меньше, чем о ее количестве<sup>12</sup>. Если выбор единицы измерения количества информации в применении к естественному языку, будучи весьма множественным, связывается пока только с текстом, лингвистика прогнозирования ставит совершенно новую проблему системной меры информации, включая парадигматику. По укоренившемуся взгляду такая возможность отрицается в силу того, что информативность языка как системы средств выражения проявляется только в речевой синтагматике при условии ситуативной актуализации. Однако мы не видим причин, почему мера сложности системы, основанная на учете глубины и направления потенциальных связей ее компонентов (именно эти последние и устанавливает лингвистика прогнозирования), не может быть отражением информативности разных подсистем языка как таковых. Иное дело — метод получения информации о

тактические значения и структура предложения», М., 1969; е е ж е, Количественные и качественные изменения в языке, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, и др.

<sup>11</sup> Н. Б. Г л е б о в а, О параметризации многокомпонентного подлежащего, в кн.: «Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка)», Калинин, 1977.

<sup>12</sup> Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь-справочник, М., 1975, стр. 211.

подобных связях, который, конечно, основывается на речевом функционировании системы. В качестве такого метода выступают структурно-вероятностные модели, с помощью которых определяется не только степень жесткости корреляций на какой-либо одной оси зависимостей, но и количество этих осей для определенного участка системы, представляющих обычно довольно сложную сеть отношений. В этом случае количество корреляционных осей прогноза, т. е. пучки системных связей, исходящих из исследуемого участка системы или ее компонента, и может быть поставлено в соответствие с мерой системной информации, а сама сеть взаимосвязей и отношений предстает как своего рода квалиметрическая грамматика. Так как упорядочивание (группировка) фактов само по себе обладает эвристической силой, контуры квалиметрического фрагмента лингвистики прогнозирования можно наметить более отчетливо, если имеющиеся разрозненные наблюдения хотя бы грубо распределить по уровням языковой системы и в первом приближении наметить участки, требующие восполнения.

В области фонологии исследователи указывают на возможность установления корреляций между степенями акустического и функционального различия фонем (такой подход способствует отказу от избыточного понятия фонемы и возврату к идее звукотипа), между количеством различающихся признаков и сменившихся позиций в формировании исторических чередований, между амплитудой акустических различий альтернатив и хронологизацией явлений фонетической системы. Начавшиеся на фонемно-буквенном уровне информационные измерения языка привели к установлению корреляции между неравномерностью распределения информации в слове и процессом аббревиации<sup>13</sup>.

Морфемный уровень с точки зрения квалиметрической грамматики прогнозирования изучен слабее. Однако самые общие типологические закономерности квалиметрического порядка здесь установлены. Мы имеем в виду, в частности, зависимость между шириной использования формообразовательных аффиксов и степенью лабильности порядка слов. Если, далее, подойти с точки зрения морфемного состава к словообразовательной модели, можно обнаружить предсказуемость наиболее частотными моделями типов номинации. Один из многочисленных наглядных примеров — прогнозирование моделью на *-ese* в английском языке номинации по принадлежности к определенному социально-территориальному жаргону (ср.: *New-yorkese, journalese, literary-criticese* и т. п.). Лексический стратум обнаруживает широкий выход прогностических корреляций в семантику, синтаксис и этимологию, в частности, закон Ципфа — Гиро устанавливает зависимость между частотностью лексем и количеством их значений, а по данным А. А. Вейлerta имеется зависимость между частотностью лексемы, количеством этимонов, вычленяемых из словаря, возрастом лексической единицы, а также степенью ее генетической близости и структурного подобия исконому словарю<sup>14</sup>.

В синтаксисе известны корреляции между частотностью модели и ее шириной (степень лексической наполняемости), между структурой, глубиной и пределами количественного развертывания конструкции в тексте, между шириной парадигматики модели и степенью ее фразеологизации, а также ряд других.

Ввиду стилообразующей функции всех выразительных средств языка, статистические модели авторских и функциональных стилей — едва ли не первое по времени применение количественных методов с целью прогнозирования качественных сторон текста. Роль квалиметрического про-

<sup>13</sup> Р. Г. П и о т р о в с к и й, Информационные измерения языка, Л., 1968.

<sup>14</sup> А. А. В е й л е р т, О некоторых факторах, определяющих частоту слова в тексте, ВЯ, 1978, 2.

гноза в лингвистике процессов требует дальнейших исследований, в особенности с опорой на правило неполной синхронности параллельно развивающихся систем. В ретроспективном отношении примером здесь служит принцип глоттохронологии, хотя и со всеми присущими ему существенными недостатками.

Становится очевидным, что с повышением уровня сеть корреляций квалиметрического прогноза усложняется и обогащается новыми зависимостями, не все из которых еще вскрыты. Особо следует остановиться на таких количественных формах, которые выступают как аналоги физических свойств объектов материального мира. Самым существенным из этих свойств, на наш взгляд, является линейная протяженность сегментных единиц языка. Она связана со свойством проективности. Фактор линейности невозможно обойти прежде всего по философским причинам: явления, в которых нет пространственных различий, представляют собой одно и то же явление, откуда следует и соотношение пространственных различий с информацией, если последнюю понимать как различие<sup>15</sup>.

Существует справедливое мнение о том, что между функциональным статусом единиц языковой системы, сложностью их содержания и их линейной протяженностью в тексте жесткой корреляции не наблюдается. Специально для того, чтобы подчеркнуть примат качественно-функциональных различий единиц разных уровней над количественными, в учебных пособиях приводят обычно популярный пример известного своей краткостью латинского диалога: *Ео rus — I* «Еду в деревню» — «Езжай!». В диалоге речевой сегмент *і* охватывает целую иерархию единиц по вертикали, причем дискретные кванты информации о содержании этого сегмента, взятого как предложение (количество грамматических значений и категорий, а также количество фигур предложеческого знака), фиксируются исключительно на системно-парадигматической, функциональной основе. Однако подобные примеры свидетельствуют лишь о том, что при определенных условиях информация переходит из одной качественной формы в другую, а именно — одномерность линейного пространства речи преодолевается в языковой системе «надстройкой» парадигматических форм, являющихся как бы «шифром» потенциальных средств, благодаря которому формы распределяются по линейным позициям<sup>16</sup>.

С точки зрения квалиметрического прогнозирования принцип линейности играет чрезвычайно важную роль, однако проблема протяженности (размера) сегментных единиц в этом плане разработана далеко не равноценно: основное внимание уделяется обычно так называемому вне нему синтаксису (размер предложения и словосочетания). Вместе с тем квалиметрическое прогнозирование охватывает и единицы низших уровней. Структурная типология, в частности, устанавливает обратные соотношения между фонемным инвентарем языка и средней длиной сегментной морфемы, откуда следует возможность прогнозирования фонемного состава по количеству фонем со стороны протяженности сегментной морфемы и обратно. В последнее время обобщены имеющиеся и получены новые данные, указывающие на значительный интерес проблемы длины слова, которая прогнозирует структурные черты языка, а также авторство и тип речи<sup>17</sup>. К этому следует добавить, что в настоящее время в англистике обсуждаются весьма любопытные следствия, вытекающие по ряду опосредованных связей из более или менее системной корреляции между средней длиной

<sup>15</sup> А. Д. У р с у л, Природа информации, М., 1968. Здесь следует оговорить, что так называемая «линейность» устной речи, в отличие от письменной, должна пониматься как смена актов говорения.

<sup>16</sup> С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, М., 1972.

<sup>17</sup> В. А. Н и к о н о в, Длина слова, ВЯ, 1978, 6.

слова английского языка и стратификацией его словарного состава на общегерманский и романский фонды. Протяженность слов романского фонда в их основной массе стабилизирует устойчивость их словообразовательной парадигмы в связи с прекращением ко времени романских заимствований действия акцентной структуры германских языков на морфемный состав. Весьма вероятно, что нередуцированный характер слов романского фонда выступает в качестве «балласта», удерживающего английский язык от продвижения по направлению к «аморфности» китайского типа. Если учесть неподверженность в английском языке основной массы протяженных романских слов конверсии, возможность прогноза на основе длины слова таких существенных свойств словаря, как тип словообразования и этимологическая структура, представляется очевидной (ср. *watch* — *watch*, но: *observe* — *observation* и т. п.).

Что касается метрики предложения и словосочетания, то обширный материал по проблеме длины предложения в разных языках дал возможность выявить ряд многомерных зависимостей, обусловленных сложностью синтаксической знаковой конструкции и ее многоплановостью<sup>18</sup>. Наличие подробных обзоров литературы и полученных результатов, широко обсуждавшихся в соответствующих публикациях<sup>19</sup>, избавляет от необходимости их детального анализа. Ограничимся лишь неполным перечнем установленных корреляций. Важнейшие из них: «размер предложения — функциональный стиль, авторство или подъязык»; «размер предложения — структура текста речевого произведения»; «размер предложения — тематическая структура текста»; «размер предложения — тип его структуры или структурных частей»; «размер предложения — тип речи». Наиболее жесткие зависимости устанавливаются на так называемой «нижней границе» размера предложения, поскольку действие экстралингвистических факторов на этой границе сведено к минимуму и возрастает с увеличением объема единиц дискурса. В отношении единиц сверхфразового уровня лингвистика текста указывает на то немаловажное обстоятельство, что его количественная модель в терминах протяженности единиц речевого произведения опосредованно связана (через тип речи и композиционную структуру) и с тематической структурой.

Мы не будем останавливаться здесь на ряде дискуссионных и нерешенных проблем метрики предложения и других синтаксических единиц: это в основном проблемы обязательности/факультативности заполнения структурной схемы предложения, проблема эталона измерений (количество графем, фонем, звуков, слогов, морфем, словоформ, форм слов), а также проблема терминологии (длина, размер, объем). Указанные трудности связаны с нерешенностью ряда фундаментальных теоретических вопросов, в частности, проблем минимальной синтаксической единицы и тождества слова. Преодоление этих трудностей возможно лишь на конвенциональной основе и в большей мере достигается специфическими операциональными требованиями аспекта исследования, чем структурой изучаемого языка. Важно поэтому указать лишь на некоторые конструктивные решения и вскрытые на их основе квалитетические закономерности. Так, количественно размеры (протяженность) единиц, из которых строится речь, связаны изоквантностью, т. е. прямой пропорциональностью, что

<sup>18</sup> В синтаксисе предложения флякский параметр протяженности взаимодействует с такими параметрами, как глубина и емкость.

<sup>19</sup> См., в частности: В. Г. Адмони. Размер предложения и словосочетания как явление синтаксического строя, ВЯ, 1936, 4; К. Г. Павлова, Проблема объема предложения (словосочетания) в лингвистической литературе, «Ин. яз. в шк.», 1971, 2; Н. В. Кравчук, Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка. АҚД, Минск, 1972.

установил В. И. Иванов<sup>20</sup>, проверяя принцип так называемой «скрытой упорядоченности», выдвинутой Г. Аренсом<sup>21</sup>. В соответствии с изоквантностью прямой количественной зависимостью связаны длина слова, измеренная в слогах, длина предложения, измеренная в словоформах, и длина абзаца, измеренная в предложениях. Изоквантность отражает изоморфизм количественных отношений в системе «часть — целое», вследствие чего длина слога прогнозирует размер слова, последний — размер предложения, а размер предложения — размер абзаца (речь идет, разумеется, о средних показателях). Но с повышением сложности и протяженности единиц дискурса в грамматику прогнозирования начинает вовлекаться и функционально-семантическое качество. Например, в связи с тем, что уровень абстрагированности в описании ситуаций в определенной мере отражается на количестве словоформ знаковой конструкции, соотносенной с понятием, Г. А. Лесскис установил важное соотношение между средними размерами предложения и степенью конкретности содержания в описании ситуаций<sup>22</sup>, а В. И. Иванов — корреляцию между размерами абзаца и типом речи<sup>23</sup>.

Физическое свойство протяженности синтаксических единиц имеет системно-прогностические связи с функциональным аспектом количества. Это выражается, с одной стороны, в корреляции между частотностью и объемом единицы (ее длиной), с другой стороны — между частотностью и другими физическими параметрами единицы в разных стилях речи. Так, из теории знака известно, что соотношение между его сложностью (протяженностью) и рекуррентностью (частотой) обратно пропорционально. Отсюда и обратное соотношение между длиной сегментной единицы и ее частотой.

Органическую часть грамматики многоаспектного прогнозирования в ее квалиметрическом фрагменте составляет системный анализ проявлений диалектики качества и количества в области простого предложения (атомарного высказывания). В. И. Ленин подчеркивал: «...в *любом* предложении можно (и должно), как в „ячейке“ („клеточке“), вскрыть зачатки *всех* элементов диалектики»<sup>24</sup>. Это приобретает первостепенную важность для синтаксической теории. Квалиметрия вносит определенный вклад в достижение этой цели. Данный аспект предполагает постановку вопроса, при которой основное внимание концентрируется на квалиметрических взаимоотношениях между членами предикативной пары.

В целом субъектно-предикатная структура исчерпывает структурно-коммуникативный минимум информации предложения как относительно независимой от более крупных единиц дискурса величины. Подобный статус обеспечивается предложению свойством взаимодополнительности субъекта и предиката (в данном конкретном случае имеются в виду только кодифицированные структуры, представленные так называемым простым двусоставным повествовательным предложением). Свойство комплементарности субъектно-предикатной структуры не зависит от того, какой аспект предикации имеется в виду: пропозициональная истина в логическом плане, грамматическая предикация или сопряжение компонентов в тематической структуре, которому не вполне оправданно также придается статус предикации. В данном случае это свойство изучается в семантико-

<sup>20</sup> В. И. Иванов, Соотношение размеров предложения и абзаца, ВЯ, 1976, 1.

<sup>21</sup> H. A g e n s, *Verborgene Ordnung*, Düsseldorf, 1965.

<sup>22</sup> Г. А. Лесскис, О размерах предложения в научной и художественной прозе, ВЯ, 1962, 2.

<sup>23</sup> В. И. Иванов, указ. соч.

<sup>24</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 321.

синтаксическом плане (грамматика). При этом принимается ряд следующих исходных положений.

1. Содержательно субъект рассматривается как часть суждения-предложения, отображающая анализируемый предмет по отношению к его модально-временным свойствам-связям, а предикат — как часть суждения-предложения, отображающая модально-временные свойства-связи анализируемого предмета (референта) с целью вербализации различных познавательных установок (выделение, включение, актуализация)<sup>25</sup>. Операционально субъект рассматривается как относительно независимая в структурно-смысловом отношении часть предложения, имеющая опорное слово состава (ядро) и отражающая предмет мысли, а предикат — как относительно зависимый от субъекта состав предложения, являющийся многоаспектной характеристикой субъекта в модально-временном отношении и имеющий опорное слово (ядро), непосредственно соотносящееся с ядром субъекта<sup>26</sup>.

2. Исходя из дихотомического членения предложения на первом уровне разбиения, мы по соображениям принципа иерархии членения следуем за теми лингвистами, которые не принимают концепций, выделяющих категории членения, не вписывающиеся в субъектно-предикатную структуру (имеются в виду так называемые «детерминирующие члены предложения» или «ситуационные комплементы», относящиеся ко всему предложению)<sup>27</sup>.

Принцип бинарного подхода к членению предложения в рамках двувёршинной грамматики имеет не только операционные преимущества для квалиметрических исследований в области субъектно-предикатных отношений, но и безусловные аксиоматико-онтологические обоснования, на что указывается в грамматиках ряда языков номинального строя.

3. Основными полюсами концентрации различного рода информации двусоставного предложения являются субъект и предикат как форманты синтаксических групп главных членов, имеющих свои ядра (сходная мысль была высказана в одной из работ Л. Н. Иноземцева<sup>28</sup>).

4. В качестве меры количества информации о содержательной стороне субъекта и предиката принимается степень дискретности этих компонентов как знаковых конструкций разной сложности. Такая количественная оценка оправдана нематематическим подходом к мере информации, наиболее целесообразным для естественного языка, и в то же время не противоречит основным методологическим постулатам об информации, хотя, как и всякий эталон, не лишена элементов конвенциональности. Дискретность знаков в синтаксисе можно оценивать с помощью различных квантов. Помимо общепринятых показателей (длина, глубина, емкость)<sup>29</sup>, возможен также учет количества морфем, граммем, уровней абстракции в отражении понятия и других индексов дискретности. В данном исследовании в качестве эталона метрики избрана графическая словоформа. Это сделано по ряду соображений. Словоформа соотнесена со всеми видами референции, и че-

<sup>25</sup> В. Н. М и г и р и н, Гносеологические проблемы..., стр. 34.

<sup>26</sup> Л. И. Д е м ч е н к о, Расчлененность субъекта и предиката в эллиптических повествовательных конструкциях. АКД, Киев, 1975.

<sup>27</sup> Концепция детерминантов возникла на почве анализа конструкций с двойственными синтаксическими связями, свидетельствующими о процессах переходности в синтаксисе. Распространителей структурной схемы предложения существовать не может, могут существовать только распространители его частей (компонентов членения разных уровней разбиения). Субъектно-предикатная структура предложения неоспорима в силу своей антропогенности.

<sup>28</sup> Л. Н. И н о з е м ц е в, Об одном аспекте исследования атрибутивного словосочетания, в кн.: «Тезисы докладов и сообщений на научной конференции „Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка“», М., 1965.

<sup>29</sup> По мнению Н. Б. Глебовой («Подлежащее...»), указанные параметры релевантны для создания действующей модели подлежащего.

рез нее в конструкцию вводится синтаксическая связь. В ряде грамматик, в частности в грамматике зависимостей, словоформа рассматривается как минимальная синтаксическая единица. В формальном отношении опора на графическую словоформу снимает проблему тождества слова. И, наконец, на субъектно-предикатные отношения целесообразно перенести существующую традицию измерения объема синтаксических единиц количеством словоформ, поскольку, как было отмечено, в метрике предложения был достигнут ряд существенных результатов в области квалиметрического прогнозирования.

При селекции эталона метрики субъектов-предикатов мы исходим из общеизвестного положения о том, что применение общего эталона к разным системам (объектам) и применение разных эталонов к одной системе (объекту) эвристически равнозначны. Если доказано, что для построения модели субъекта, например, релевантны длина, глубина и емкость<sup>30</sup>, а для построения модели предиката в зависимости от его семантических типов — количество семантических распространителей<sup>31</sup>, то для изучения квалиметрических параметров и субъекта, и предиката в их соотношении целесообразен выбор общего эталона. Иначе охарактеризовать специфику разных объектов в одном каком-либо отношении не представляется возможным.

Для квалиметрических выводов, имеющих эвристический выход в квалиметрическую грамматику прогнозирования, удобно формализовать типы распределения информации между субъектом и предикатом в следующих четырех моделях:  $S_1 - P_1$ ;  $S_1 - P_n$ ;  $S_n - P_n$ ;  $S_n - P_1$ <sup>32</sup>, где добавочные символы 1 и  $n$  означают соответственно одну словоформу и количество словоформ более единицы (подобная формализация пригодна и для других квантов информации). Материал исследования, основанный на фактах современного английского языка в сопоставлении с данными русского и украинского языков, указывает на неравномерность распределения информации между субъектом и предикатом, колеблющуюся, в зависимости от стиля, между соотношениями 1 : 2 и 1 : 4. При нарушении подобных соотношений в ту или иную сторону возникают существенные изменения в позиционных моделях субъектно-предикатной пары, в частности, в английском предложении возникают условия не только для полной инверсии при перегрузке субъекта, но и для нарушения проективности составов предложения (типичны позиционные модели  $P - S$ ,  $S - P - S$ ,  $P - S - P$ ,  $P - S - P - S$  и др.). Частотность разных типов распределения информации в субъектно-предикатной паре является стилообразующим фактором (в частности, художественная проза резко противопоставлена информационным подъязыкам, где преобладают модели с многословностью субъекта). Установлено также компенсирующее изменение информационной насыщенности обоих составов предложения, что в диахроническом плане дает основание утверждать наличие связи процессов возникновения составности на базе изменений в распределении информации. Тип распределения информации между субъектом и предикатом прогнозирует с определенной вероятностью семантические свойства их ядер, способ выражения и позиционную модель субъектно-предикатного бинорма, через которую возможно установить также связь этого типа с типовым значением предложения (ряд

<sup>30</sup> Н. Б. Г л е б о в а, Подлежащее. .

<sup>31</sup> В. В. Л у щ а й, Характер и степень расчлененности предикатов в зависимости от их семантических типов (в предложениях с предложно-падежной формой при связке «быть» и ее синонимических эквивалентах). АКД, Днепропетровск, 1977.

<sup>32</sup> Подобная формализация применена также В. М. Р о н г и н с к и м в статье «Принципы количественного распределения информации между субъектом и предикатом в предложениях разных стилей речи» (в кн.: «Сборник аспирантских работ», Бельцы, 1969).

композиционных вариантов предложения представляет собой двуплановые единицы).

Факты ряда языков (в данном случае речь идет лишь о небольшом их круге) позволяют представить грамматику квалиметрического прогнозирования в сфере субъектно-предикатных отношений и внешних параметров предложения в виде системы импликаций, аналогичных импликациям универсальной грамматики, в частности: «если субъект некоторого высказывания однословен, наиболее вероятно, что его предикат многословен»; «если субъект некоторого предложения однословен, наиболее вероятно, что он выражен личным именем или предметно-личным местоимением»; «если субъект — лицо, наиболее вероятно, что его предикат обозначает действие или состояние лица»; «если субъект некоторого высказывания значительно превышает по количеству информации его предикат, наиболее вероятно, что субъект рематичен»; «если предложение весьма многословно, оно — не побуждение и, весьма вероятно — не вопрос» и др. Подобные импликации могут быть скорректированы методами корреляционной статистики, но в данном исследовании такая задача не ставилась.

Дальнейшие квалиметрические исследования предложения в лингвистике прогнозирования приведут к обнаружению новых важных связей и зависимостей, что открывает для синтаксиса ощутимые теоретические и практические перспективы как воплощение конструктивно-эвристического характера диалектики качества и количества. В практическом отношении важным является моделирование различных качественных аспектов предложения по его количественным параметрам.

СЛЮСАРЕВА Н. А.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТАЯЗЫКОВАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

Метаязыковая функция представляет собой уникальное, неповторимое свойство языка, которое находит свое выражение в наличии особых средств осуществления этой функции. Сложность выявления и определения этих средств заключена в факте единства языка как объекта и как инструмента исследования. В результате этой двойственности базовый арсенал средств осуществления метаязыковой функции, т. е. лингвистическая терминология, оказалась обладательницей ряда свойств, которые выделяют ее среди прочих терминологических систем.

Помимо общих свойств, сближающих термины разных областей научного знания<sup>1</sup>, лингвистические термины обладают своими особенностями. Часть этих специфических черт объясняется условиями развития лингвистики, связь которой со смежными науками, также занимающимися языком, приводила к широкому заимствованию их терминологии. Примеры этого широко известны, однако небезынтересно отметить, что такая «терминологическая контаминация», по мнению Ж. Мунэна<sup>2</sup>, приводит к деградации понятия по мере отхода от основной науки, где оно применяется в первоначальном смысле. Французский ученый приводит воспринятые из химии морфемы *макро-* и *микро-*, но можно показать аналогичное явление на примере заимствования из лингвистики термина *парадигма*, который полностью десемантизировался, когда начал применяться в других общественных науках, выступая в виде однословного (и, возможно, именно этим более удобного) синонима к словосочетанию «совокупность условий, характеризующих состояние данного явления в его взаимоотношении с другими явлениями», например, *парадигма эпохи* в книге Т. Куна<sup>3</sup>. Можно также отметить, что даже в пределах лингвистики использование термина в чуждой для него области приводит к утрате понятийной четкости, например, такой термин, как *парадигматический синтаксис*, выглядит по меньшей мере как оксюморон.

Как известно, развитие науки о языке в разных странах также сказалось на становлении ее терминологии. С одной стороны, происходило взаимное обогащение терминами, например, *сандхи*, *бахуверихи*, *татпуруша* пришли из индийской традиции, *аблаут* и *умлаут* — из немецкой, *апофония* — из

<sup>1</sup> Из последних работ, например, см.: «Проблематика определений терминов в словарях различных типов», под ред. С. Г. Бархударова и др., Л., 1976; ср.: Н. А. Слюсарева, Г. Н. Макарова, Обзор современных словарей лингвистических терминов (1960—1975 гг.), в кн.: «Проблемы современной учебной лексикографии», М., 1977.

<sup>2</sup> См.: G. Mounin, Introduction au problème terminologique, в кн.: G. Mounin (dir.), Dictionnaire de la linguistique, Paris, 1974.

<sup>3</sup> См.: Т. Кун, Структура научных революций, М., 1975, откуда этот термин перешел во многие другие науки, и, в частности, вернулся в лингвистику, но уже в совсем другую ее область — в историю науки, см., например: E. F. Koenig, Towards a historiography of linguistics: 19-th and 20-th century paradigms, «Anthropological linguistics», 14, 7, 1972.

французской, *шифтер* — из английской. С другой стороны, характерно не только то, что для обозначения одного и того же явления в разных языках использовались разные термины, например, *аблаут* — в немецкой традиции и *апофония* — во французской, но и то, что один и тот же термин может обозначать разное, например, термин *морфема* во французской традиции обозначает видовое понятие<sup>4</sup>, а в русской и американской — родовое понятие<sup>5</sup>, в связи с чем для обозначения последнего А. Мартине ввел термин *монема*<sup>6</sup>, предложенный еще А. Фреем с иным значением — «наименьшая единица означающего, которая может быть соотнесена с единицей означаемого»<sup>7</sup>, в итальянской лингвистике для родового понятия (минимальный знак) используется термин *ипосема*, введенный М. Лучиди<sup>8</sup>. Таким образом, полиморфизм терминов, который характерен для разных наук и, по мнению В. В. Налимова, объясняется ориентацией на научные концепции<sup>9</sup>, в отношении лингвистической терминологии должен быть дополнен объяснением связи с национальными научными традициями. Эта связь в свою очередь может быть истолкована как результат метаязыковой функции, носителями которой выступают разные языки.

Терминология нередко является своеобразным барометром, указывающим на принадлежность ученого к определенной научной школе и на его отношение к другим научным течениям. В своей книге «Язык лингвистики», посвященной анализу терминов *уровень* и *ранг*, Р. Р. К. Хартманн показывает возможность их взаимопереводимости в пределах восьми научных моделей со своим методическим и терминологическим аппаратами в каждой (сравниваются школы: сосюрговская, пражская, глоссематика, дескриптивная лингвистика, трансформационная лингвистика, тагмемика, системная и стратификационная грамматики)<sup>10</sup>. В связи с этим понятно, что одна и та же сложная система может описываться при помощи разных моделей, каждая из которых отражает лишь одну из сторон изучаемой системы.

Сложность лингвистической терминологии связана и со свойствами предмета науки о языке. Следует подчеркнуть в связи с этим, что современная марксистская методология науки в качестве основного положения признает соотношение объекта познания и предмета познания<sup>11</sup>. При этом объект познания, как отмечают специалисты по науковедению, будь он материальный или идеализированным, существует независимо от познающего субъекта, тогда как предмет познания формируется познающим субъектом, хотя безусловно «предмет познания, его содержание и структура в конечном счете обуславливаются объектом познания»<sup>12</sup>. Изучение

<sup>4</sup> См.: Ж. Марузо, *Словарь лингвистических терминов*, М., 1960, стр. 160; «Dictionnaire de linguistique», éd. par J. Dubois, Paris, 1973, стр. 324—326.

<sup>5</sup> См.: Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова, *Словарь-справочник лингвистических терминов*, М., 1976, стр. 183; Э. Хэмп, *Словарь американской лингвистической терминологии*, М., 1964, стр. 117.

<sup>6</sup> См.: А. Мартине, *Основы общей лингвистики*, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 379.

<sup>7</sup> См.: H. Frei, *Qu'est ce qu'un dictionnaire de phrases*, CFS, I, 1941, стр. 51.

<sup>8</sup> См.: M. Lucidi, *L'equivoco de «l'arbitraire du signe»*. L'iposema, «Cultura neolatina», 10, 1950; а также: T. De Mauro, *Senso e significato*, Bari, 1971, стр. 84.

<sup>9</sup> См.: В. В. Налимов, *Вероятностная модель языка*, М., 1974, стр. 142.

<sup>10</sup> R. R. K. Hartmann, *The language of linguistics. Reflections on linguistic terminology with particular reference to «level» and «rank»*, Tübingen, 1973; R. R. K. Hartmann, F. Stork, *Dictionary of language and linguistics*, Barking (Essex), 1972.

<sup>11</sup> Наличие в русском языке двух слов: *объект* и *предмет* — облегчает изложение, тогда как в других языках, английском например, используются сочетания: *object of cognition* и *object of science* (объект познания и объект науки).

<sup>12</sup> Сб. «Методологические основы научного познания», под ред. П. В. Попова, М., 1972, стр. 58; см. также: сб. «Философия. Методология. Наука», отв. ред. В. А. Лекторский, М., 1972, раздел 1.

идеализированных, т. е. ненаблюдаемых объектов связано с логической реконструкцией, выраженной в различных знаковых формах, включая схемы, графы и т. п. Признав язык объективным и реальным в своем материально-идеальном «естестве»<sup>13</sup>, мы не можем не признать, что его идеальная сторона может рассматриваться как абстрагированная (отвлеченная) от конкретных проявлений речевых фактов, от объективной реальности. Такое отвлечение позволяет трактовать в качестве объекта познания те объективные свойства, связи и отношения, которые включаются в процесс познания. Логическая модель идеализированного объекта, представляющая одну из сторон этого объекта, возможно, самую существенную, и есть его реконструкция, которая в этом смысле может быть названа конструктором. Тот или другой конструктор в свою очередь может стать предметом обсуждения с точки зрения адекватности объекту. Сам язык как объект не конструируется наукой, но ее предмет, безусловно, определяется степенью развития данной науки, ибо наука совершенствуется, познавая все новые и новые стороны объекта и делая их предметом изучения.

Сложность языка заключается в том, что он выступает одновременно и как объект познания, и как предмет науки, и как ее инструмент. Как объект познания язык существует в речи и в сознании говорящих, т. е. представляет собой уникальное явление, служащее для преобразования материального в идеальное, причем сама его материальность двойственна: это, с одной стороны, звуковая сторона речи, а с другой стороны, те процессы, которые протекают в мозгу и являются субстратом мышления. В виде предмета науки язык представляет собой отображение существеннейших свойств объекта, и в этом смысле можно согласиться с тем, что конструкторами оказываются понятия, отображающие эти свойства. Наконец, как инструмент познания язык располагает особыми средствами — прежде всего терминологией, а также двумя способами моделирования свойств объекта: 1) в виде формул, схем, графов, рисунков, таблиц и т. п. и 2) в виде языковых произведений, созданных из единиц какого-либо естественного языка. Второй способ представляет значительные трудности, которые все явственнее обозначаются за последнее время. Так, например, один из составителей словаря немецкой лингвистики<sup>14</sup> Г. Хенне в статье, посвященной соотношению лингвистических теорий и их терминологии с социокультурным контекстом соответствующего периода, наряду с терминами трактует слова типа *Haus* в метаязыковом (по его терминологии) предложении *Haus ist ein Lexem* как особые единицы метаязыка — сигнемы (к последним он относит также и артикль)<sup>15</sup>. Думается, что подобная «настройка» над единицами языка объекта лишь усложняет реальность, суть которой сводится к метаязыковой функции языка, которая порой с трудом отделяется от коммуникативной функции: одни и те же слова могут выступать то в виде единиц общения, то в виде единиц исследования. Обратим также внимание на то, что лингвистика, в отличие от ряда других наук, не располагает особым синтаксисом и использует обычные структуры предложений литературного языка, т. е. синтаксис языковедческих произведений не является носителем метаязыковой функции (мы оставляем в стороне синтаксис учебных пособий).

<sup>13</sup> Ср.: Б. Н. Головин, Лингвистические термины и лингвистические идеи, ВЯ, 1976, 3, стр. 22.

<sup>14</sup> Н. Р. Althaus, Н. Henne, Н. E. Wiegand, Lexikon der germanistischen Linguistik, Tübingen, 1972—1973.

<sup>15</sup> См.: Н. Henne, Korrelationen von Sprachtheorie und Terminologie in der germanistischen Linguistik, «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», 1, Wiesbaden, 1971, стр. 49—50.

Поскольку из-за двойственной материально-идеальной природы языка расчленение объекта познания и предмета науки оказывается крайне осложненным, мы позволим себе в дальнейшем пренебречь этим и говорить в целом о языке как объекте в его противопоставлении языку как инструменту исследования, обратив внимание на терминологию, выступающую в качестве носителя метаязыковой функции.

Для всех наук действительно положение о том, что в терминологии закрепляется результат познавательного процесса в данной области знания (разумеется, мы не учитываем случаи фиксации ложного знания, типа термина *флогистон*): термины служат для концептуализации и классификации познаваемого, представляя собой существенную часть исследовательского аппарата. Думается, однако, что положение терминологии в гуманитарных науках существенно отличается от ее положения в естественных науках, так как в с я терминология лингвистики, например, обладает двойственным характером. С одной стороны, в термине закрепляется познание: так, открытие И. А. Бодуэном де Куртенэ абстрактной единицы языка, реализующейся в звуке речи, породило термин *фонема* и вслед за ним весь эмический ряд терминов. С другой стороны (и это следует особо подчеркнуть), термин в лингвистике, как, видимо, и в других гуманитарных науках, служит инструментом открытия нового знания: вслед за установлением системы фонем на материале русского языка, начинается фронтальное «добывание» фонем из звукового материала разных языков. Подобный пример можно привести и из другой области науки о языке: в свое время Л. В. Щерба подметил такие особые качества ряда слов в русском языке, которые привели его к мысли о необходимости выделить их в особую часть речи, названную им не очень удачно «категорией состояния»<sup>16</sup>. Вслед за ним пошли другие исследователи, использовавшие данный термин как отмычку к обнаружению подобного явления в других языках, например, Б. А. Ильин этим термином «окрестил» в английском языке группу слов типа *asleep, afloat* и т. п.<sup>17</sup>, хотя еще А. Мейе справедливо указывал, что один и тот же грамматический термин может обозначать в разных языках нетождественные явления<sup>18</sup>.

Двойственный характер лингвистической терминологии является одной из отличительных черт, противопоставляющей ее терминам даже столь близкой науки, как литературоведение, где *оксюморон* или *литоту* можно продемонстрировать на примере любого языка. Более того, эта двойственность терминологии в последние десятилетия породила то, что терминовое творчество захватило всех исследующих явления языка. Стало трудно отделить термин, обозначивший вновь открытое явление, от термина, который был использован для его открытия. Двойственность лингвистической терминологии особенно ярко проступает в тех случаях, когда «изобретается» термин для обозначения уже познанного и названного явления. Например, Э. Бенвенист использовал новый термин *меризм* для обозначения того, что все прочие языковеды именовали *различительным* (*дифференциальным, дистинктивным*) *признаком* — термином, достаточно прочно вошедшим в науку<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Л. В. Щ е р б а, О частях речи в русском языке, в его кн.: «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 91 и сл.

<sup>17</sup> См.: Б. А. И л ь и н, О категории состояния в английском языке, «Сб. памяти акад. Л. В. Щербы», Л., 1951.

<sup>18</sup> См.: А. М e i l l e t, Sur la terminologie de la morphologie générale, «Revue des études hongroises», 1928, VI, стр. 9 и сл.

<sup>19</sup> Не исключена возможность, что во введении термина *меризм* проявилось стремление заменить однословным термином словосочетание (франц. *trait pertinent*).

История науки показывает, что в ней остаются именно те термины, которыми были обозначены вновь открытые явления, а термины, использованные лишь для открытия, ушли в область предания, остались достоянием тех, кто их изобрел. Ж. Мунэн писал, что «история лингвистики, как и многих других наук, представляет собой огромное кладбище терминологических экипажей..., на которых почти никто не ездил. На это кладбище мало заходят, хотя посещение его было бы весьма поучительным. Из ста шести терминов, созданных Ельмслевом, в общем использовании осталось лишь около 5%»<sup>20</sup>. Если проанализировать эти термины Ельмслева, то подтвердится выдвинутое нами положение о специфике лингвистической терминологии. Остались термины: а) *план выражения* и *план содержания*, как обозначающие более широкие понятия, чем сосюрские *означающее/означаемое* и б) *интерденденция*, *детерминация* и *констелляция*, как обозначающие также более широкие типы отношений (кстати, отметим, что раздельные названия, введенные Ельмслевом для обозначения этих функций соответственно в языке и в речи, используются очень редко), в) наконец, само слово *функция* в том его особом значении, которое ему придал датский ученый, и с обязательным указанием на это; вот, пожалуй, и все, если не считать термина *фигура*, на который обычно указывают как на некое не весьма удачное творение.

К сожалению, возможность использовать терминотворчество в качестве инструмента открытия привела за последние десятилетия к тому, что языкознание наводняется новыми терминами. Ж. Мунэн отметил даже, что «профессиональной болезнью как солидного, так и молодого ученого и даже кандидата в ученые является убеждение в том, что открыто некое понятие, если ему дано имя, хотя может случиться, что оно уже разработано и описано кем-либо другим»<sup>21</sup>. Ж. Мунэн показывает примеры настоящей терминологической страсти, назвав имена Дамуретта и Пешона, Ельмслева, Теньера и др. Теньер, по его мнению, очень оригинален по ряду высказанных идей, но несомненное препятствие для их усвоения создали термины, например, *auto-ontif*, *anti-ontif* и *an-ontif* для обозначения 1, 2 и 3-го лица личных местоимений.

Предостерегая против увлечения созданием новых терминов, Мунэн справедливо напоминает, что наука — это коллективное творчество и научный язык — это тоже орудие коммуникации, как и любой другой язык, хотя и используемый в более узкой сфере общения. Следовательно, любой создатель термина (*néologue*), как бы гениален он ни был, зависит от общества: если его язык не принимается, его не читают или читают мало, а если его не понимают, то обычно оставляют в стороне.

Это замечание Мунэна требует, однако, некоторой оговорки, так как непонимание идей ученого и отказ от его терминологии может быть следствием неких парадоксальных ситуаций, которые известны в истории разных отраслей знания, когда гениальный ученый, опережающий науку своего времени, вводит новые понятия и термины, но остается непонятым современниками, и лишь спустя какое-то время его терминологический аппарат начинает, наконец, работать. В истории языкознания достаточно назвать имя Ф. де Соссюра, подлинная оценка идей которого и принятие его терминологии были осуществлены почти через полвека после его смерти. Бывают и иные случаи, когда быстрое распространение идей ученого и массовое использование его терминологии еще не свидетельствует о том, что за терминами стоят вновь познанные сущности.

<sup>20</sup> G. M u n é n, указ. соч., стр. XV—XVI.

<sup>21</sup> Там же, стр. XIII.

Двойственный характер лингвистической терминологии, который был нами отмечен, обладает той уникальной особенностью, что термин возникает в качестве инструмента как раз в тот момент, когда происходит приближение ученого к открываемому, когда контуры устанавливаемого понятия еще не полностью обозначаются, когда сущность явления еще не раскрывается перед исследователем во всей его многогранности. Термин выступает в виде своеобразного органа, при помощи которого «ощущается», «осматривается», «измеряется», «взвешивается» открываемое. Во время этого происходит некая «борьба» термина и дефиниции, из которой термин, как правило, выходит «победителем», так как в нем результируется познание, а дефиниция остается для выполнения своей роли, раскрывающей и детализирующей свойства познания.

Трудности, с которыми сталкиваются языковеды, познавая свой объект, невозможно преувеличить, поскольку анализ языка, как было отмечено выше, представляет собой создание некоторой логической модели, элементы и отношения которой обозначаются соответствующими терминами. Оперировав термином как инструментом открытия, ученые постигают свойства анализируемого предмета. В тех случаях, когда наличие «терминированного» объекта доказывается, ему присваивается данное имя и оно уже закрепляет результат познания. Подчеркнем в связи с этим, что проверка моделей языка, как показывают, например, исследования последних лет в области синтаксической семантики, осуществляется обращением к особенностям речи. Более того, как верно подметила Н. З. Котелова, в качестве инструмента анализа выступает не язык, а собственно речь<sup>22</sup>, однако, располагающая особым арсеналом средств — терминами. Последние, т. е. слова (или словосочетания — мы отвлекаемся от проблемы структурных свойств терминологии), служат для построения модели языка, истинность которой проверяется обращением к конкретным речевым произведениям. Таким образом, двойственный модус существования языка также играет немаловажную роль при характеристике терминов науки, его изучающей.

Инструментальная роль термина хорошо видна на примерах двух типов терминов: метафорических и терминов с прозрачной внутренней формой, так как именно они позволяют без дефиниции указать на какое-то свойство вновь открытого.

В языкознании термины-метафоры прижились уже давно, да и вновь создаются с немалым успехом, доставляя возможность спорить, например, по поводу того, что же представляет собой лексика — поле или систему, т. е. беспорядочную или упорядоченную совокупность единиц. Метафоричность терминологии, которая, как правило, позволяет объяснить новое через старое, может, однако, приводить и к усложнению описываемого явления. Так, например, термин *поле* вызывает представление о плоскостном объекте, «измеряемом» лишь по длине и ширине, вследствие чего использование при этом термине представления о «вертикальном разрезе» поля приводит к столкновению двух противоречащих друг другу метафор. Кроме того, есть и еще одна опасность, на которую указала Н. З. Котелова: «Ассоциации как субстратный компонент значения термина очень живучи. Под влиянием, например, метафоры, легшей в основу значения термина *управление*, лингвисты все дальше и дальше заходят в тупик в поисках „управляющих“ синтаксическими формами сил, давая большую волю своему воображению, так что вызванное к жизни понятие, занимавшее определенное место в научной классификации, оказалось смещенным на весьма далекое расстояние от первоначальной позиции».

<sup>22</sup> Н. З. Котелова, Искусственный семантический язык, ВЯ, 1974, 5.

ции»<sup>23</sup>. Разумеется, следует отличать метафорические термины от прочих случаев использования слов общенародного языка в специальных целях: а) при отсутствии особого терминологического значения, например, *конечный слог* (ср. *конечный пункт*), и б) при наличии особого терминологического значения, но без метафоризации или при ее утрате, например, *твердый согласный* (ср. *твердый характер*).

Внутренняя форма термина также важна для успешного выполнения им инструментальной роли, поскольку в ней содержится указание на свойство обозначаемого предмета/понятия. В качестве примера достаточно назвать лишь один из исконно русских грамматических терминов — *дополнение*, внутренняя форма которого достаточно прозрачна. Однако прозрачность внутренней формы обычно утрачивается при заимствовании, например, английского термина *шифтер* в русский язык. В лучшем положении находятся термины, созданные на греко-латинской основе, хотя их внутренняя форма требует дополнительных объяснений на начальных этапах ее внедрения. Существенную роль в оживлении и в восприятии внутренней формы иноязычного термина играют словообразовательные связи в языке, причем не только в данной терминосистеме. Например, практика показывает, что термин *синхрония* усваивается легче, чем его коррелят *диахрония*, благодаря наличию слова *синхронный*; легко входит в обиход слово *экспонент*<sup>24</sup>, а также другие слова, быстро обрастающие словообразовательным гнездом, например, *денотат* — *денотативный* — *денотативовать* — *денотировать* — *денотирующий* — *денотируемый* и т. д.

Возникновение и использование иноязычной терминологии весьма осложнилось за последние годы. Расширившиеся международные связи ученых и вследствие этого своеобразная интернационализация науки привели к широкому проникновению заимствованных терминов, чаще всего именно созданных на греко-латинской основе<sup>25</sup>. Естественно, встает вопрос целесообразности этого процесса, который может быть решен, если принять во внимание двойственность самой терминологии. Вряд ли надо противиться проникновению тех терминов, в которых закреплены результаты открытия, например, не так давно вошли в обиход термины *денотат* и *сигнификат*, поскольку ими были обозначены явления той сферы, где происходит взаимодействие языка и мышления, а следовательно, слова *предмет* и *понятие*, связанные с другими сферами, уже недостаточны. Однако в тех случаях, когда для вновь открытого явления есть исконный термин, следует отдать предпочтение именно ему. Например, в зарубежном языкознании последних лет вошла в обиход *контрастивная лингвистика*, задачи и содержание которой полностью покрываются областью *сопоставительной лингвистики*. Никакого различия в содержательной стороне этих терминов нет, и в качестве базового целесообразно использовать исконный термин, оставив иноязычный вариант в качестве удобного синонима. На проникновение лишних заимствованных терминов во французский язык обращает внимание и Ж. Мунэн, который считает, что значительное их число появилось из-за ошибок переводчиков, например: пара *destinateur* — *destinataire* во французском появилась под влиянием англ. *destinator* — *destinee*, хотя в почтовых отправлениях во Франции давно существует пара *expéditeur* — *destinataire*<sup>26</sup>. Можно было бы показать, что подобное поло-

<sup>23</sup> Н. З. Котелова, Семантическая характеристика терминов в словарях, сб. «Проблематика определений...», стр. 40.

<sup>24</sup> См.: Ю. С. Маслов, Введение в языкознание, М., 1974.

<sup>25</sup> Совершенно справедливо сожаление С. Г. Бархударова, что у нас нет словаря международных терминологических элементов. См. сб. «Проблематика определений...», стр. 12.

<sup>26</sup> G. Mounin, указ. соч., стр. XII.

жение имеет место и в лингвистике. В связи с этим необходимо очень внимательно относиться к внедрению иноязычных терминов именно тем, кто более или менее хорошо владеет иностранными языками и для кого внутренняя форма воспринимаемого термина представляется излишне прозрачной, например, начал использоваться термин *фрейм* (из англ. *frame*), значение которого идентично русскому термину *рамка*.

Попутно обратим внимание еще на одну особенность лингвистической терминологии, связанную с обсуждаемой проблемой. Несмотря на общую двойственность лингвистической терминологии, в ней есть разряд терминов, лишенный инструментальной роли, а именно — номены<sup>27</sup> (названия элементов системы конкретного языка — *фонема а* в русском языке, *окончание -s* во мн. ч. имен существительных английского языка и т. п.). Номены лишь фиксируют результат познавательной работы и не служат инструментом открытия.

В заключение еще раз отметим, что если термин, закрепивший открытие, входит в научный обиход, то термин-инструмент остается обычно за его пределами, составляя необходимую часть инструментария той или другой школы или концепции. Такие термины, как было упомянуто выше, обычно не «приживаются», что служит дополнительным показателем, каков характер того или другого термина. Однако не приходится говорить, что эти два аспекта лингвистического термина выделяются с трудом, но именно их наличие объясняет возможность безудержного терминотворчества, поскольку в качестве инструментов открытия создаются все новые и новые орудия. Лишь проверка на результаты открытия служит показателем жизнеспособности термина.

Двойственность лингвистической терминологии объясняется тем, что метаязыковая (или, может быть, лучше ее назвать инструментальной?) функция, как, впрочем, и другие, тесно переплетается и с коммуникативной, и с познавательной функциями, а язык как объект реального мира неотделим от предмета науки о нем самом.

<sup>27</sup> См.: А. Д. Х а ю т и н, Термин, терминология, номенклатура, Самарканд, 1972; А. В. С у п е р а н с к а я, Терминология и номенклатура, сб. «Проблематика определений...»; см. также другие статьи этого сборника.

ЮРЧЕНКО В. С.

## СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМА СИНТАКСИСА

I. Под структурой предложения здесь понимается прежде всего грамматический аспект коммуникативной единицы языка, т. е. взаимосвязь таких элементов, как подлежащее, сказуемое, обстоятельство, дополнение, определение; трактуемая в широком смысле, структура предложения включает также компоненты мыслительного, общепонятийного членения — глубинного, или виртуального (логические субъект и предикат, выражающиеся через грамматические составы подлежащего и глагольного сказуемого) и актуального (тему и рему). Под системой синтаксиса будет пониматься взаимосвязь типов простого предложения; в широком смысле система синтаксиса включает, конечно, все синтаксические единицы (словосочетание, простое предложение, сложное предложение). Уточнив таким образом значения терминов, сформулируем теперь проблему: как соотносятся внутреннее строение предложения (структура предложения) и наличие в языке различных типов простого предложения (система синтаксиса)? Насколько нам известно, данная задача эксплицитно еще не была сформулирована, хотя это — одна из кардинальных проблем теоретического синтаксиса: решение ее позволит поставить количество и характер типов предложения в объективную зависимость от внутреннего строения предложения и, следовательно, представить синтаксический уровень как систему, а не как механический набор подчас случайных структурных схем или моделей предложения. Примером полного несоответствия, разрыва между внутренней природой предложения и наличием в языке различных типов (структурных схем) предложения может служить синтаксическая концепция, представленная в книге «Грамматика современного русского литературного языка». Согласно данной концепции, сущностью предложения является предикативность, трактуемая как единство категорий объективной модальности и синтаксического времени, выражаемых специальными грамматическими средствами<sup>1</sup>. Однако из этой сути никак не вытекают структурные схемы (типы) предложения. Более того, если строго придерживаться исходных положений относительно природы предложения, изложенных в «Гр. 70», то следует признать, что выделение, разграничение и описание различных структурных схем предложения является логически неоправданным, поскольку, с точки зрения объективной модальности и синтаксического времени, все эти схемы предложения — по крайней мере, важнейшие из них — абсолютно тождественны. Так, например, предложения *Дитя рисовало хорошо*, *Светало рано*, *Небо было прозрачно*, *На улице было тепло* ни по грамматическому значению времени и наклонения, ни по способу выражения этого значения ничем друг от друга не отличаются, хотя это и принципиально различные структурные схемы предложения. В теории, представленной в «Гр. 70», структурные схемы предложения и парадигма предложения, т. е. система его модально-

<sup>1</sup> «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970 (далее — «Гр. 70»), стр. 542, 543.

временных форм, выражающих предикативность, никак между собою не связаны.

Назовем шесть важнейших типов простого предложения русского языка: 1) двусоставное глагольное — *Рабочий строит дом хорошо*; 2) двусоставное именное — *Ночь темна*; 3) односоставное (безличное) глагольное — *Светает рано*; 4) односоставное (безличное) именное — *На улице холодно*; 5) номинативное — *Зима*; 6) модальное — *Да, Нет, Возможно*. Анализ показывает, что эти предложения можно разделить на две группы следующим образом: в одну группу входит первое предложение, а в другую — все остальные. В предложениях 2—6 в принципе нет ничего такого, чего бы не было в предложении 1, и их специфика определяется двумя моментами: во-первых, тем, что в них отсутствует нечто, что имеется в предложении 1, во-вторых, тем, что такое отсутствие как-то видоизменяет остальную часть. Таким образом, тип двусоставного глагольного предложения выступает как исходный, базисный, а остальные типы являются производными от него, зависимыми (прежде всего в синхронном плане, но также очевидно, и в плане диахроническом). Поэтому двусоставные глагольные предложения будут называться основным типом предложения (ОТП). В данной статье рассматривается вопрос о структуре ОТП и ее соотношении с двумя «вторичными» (зависимыми) типами предложения — двусоставным именным и односоставным глагольным<sup>2</sup>.

Прежде чем, однако, обсуждать указанный вопрос, необходимо остановиться на одном теоретическом постулате современной синтаксической науки. Речь пойдет о принципе минимальности предикативной структуры предложения. Многие современные синтаксические теории исходят из того, что предикативная структура — это минимум того, что, с точки зрения структурно-семантической, необходимо для речевого общения<sup>3</sup>. Поэтому из реальной коммуникативной единицы исключаются все те элементы, которые, как представляется в рамках данных концепций, являются избыточными, ненужными для предложения. Например, считается, что элемент *крепко*, который находится в коммуникативной единице — высказывании *Он спит крепко*, не входит в предикативную структуру, поскольку минимально достаточной является часть *Он спит*: она информационно закончена. Принцип минимальности предложения может пониматься по-разному: так, одни ученые включают семантически зависимые от глагола-сказуемого члены в обязательную структуру предложения, а другие не включают<sup>4</sup>. И хотя эти решения принципиально различны, однако ни

<sup>2</sup> См.: В. С. Ю р ч е н к о, О взаимосвязи мышления, языка и речи на коммуникативном уровне, сб. «Язык и мышление», М., 1967; е г о ж е, Простое предложение в современном русском языке, Саратов, 1972; е г о ж е, Сказуемое, ВЯ, 1977, 6.

<sup>3</sup> Ср.: «...структурная схема предложения — это тот отвлеченный образец, по которому может быть построено минимальное самостоятельное и независимое сообщение» («Гр. 70», стр. 546). Как отмечает О. И. Москальская, принцип минимальности предикативной структуры «проходит красной нитью через все новейшие определения модели предложения» (О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, М., 1974, стр. 23.)

<sup>4</sup> См.: Е. А. И в а н ч и к о в а, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5; В. Г. А д м о н и, Структурно-смысловое ядро предложения, сб. «Члены предложения в языках различных типов», Л., 1972; Н. Ю. Ш в е д о в а, Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм, ВЯ, 1973, 4; С. И. К о к о р и н а, О реализации структурной схемы предложения, ВЯ, 1975, 3; И. П. Р а с п о в, Что же такое структурная схема предложения?, ВЯ, 1976, 2; М. К у б и к, К вопросу о классификации предложений в русском языке, «Ceskoslovenská rusistika», 1968, 2; П. А д а м е ц, В. Г р а б е, Трансформация, синтаксическая парадигматика и члены предложения, «Slavia», 1968, 2; R. Z i m e k, Věta a soustava větných (výrovných) typů, «Ruský jazyk», 1968, 3; П. А д а м е ц, Очерк функционально-трансформационного синтаксиса современного русского языка. ч. 1, Прага, 1973.

в том, ни в другом случае не колеблется сам принцип выделения грамматической структуры предложения как минимально достаточного образования.

Следует, однако, признать, что принцип минимальности предикативной структуры не имеет грамматического обоснования — ни эмпирического, ни теоретического. Не случайно в синтаксических теориях он чаще всего присутствует как чисто априорный. Если же предпринимаются попытки обосновать его, то предложение экстраполируется из грамматики в сферу лексики и актуальной речевой информации, поскольку критерием выделения минимальной предикативной структуры (модели предложения) в конечном счете оказывается лексическая семантика, актуализированная в речи. Однако количество элементов в грамматической структуре предложения не может быть найдено путем анализа отношения этой структуры к лексической семантике и актуальной речевой информации. Из того факта, что речевая единица *Он спит* является минимальным информационно законченным высказыванием, никак не следует, что грамматическая структура предложения представлена в этой единице полностью, целиком. Если семантическая незавершенность высказывания (например, *Он приходит...*) свидетельствует о грамматической неполноте, то отсюда никак не следует, что, наоборот, семантическая завершенность высказывания (*Он спит*) свидетельствует о грамматической полноте предложения. Критерии выделения минимального информационно законченного высказывания лежат на ином уровне, нежели критерии выделения грамматической структуры предложения, и не должны подменяться друг другом. Первые лежат преимущественно в сфере лексики и актуальной речевой информации, в частности в сфере актуального членения высказывания, тогда как предикативная структура предложения принадлежит грамматике языка. Высказывание *Он спит* является информационно законченным только в определенных условиях речи (например, при ответе на вопрос *Что он делает?*), тогда как в других речевых условиях (например, при ответе на вопрос *Где он спит?*) оно будет информационно незаконченным, а законченным будет другое высказывание — *Он спит на диване*. И неясно, почему при поиске инвариантной предикативной структуры должно быть отдано предпочтение сокращенному варианту предложения (*Он спит*) перед полным вариантом (*Он спит на диване*, *Он спит крепко* и т. д.).

Опора на принцип минимальности ведет к тому, что за «бортом» грамматической структуры предложения остаются важнейшие части речи, как то: наречие и косвенные формы существительного, т. е. обстоятельственные и объектные члены предложения. Обычно эти члены механически и произвольно подсоединяются к уже «готовой», цельной структуре предложения в качестве особых дополнительных «распространителей», детерминантов и т. д. Таким образом, получается, что наречие, а у некоторых авторов также и косвенные падежи существительного, первично не включены в предложение, которое, как известно, выполняет важнейшую функцию языка — коммуникативную. С этим трудно согласиться. Кроме того, неясно, кто и как присоединяет эти избыточные члены к структуре предложения. Очевидно, говорящий? Но грамматическая структура предложения имеет объективный характер, и говорящий (индивидуум) не может видоизменять ее, в частности увеличивать или уменьшать число ее элементов. Принцип минимальности неизбежно приводит к тому, что вопрос о предложении и его границах получает какое-то половинчатое, противоречивое решение: с одной стороны, утверждается, что конструкции типа *Он спит*, *Он читает* представляют полное предложение, но с другой — это решение тотчас же отменяется, поскольку признается, что к ним могут присоединяться новые члены (*Он спит на веранде*, *Он читает вслух книгу*),

а стало быть, фактически утверждается, что нераспространенные конструкции представляют неполное предложение.

Среди компонентов, лежащих на приглагольной оси «обстоятельство — дополнение», есть один такой, которому особенно не «повезло» в связи с применением рассматриваемого принципа. Имеется в виду качественное обстоятельство, выраженное определительными наречиями на *-о, -е* (*Студент учится хорошо, Спортсмен бежит быстро, Друг говорит искренне*). В настоящее время этот член единодушно исключен из структуры предложения. Он рассматривается только как определение глагола-сказуемого, которое не имеет никакого отношения к предикативной структуре предложения. Между тем анализ синтаксического материала показывает, что этот член непосредственно включен в предикативную структуру. Прежде всего, он является характеристикой не только действия, но косвенным образом — через глагол — также и предмета, выраженного подлежащим. Например, признак *хорошо* относится не только к действию *учится*, но скрыто, опосредствованно также и к субъекту *студент*. Данный обстоятельственный член является потенциальным именным предикатом (ср.: *Ученик пишет грамотно — Ученик грамотен; Старик говорит мудро — Старик мудр; Солдат сражался храбро — Солдат был храбр*), и неслучайна генетическая связь между качественным наречием и кратким прилагательным — специфической формой именного сказуемого. Интересен и тот факт, что данный компонент оси «обстоятельство — дополнение», в отличие от ряда других ее компонентов, может находиться при любом глаголе-сказуемом, транзитивном или интранзитивном, поскольку он не обусловлен его семантикой. Правда, необусловленность семантикой глагола-сказуемого обычно рассматривается как свидетельство того, что компонент, лежащий на оси «обстоятельство — дополнение», не входит в структуру предложения. Однако такой подход вряд ли является грамматическим.

Можно полагать, что принцип минимальности предикативной структуры следует из анализа именных предложений, в которых объектные и обстоятельственные члены лежат как бы на периферии, в связи с чем они особенно легко могут быть опущены без нарушения речевой цельности высказывания; ср.: *Сегодня с женою он был груб — Он был груб; Мне грустно — Грустно; На улице холодно — Холодно*. Однако данный вывод поколеблется, если принять во внимание, что именная конструкция в иерархической системе синтаксиса объективно «опирается» на основной тип предложения — двусоставное глагольное, а ее объектные и обстоятельственные члены генетически восходят к приглагольной парадигматической оси «обстоятельство — дополнение» и тоже «опираются» на нее. Поэтому анализ именных конструкций без учета их зависимого положения в иерархической системе синтаксиса не может привести к адекватному выводу относительно объема инвариантной структуры предложения.

Более широкий анализ показывает, что корни принципа минимальности структуры предложения, на который опирается синтаксическая наука, лежат в науке логики. При этом характерно, что классическая формальная логика и новейшая математическая логика обусловили разное понимание лингвистами данного принципа. Под прямым или скрытым влиянием формальной аристотелевой логики минимальной признается конструкция «подлежащее — глагольное сказуемое», поскольку последняя позволяет выразить в речи традиционное атрибутивное суждение  $S — P$ ; например: *Иван — читает, Петр — пишет*. А под явным или скрытым влиянием математической логики минимальной признается конструкция «подлежащее — глагольное сказуемое — дополнения», поскольку только такая структура позволяет выразить релятивное суждение, или пропозициональную функцию  $P(x, y)$ ,  $P(x, y, z)$ ; например: *Иван читает книгу, Петр*

пишет письмо, Брат подарил сестре велосипед. Конечно, у грамматической структуры предложения есть «точки соприкосновения» с логической структурой высказывания, причем как в ее субъектно-предикатной форме, так и в форме пропозициональной функции<sup>5</sup>. Однако в силу известного методологического тезиса о единстве, но не тождественности языка и мышления прямое сведение грамматической структуры предложения к логической структуре высказывания, как в ее субъектно-предикатной форме, так и в форме пропозициональной функции, является неправомерным. Как показывает анализ системы языкового мышления и речевой коммуникации, виртуальный логический предикат (компонент суждения  $S - P$ ) не выражается через одиночное глагольное сказуемое (*бежит, ходит, строит*), но только через его грамматический состав (*бежит быстро, ходит в школу, строит завод*). Иначе говоря, виртуальные субъект и предикат выражаются соответственно через состав подлежащего и состав глагольного сказуемого. Что же касается актуальных субъекта и предиката (темы и ремы), то они, как известно, жестко не связаны с компонентами грамматического членения предложения; поэтому актуальный логический предикат может соотноситься не только с глагольным сказуемым, но и с подлежащим; ср.: *Читает — Иван, а пишет — Петр*<sup>6</sup>. Пропозициональная функция также не может служить непосредственной меркой для определения границ предложения уже потому, что в качестве аргументов в ней используются только предметные переменные, тогда как в предложении явно конститутивную роль играют элементы и других семантических классов (признаки, обстоятельства). Кроме того, значением пропозициональной функции служат истина или ложь, т. е. логические категории, которые являются нейтральными для грамматической структуры предложения.

Принцип минимальности, будучи теоретически несостоятельным, на практике оборачивается серьезной помехой — он мешает исследователю в его поисках инвариантной структуры предложения; заранее предполагается, что эта структура содержит минимальное число элементов, возможное при данной лексической семантике.

В силу всего сказанного названный принцип должен быть заменен другим, именно: принципом оптимальности предикативной структуры. Последний означает, что количество элементов в инвариантной структуре предложения должно быть не минимальным, а оптимальным. Оно может быть найдено путем анализа отношения того типа предложения, в котором его инвариантная структура представлена наиболее адекватно (например, *Рабочие строят дом хорошо*), к тем типам, где она представлена либо избыточно (например, *Прилежные рабочие строят дом хорошо*), либо недостаточно (например, *Дом красив, Светает рано*). Таким образом, принцип оптимальности требует одного: при вычлениении предикативной структуры необходимо опираться только на результаты исследования языковой действительности; нельзя при этом руководствоваться априорными соображениями о минимальности или максимальной структуре предложения.

II. Учитывая сказанное, рассмотрим вопрос о том, какие члены входят в структуру ОТП. Если отвлечься от несущественного для данного случая в структуре предложения, а также от чисто терминологических новшеств,

<sup>5</sup> См.: В. З. П а н ф и л о в, *Философские проблемы языкознания*, М., 1977, стр. 116.

<sup>6</sup> Более подробно вопрос о соотношении двусоставности (виртуальные субъект — предикат), грамматического членения (определение — подлежащее — глагольное сказуемое — обстоятельство — дополнение) и актуального членения (тема — рема) рассматривается в работе автора «О строении коммуникативной единицы» (в печати).

то можно сказать, что грамматическая наука знает пять важнейших синтаксических членов: определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство — дополнение, причем в структуре ОТП они предстают в своей исходной морфологизованной форме, например: *Прилежный ученик читает внимательно книгу*. Анализ показывает, что присубстантивный зависимый член (определение) непосредственно не включен в предикативную структуру предложения — он первично является элементом атрибутивного словосочетания (*прилежный ученик*). В структуру предложения он может входить лишь вместе с ее конститутивным членом, например вместе с подлежащим или дополнением. С этим связано то, что определение — это единственный синтаксический член, который непосредственно не соотносится с конструктивным ядром предложения — глагольным сказуемым. Исключив определение при подлежащем, мы одновременно, разумеется, исключаем из предикативной структуры определения при других членах — дополнении и обстоятельстве.

Аналогичным образом обычно решается и вопрос о синтаксическом статусе приглагольных зависимых членов — обстоятельства и дополнения. Считается, что эти члены первично включены в глагольное словосочетание, а в структуру предложения они входят лишь опосредствованно — как определители или распространители глагола, т. е. как элементы словосочетания. Эта точка зрения иногда проводится последовательно, иногда — с теми или иными отступлениями (например, некоторые разновидности обстоятельства и дополнения рассматриваются как «свободные распространители» всего предложения). Следует признать, что такое решение, будучи глубоко ошибочным, влечет для теоретического синтаксиса большие отрицательные последствия. Анализ структуры предложения в плане системных отношений в синтаксисе показывает, что зависимые члены, относящиеся к глагольному сказуемому (обстоятельство, дополнение), первично являются обязательными, конститутивными элементами предикативной структуры предложения. Компонентами словосочетания они становятся, строго говоря, только после того, как финитный глагол, преобразуясь в инфинитив, отрывается от субъекта-подлежащего. Конструкция с личным глаголом (*бежит быстро, читает книгу*) условно может рассматриваться как словосочетание лишь постольку, поскольку она трансформируется в конструкцию с инфинитивом (*бежать быстро, читать книгу*).

Следует специально отметить, что вопрос об отношении приглагольных обстоятельства и дополнения к предикативной структуре предложения является одним из центральных вопросов синтаксиса и что в современной русистике предложены два альтернативных решения данного вопроса. Согласно одному решению (оно дано в «Гр. 70»), приглагольные зависимые члены — обстоятельство и дополнение — полностью исключены из предикативной структуры предложения и в большинстве своем помещены в глагольное словосочетание, а некоторые интерпретируются как «свободные распространители» цельной, законченной структуры предложения. Согласно противоположному решению (оно предложено автором этих строк), все разновидности приглагольного обстоятельства и дополнения являются обязательными элементами предикативной структуры ОТП<sup>7</sup>.

Таким образом, структура ОТП содержит три конститутивных члена: подлежащее — глагольное сказуемое — приглагольный зависимый

<sup>7</sup> Эта идея была впервые высказана автором в работе: «О функционально-структурных типах фразы в русской разговорной речи», сб. «Вопросы стилистики», 1, Саратов, 1962, стр. 121. Попытка решить ряд теоретических вопросов синтаксиса русского языка с учетом данной идеи была предпринята автором в работе «Простое предложение в современном русском языке».

член, последовательно располагающиеся на линейной (синтагматической) оси. Характерно, что третий член обладает одной особенностью, которой нет у первых двух, — он семантически и формально распадается на ряд компонентов, система которых образует парадигматическую ось предложения (ось «обстоятельство — дополнение»). Поэтому данный член требует к себе двойного подхода: с одной стороны, он может и должен рассматриваться как нечто целое, т. е. как приглагольный зависимый член вообще, а с другой — он может и должен исследоваться дифференцированно, т. е. в каждой отдельной своей разновидности, представляющей собою то или иное обстоятельство или дополнение. В структуре ОТП (данное положение надо особенно подчеркнуть) содержится вся парадигма заглагольного члена, иначе говоря, все разновидности приглагольного обстоятельства и дополнения. Однако в каждом отдельном двусоставном глагольном предложении не могут находиться все разновидности указанного члена, а только некоторые из них, обычно два — три (при четырех-пяти заглагольных компонентах линейная структура предложения испытывает напряжение, например: *Отец охотно читает сыну дома по вечерам сказки Пушкина*). Поэтому ОТП есть о б о б щ е н и е конкретных двусоставных глагольных предложений. Отношение между первым и вторым соответствует отношению диалектических категорий общего и отдельного. В. И. Ленин писал: «... противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д.»<sup>8</sup>.

Названные выше три члена структуры ОТП выполняют следующие семантические функции: подлежащее выражает грамматический субъект; глагольное сказуемое выражает грамматический предикат; приглагольный поликомпонентный член выражает опосредствованный атрибут в широком смысле — признаковый (*Мальчик читает выразительно*), обстоятельственный (*Мальчик читает вечером*), опредмеченный (*Мальчик читает книгу*)<sup>9</sup>.

Полемизируя с автором этих строк, Д. Н. Шмелев пишет: «Считать ..., что фразы *Ребенок спит крепко* и *Ребенок решает задачу* одинаково представляют „основной тип предложения“, — значит свести их рассмотрение к такой абстракции, которая не имеет уже почти никакой объяснительной силы»<sup>10</sup>. Данное положение не представляется обоснованным. Тот факт, что указанные предложения одинаково представляют ОТП<sup>11</sup>, отнюдь не отрицает возможности и необходимости разграничивать их в рамках ОТП как его разновидности, а следовательно, выявлять и учитывать различия между ними. Каждое из этих предложений не полно представляет ОТП. Более того, в структуру ОТП входят заглагольные компоненты, содержащиеся не только в данных двух предложениях, но и в целом ряде других — таких, как *Ребенок спит на диване*, *Ребенок спит днем*, *Ребенок спит рядом с матерью*, *Ребенок плачет из-за обиды*, *Ребенок рисует для*

<sup>8</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 318.

<sup>9</sup> Ср. толкование приглагольных зависимых членов (обстоятельства и дополнения) как атрибута в широком смысле в кн.: Г. В. Колчанский, Логика и структура языка, М., 1965, стр. 106—109.

<sup>10</sup> Д. Н. Шмелев, Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке, М., 1976, стр. 8.

<sup>11</sup> Кстати, традиционная грамматика относит указанные фразы к одному типу предложения — двусоставному глагольному.

выставки и т. д. При этом, как отмечено выше, все заглагольные компоненты, составляя в структуре ОТП единый парадигматический член предложения, сохраняют вместе с тем свою специфику — собственное значение и форму. Поэтому понятие об ОТП является очень емким и содержательным: это отнюдь не абстракция, не имеющая объяснительной силы, а конкретно-всеобщая основа, которая включает в себя все разновидности двусоставного глагольного предложения и которая служит базой для функционирования других (зависимых от нее) типов предложения. Тезис «Предложения *Ребенок спит крепко* и *Ребенок решает задачу* одинаково представляют ОТП» можно сравнить с тезисом «Интранзитивные и транзитивные глаголы одинаково представляют глагол как часть речи». И подобно тому, как второй тезис не дает основания для вывода о том, что понятие о глаголе (вообще) не имеет объяснительной силы, так и первый тезис не может служить основанием для аналогичного суждения относительно понятия об ОТП. Данное сравнение тем более уместно, что различие между заглагольными компонентами — разновидностями обстоятельства и дополнения — находится в определенной связи с семантико-грамматической дифференциацией глагольного предиката. Как правило, необходимо учитывать различие между приглагольными обстоятельством и дополнением, однако в ряде случаев, причем именно при решении кардинальных вопросов теоретического синтаксиса, вполне допустимо и даже необходимо рассматривать их как один член предложения. Объединение обстоятельства и дополнения в одном члене в принципе ничем не отличается от той общепринятой процедуры обобщения, в результате которой из разновидностей обстоятельства получается обстоятельство (вообще), а из разновидностей дополнения — дополнение (вообще). Различие между обстоятельством и дополнением выявляется прежде всего на уровне плана выражения и лексико-грамматических значений; причем чем дальше от грамматического значения и ближе к лексическому, тем на большее число компонентов они распадаются. Но тем самым они все больше утрачивают грамматическую (синтаксическую) специфику. Одним членом предложения они выступают на уровне глубинного (абстрактного) синтаксического содержания: обстоятельство и дополнение в конечном счете выражают опосредствованный (через глагол) атрибут в широком смысле, относящийся к предметному ядру предложения — субъекту-подлежащему. Особенно необходимо сводить заглагольные компоненты к системному дифференцированному единству при решении вопроса об их отношении к предикативной структуре предложения. Собственно говоря, именно здесь лежит центр проблемы: включение данных членов в основную инвариантную структуру предложения делает ее чрезвычайно богатой и конкретной<sup>12</sup>, а исключение, наоборот, дает нам «обрубок» предложения, который существенным образом искажает общую картину синтаксиса.

Опираясь на сказанное, можно выделить следующие важнейшие варианты ОТП: а) и с х о д н о е предложение — *Ученик читает книгу внимательно*; данный вариант содержит потенциальные глагольные словосочетания (*читать книгу*; *читать внимательно*); б) р а с п р о с т р а н е н н о е предложение — *Прилежный ученик читает книгу внимательно*; этот вариант содержит исходное предложение и атрибутивное словосочетание (*прилежный ученик*); в) с о к р а щ е н н о е предложение — *Ученик читает*; данный вариант состоит из структурного предикативного

<sup>12</sup> Термин «конкретное» здесь употреблен в том значении, которое ему придавал К. Маркс: «Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 12, стр. 727).

ядра предложения. Следует особо подчеркнуть то, что ядро не равно целому, что это только часть целого. Поэтому вариант *Ученик читает* ни в коем случае не представляет собой всего исходного предложения, а только его часть, хотя сокращенное предложение и может выступать в речи как семантически законченное высказывание (*Мальчик бежит*). Последнее объясняется, в частности, тем, что сокращенное предложение содержит два главных члена — предметное ядро (субъект-подлежащее) и конструктивное ядро (глагол-сказуемое). При этом фундаментальным законом русского языка является положение, согласно которому абсолютно к любому глаголу-сказуемому может быть присоединено в речи дополнение и/или обстоятельство.

III. Анализ показывает, что вследствие редукции, устранения грамматического предиката (признака), выраженного глагольным сказуемым, ОТП постепенно переходит в двусоставное именное предложение, причем глагольное сказуемое преобразуется в связку, а приглагольный «второстепенный» член (обстоятельство/дополнение) — в именной предикативный член. Можно выделить четыре ступени этого процесса, границы между которыми, естественно, являются нечеткими, — размытыми. Нулевая (скрытая) ступень — двусоставные глагольные предложения, в которых по тем или иным причинам (логический акцент на заглагольном члене, семантическая валентность или информационная недостаточность глагола-сказуемого и др.) происходит сдвиг в сторону более или менее явной обязательности заглагольного члена; в связи с этим обычные синтаксические конструкции приближаются к двусоставному именному предложению (*Он вернулся домой поздно, Он вздохнул об ушедшей поре, Он следовал за другом, Он командовал полком, Квартира состоит из двух комнат, Он смотрит вояком, Он вошел в пальто и в шляпе*). Первая ступень — двусоставные предложения, в которых связочную функцию выполняют знаменательные глаголы, обычно (регулярно) употребляемые в качестве самостоятельных сказуемых. Именной член таких предложений выступает в форме именительного или творительного предикативного (*Он уснул больной, а проснулся здоровый; Он ходит героем*). Вторая ступень — двусоставные именные предложения, глаголы которых являются полувещественными связками. Такие глаголы чаще употребляются как связочные, чем как знаменательные (*Булвар называется Липками, Он оказался обманщик, Он считается ученым, Он казался другом, Он является врачом, Он стал инженером*). Третья ступень — двусоставные именные предложения со связкой *быть* (*Ночь была светла, Небо прозрачно, Он будет учитель*). Своеобразным «побочным продуктом» этого процесса является эллиптическое предложение (типа *Книга — на столе; Татьяна — в лес, медведь — за ней*), которое образуется в том случае, когда глагольный предикативный признак и «базирующееся» на нем вещественное содержание редуцируются, но заглагольный член не становится явно предикативным, а сохраняет черты внешнего обстоятельства или косвенного дополнения. В этом случае синтаксическая деривация не приводит к преобразованию глагольного сказуемого в связку. На месте сказуемого возникает своеобразный нулевой глагол, выражающий не конкретное лексическое значение, как обычный глагол, а широкое семантическое содержание (идею существования, пребывания, нахождения, обнаружения, восприятия, движения и т. д.). Последнее возможно потому, что семантика подклассов глагола в известной мере определяется их дистрибуцией, в частности связью с заглагольным членом<sup>13</sup>. Одна из актуальных задач синтаксической науки — всестороннее исследование путей постепенного

<sup>13</sup> См.: А. А. Холодович, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, 1.

перехода, преобразования ОТП в двусоставное именованное предложение, в частности вопрос о том, как «ведут себя» в процессе данной деривации различные компоненты, лежащие на оси «обстоятельство — дополнение».

Анализ системных отношений в синтаксисе показывает, что односоставное глагольное предложение образуется из ОТП вследствие редукции (свертывания) грамматического субъекта, выраженного подлежащим. Грамматический субъект имеет следующие разновидности: первый личный субъект (*я — мы*), второй личный субъект (*ты — вы*), предметно-личный субъект (*он — человек*) и предметный субъект (*он — ветер*). Главной особенностью обобщенно-личного предложения является то, что в нем нейтрализуется различие между первым личным, вторым личным и предметно-личным субъектами. Например, в предложении *Слезами горю не поможешь* содержится личный субъект, но не индивидуальный, а обобщенный, т. е. такой, в котором элиминируется различие между разновидностями личного субъекта. *Слезами горю не поможешь* — это и *я*, и *ты*, и *он* (любой человек) *слезами горю не поможет*. Что касается неопределенно-личного предложения, то для него характерно то, что в нем скрытым образом содержится предметно-личный субъект (но не личный субъект вообще, как обычно считается), который утратил связь с субъектами, обозначающими говорящего и слушателя, в силу чего и стал неопределенным. Так, если предложение *Он (прохожий) стучит в окно* соотносится по категории лица с предложениями *Ты стучишь в окно* и *Я стучу в окно*, то неопределенно-личное предложение выпадает из этой корреляции: *Стучат в окно* — это *кто-то* (неопределенный предметно-личный субъект) *стучит в окно*. Следует подчеркнуть, что неопределенный характер получает именно грамматический субъект, т. е. элемент семантической структуры предложения (сигнификат), но отнюдь не реальное лицо, совершающее действие (денотат). Поэтому предложение *Газеты приносят по утрам* возможно и при том условии, что говорящий хорошо знает того, кто это делает.

Безличным предложением целесообразно называть конструкцию, в которой при финитной форме глагольного сказуемого (или глагольного компонента именованного сказуемого) отсутствует основная форма выражения грамматического субъекта — подлежащее (им. падеж существительного), а сам субъект либо представлен формой косвенного падежа, либо редуцирован полностью. Строчение безличного глагольного предложения в русском языке зависит прежде всего от того, какой субъект частично или полностью устранен из конструкции: личный (*я, ты, он — человек*) или предметный (*он — ветер*). Предложения типа *Ему не спится* характеризуются следующими тремя особенностями: а) в них содержится только косвенный личный субъект; б) этот субъект выражен формой дательного падежа; в) глагол-сказуемое имеет безличную форму, осложненную безличным аффиксом *-ся*. А предложения типа *Ветром сорвало крышу* характеризуются такими тремя особенностями: а) в них содержится только косвенный предметный субъект; б) этот субъект выражен формой творительного падежа; в) глагол-сказуемое имеет безличную форму, не осложненную безличным аффиксом *-ся*. Таким образом, русский язык располагает двумя глагольными безличными конструкциями, которые образуют оппозицию по косвенно выраженному грамматическому субъекту (личный — предметный). Они призваны отражать различные области внеязыковой действительности. Первая конструкция (*Ему не спится*) описывает состояние человека, скрыто вызванное им самим, но воздействующее на него как бы со стороны, помимо его воли. А вторая (*Ветром сорвало крышу*) описывает действие, скрыто вызванное предметом, представленным одновременно как его орудие.

Существенно, что личный субъект полностью не устраняется из глагольного предложения, он всегда присутствует — реально или потенциально (ср.: *думается, кажется, представляется, чудится и ему думается, ему кажется, ему представляется, ему чудится*). В отличие от этого предметный субъект может постепенно полностью устраняться из предложения, вследствие чего в языке образуются «конечные» безличные предложения типа *Светает, Знобит, Подмораживает*. Важно подчеркнуть, что в таких предложениях отсутствует не грамматический субъект вообще, как принято думать, но именно предметный субъект. Иногда он появляется здесь. Ср.: *Светает рано — День светает* (Крылов); *Чуть брезжило...* (Горький) — *На небе брезжит утренняя заря* (Чехов); *Уже вечерет — День вечерет...* (Тютчев); *Смерклось, подали свечи* (Лермонтов) — *Кругом все смерклось, все дрожит* (Пушкин); *Его стало знобить* (Достоевский) — *Ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава, знобили холодом* (М. Шолохов). Но личный субъект не употребляется в такого рода конструкциях; нельзя сказать: *Я светая, Ты светает, Иван светает*. Очевидно, безличное предложение типа *Светает* является конечным продуктом того же процесса синтаксической деривации, который вначале порождает конструкцию типа *Ветром сорвало крышу*.

В безличном предложении иногда стоит своеобразное местоимение *оно*, например: *Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь!* (Гоголь). К сожалению, этому факту уделялось мало внимания, между тем он помогает уяснить подлинную природу безличности и вообще имеет большую теоретическую ценность. Анализ данного факта (наряду с другими) показывает, что подлежащее и грамматический субъект не тождественны и соотносятся как форма и содержание, причем редукции подвергается непосредственно субъект, но не подлежащее. Поэтому возможно положение, когда содержание (субъект) устраняется, а форма (подлежащее) остается. Более того, такое положение должно быть признано как раз «нормальным», т. е. наиболее соответствующим самой сути рассматриваемого явления. Ясно, что в этом случае подлежащее делается бессодержательным — бессубъектным, т. е. чисто формальным. Таким подлежащим и становится, обезличиваясь, местоимение *оно*<sup>14</sup>. Из сказанного следует, что эксплицитная безличная конструкция имеет вид *Оно светает рано*, а что касается конструкции вида *Светает рано*, то она имплицитна. Последняя стала возможна в русском языке потому, что 1) отсутствие формального подлежащего не ведет к явной неполноте структуры, так как такое подлежащее не обозначает никакого субъекта, а сама безличность однозначно выражена формой глагола-сказуемого и положением структуры в синтаксической системе, и что 2) форма сказуемого безличного предложения четко отграничена от формы сказуемого ближайшего односоставного предложения — неопределенно-личного (ср.: *светает — пишут*).

Анализ системы языкового мышления показывает, что необходимо разграничивать подлежащее (им. падеж существительного), грамматический субъект и виртуальный (глубинный) логический субъект. Поскольку редуцируется грамматический субъект — элемент семантической структуры ОТП, а логический субъект никак при этом не затрагивается, то образование безличного предложения не нарушает исходную виртуальную структуру мысли (предмет — признак). Последняя по-прежнему остается

<sup>14</sup> В отличие от западноевропейских языков в русском языке безличное местоимение (*оно*) осталось в эмбриональном состоянии, не развилось и в речи встречается редко. Очевидно, поэтому его иногда не совсем правомерно относят к частицам. См.: А. Б. Шапиро, *Очерки по синтаксису русских народных говоров*, М., 1953, стр. 258, 259.

двучленной. При этом безличное предложение соотносится с виртуальным суждением только через посредство «породившего» его основного типа предложения — двусоставного глагольного. Между тем именно неразграничение грамматического и виртуального логического субъектов, а фактически — подстановка второго на место первого неизбежно приводили к тому, что в случае с безличным предложением возникает некая «брешь» в двучленной структуре виртуальной мысли. Чтобы ликвидировать эту «брешь», шли чаще всего двумя путями: а) либо постулировали специфическое одночленное бессубъектное суждение, выражающееся безличным предложением (оставалось, конечно, неясным, как связано такое суждение с исходным двучленным)<sup>15</sup>; б) либо заполняли образовавшуюся «брешь» экстралингвистической действительностью или всякого рода чувственными образами этой действительности (восприятие, представление)<sup>16</sup>. В последнем случае происходит экстраполяция особенностей взаимодействия суждения с внеязыковой действительностью, возможных лишь на уровне актуального членения высказывания на тему и рему, на уровень виртуальной мысли (абстрактные предмет — признак). Таким образом, безличное предложение, будучи внутриязыковым образованием, непосредственно не содержит виртуального логического субъекта. Оно соотносится с двучленной структурой виртуальной мысли только через основной тип предложения — двусоставное глагольное.

Как показывают эмпирический анализ и теоретическое осмысление языкового материала, процесс перехода ОТП в производные типы предложения — двусоставное именное и односоставное глагольное — характеризуется следующими особенностями: 1) он протекает сугубо постепенно, недискретно; 2) он рассредоточен на неопределенно большом множестве конкретных предложений; 3) он протекает на грамматическом уровне предложения и непосредственно не связан с лексической семантикой; 4) он распадается более или менее четко на отдельные ступени, представляющие собой синтаксические структуры, которые, будучи по самой своей сути переходными, промежуточными, сохраняют вместе с тем определенную самостоятельность, автономность. Наиболее яркой промежуточной структурой при переходе ОТП в двусоставное именное предложение является конструкция типа *Он пришел веселый*, а при переходе ОТП в односоставное (безличное) глагольное предложение — неопределенно-личное предложение (*В дверь стучат*). При этом выявляется фундаментальная закономерность, которая регулирует синтаксическую деривацию (производность) и обусловленные ею морфологические изменения глагола. В общем виде ее можно сформулировать так: степень преобразования основного типа предложения в производные типы — двусоставное именное и односоставное глагольное — обратно пропорциональна числу глаголов, на которые оказывает влияние это преобразование, и прямо пропорциональна степени изменения глаголов. Другими словами, чем больше «переделывается» ОТП в указанные производные типы предложения, тем меньшее число глаголов вовлекается в этот процесс, но тем значительнее они изменяются. Редукция грамматического предиката, выраженного глагольным сказуемым (которая приводит к образованию двусоставного именного предложения), начинается с неопределенно большого числа глаголов, а достигает своего апогея и закан-

<sup>15</sup> См., например: В. А. Кириллова, К вопросу о логической структуре односоставных предложений, сб. «Логико-грамматические очерки», М., 1961.

<sup>16</sup> См., например: В. В. Баайцева, О выражении в языке взаимодействия между чувственной и абстрактной ступенями познания действительности, сб. «Язык и мышление», М., 1967.

чивается на одном глаголе — *быть*. Аналогично этому, редукция грамматического субъекта, выраженного подлежащим (которая приводит к образованию односоставного глагольного предложения), начинается с неопределенно большого числа глаголов, а достигает своего апогея и заканчивается на нескольких глаголах — *смеркается, светает, знобит* и некот. др. Кстати, отметим, что этому закону подчиняются и такие синтаксические дериваты, как слова категории состояния: много наречных слов выступает в роли категории состояния, но только за единичными закреплена исключительно данная функция. Некоторые ученые полагали, что этот факт объясняется просто тем, что категория состояния еще окончательно не оформилась (в диахроническом плане) как часть речи и что поэтому в языке так мало слов, принадлежащих исключительно к этой категории. Между тем данный факт отражает общую закономерность, которой подчиняются все вторичные «части речи» (глагольная связка, безличные глаголы, категория состояния, а также, очевидно, модальные слова), а именно: чем лучше «выкристаллизовывается» в ходе синхронной грамматической деривации производная «часть речи», тем меньше лексических единиц (слов) она охватывает<sup>17</sup>.

Характерно, что преобразование ОТП представляет собой, по существу, сокращение (редукцию) как в случае перехода в двусоставное именное предложение (*Ночь темна*), так и в случае перехода в односоставное глагольное предложение (*Светает рано*). Но эти две редукции предложения качественно различны. В первом случае происходит как бы конденсация (уплотнение) предложения, прежде всего его синтаксического содержания, но суть его структуры и формы не только не нарушается, но даже лучше и четче выявляется. На уровне плана выражения предложение по-прежнему остается трехэлементным (подлежащее — связка — именной предикативный член), и отношение между ними имеет четко опосредствованный (транзитивный) характер, что является существенной чертой исходного предложения. Сохраняется также двусоставность, хотя и в измененном виде, поскольку состав глагольного сказуемого преобразуется в составное именное сказуемое. Между тем во втором случае происходит нарушение, «калечение» структуры предложения. Она становится «ущербной» — односоставной, поскольку устраненный элемент плана содержания (грамматический субъект) ничем и никак не восполняется. Таким образом, своеобразная избыточность в структуре ОТП устраняется двумя путями: один из них можно назвать прогрессивным, а другой — регрессивным. Прогрессивный путь — это путь дальнейшего «упорядочивания», самоорганизации структуры предложения. Он приводит к образованию двусоставного именного предложения. Регрессивный путь — это, наоборот, путь «искажения» грамматической структуры предложения. Он приводит к образованию безличного глагольного предложения. Эти два противоположных процесса создают динамическое равновесие синтаксической системы. Напряжение ОТП снимается благодаря тому, что его инвариантная структура опирается на два «спокойных» (нединамичных) производных типа предложения — двусоставное именное и односоставное глагольное. Из сказанного также следует, что эти два производных типа предложения являются объективно необходимыми и неизбежными коррелятивными вариантами основного типа — двусоставного глагольного.

<sup>17</sup> Интересно отметить, что в «Гр. 70» предложен удачный термин для наименования вторичных «частей речи» — они названы синтаксическими дериватами. Он удачен потому, что указанные категории слов действительно являются продуктом синтаксической деривации, о которой, однако, в «Гр. 70» ничего не говорится (ср. раздел морфологии, где употребляется данный термин, и раздел синтаксиса, где нет никакой деривации).

ПАЛМАЙТИС Л.

## АККУЗАТИВ И РОД

(Установление лингвистической универсалии в связи с проблемой индоевропейской тематизации и историей афразийских форм женского рода)

1.0. При исследовании генезиса показателей рода в языках разных семей обнаруживается зависимость наличия категории рода от наличия аккузатива. Возникновение категории рода оказывается морфологическим процессом, вызываемым совпадением в классе инертных имен формы падежа прямого объекта (аккузатива) с формой номинатива. Отсутствие такого совпадения в остальной части имен создает морфологическую оппозицию «сильного» и «слабого» родов (см. далее 2.1). Наблюдаемое развитие наводит на мысль об имплицативной зависимости между аккузативом и родом также и в синхронии. Действительно, исключая языки изолирующего типа и с неразвитой морфологией, в палеоазиатских, индейских, нахско-дагестанских, абхазо-адыгских, баскском, в картвельских, в шумерском, эламском, хатском, банту, в суданских, австронезийских, австралийских, папуасских, в средне- и новоиранских, в части новоиндоарийских, в современном английском (если не говорить о реликтах в местоимениях и пережиточном согласовании слова *ship* «корабль» с местоимением *she* «она» и пр.) нет категории рода и нет аккузатива, хотя в перечисленных языках может наблюдаться наличие очень богатой падежной системы (ср. 10 падежей в чукотском, 35 в цезском). В то же время имеется единый падеж для выражения прямого объекта, т. е. аккузатив, и имеется категория рода в балтийских языках, славянских (исключая современный болгарский), германских (исключая современный английский), анатолийских, греческом, санскрите, в древнеиранском, в аккадском древней ступени, древнеханаанском, аморейском, угаритском, арабском, гезз<sup>1</sup>. Как отсутствие рода и аккузатива, так и их наличие с диахронной точки зрения одинаково характерны и для древних, и для новых ступеней развития языков. Такое импликационное соотношение между родом и аккузативом не является, однако, вполне универсальным, поскольку для ряда языков на новой ступени развития может быть характерно наличие категории рода при отсутствии аккузатива, как например, в скандинавских, романских языках, в современном болгарском, албанском (если не говорить о следах аккузатива, в ряде случаев сохраненных местоименной системой; в албанском аккузатив не полностью парадигматизирован, различаясь лишь в определенном склонении, где его маркер не более чем аккузативная форма суффиксированного артикля), в тохарских (и здесь нет единой формы для аккузатива, поскольку она зависит от разумности объекта), в финикийском, древнееврейском, арамей-

<sup>1</sup> Также, например, в нилотских, если аккузатив в них является единственным падежом прямого объекта, а «рода» не следует считать классами. Ср.: J. A. Greenberg, *Languages of Africa*, Indiana University, 1963, стр. 112—113 — здесь речь идет о чари-нильских; что до суффиксов рода в готтентотском (стр. 69), то это скорее показатели классов (мужчин, женщин, вещей).

ском, берберо-ливийских, кушитских и чадских языках. Итак, можно сделать вывод, что категория рода имеется в языках, где представлен аккузатив (обратное неверно). Перечисленные факты показывают, что эта импликация имеет диахронный характер, а следовательно, и все малочисленные отклонения от нее должны объясняться определенными аномалиями языкового развития (например, в случае габара, где имеется аккузатив при отсутствии категории рода).

Вышеизложенному, на первый взгляд, противоречат данные трех языковых семей — уральской, дравидийской и алтайской, где нет категории рода, но есть форма для выражения прямого объекта. Однако если прямой объект не определен, он обозначается формой номинатива ( $N = A_1$ ), от которой форма аккузатива определенного объекта ( $A_2$ ) отличается добавлением специального маркера, являющегося по существу объектным артиклем (ср. подобные функции тохарского маркера *-m*, а также суффиксированный артикль албанского определенного склонения, хотя и представленный не только в аккузативе, тем не менее дифференцирующий последний от номинатива). Итак, категориально форма прямого объекта не находится в оппозиции к форме субъекта, поскольку последняя при определенных условиях также служит для выражения прямого объекта. Следовательно, в упомянутых языках аккузатив не является сложившейся морфологической категорией. Кроме того, также и форма аккузатива ( $A_2$ ), не совпадающая с номинативной, в уральском и дравидийском обнаруживает сходства с генитивной. Если в прибалтийско-финских языках совпадение форм генитива и аккузатива ( $A_2$ ) является следствием позднейшей нейтрализации показателей *-n* и *-m*, то в некоторых дравидийских языках показателем аккузатива ( $A_2$ ) является *-n*, совпадающий с показателем генитива, например, в гадаба *-(i)n*, в каннада *-na* (ср. интересную параллель в хеттском, где ген. *-n* совпадает с акк. *-n*). В диахроническом плане причиной столь распространенной слабости противопоставления формальных признаков генитива и аккузатива может быть их общее происхождение — например, из финальной носовой архифонемы, получавшей различную реализацию в зависимости от падежа. Эта мысль может быть подтверждена и одинаковой судьбой ген. *\*-n* и акк. *\*-m* в финно-угорском, где, помимо упомянутого их совпадения в прибалтийско-финских, «слабо или даже сомнительно представлен *\*-m* в угорских и пермских языках, т. е. как раз там, где ген. *-n* вообще не удалось обнаружить»<sup>2</sup>. Следовательно, при типологическом рассмотрении соотношения «род : аккузатив» уральские, дравидийские и алтайские языки надо относить к языкам, в которых не представлена ни категория рода, ни самостоятельная форма аккузатива. Подобно этому и в новоармянском языке аккузатив (при отсутствии рода) совпадает то с номинативом, то с дативом.

Итак, рассматриваемая универсалия может быть представлена в виде табл. на стр. 100.

2.0. Одним из вероятных объяснений возникновения подобной универсалии может быть морфологический процесс, при котором родовая дифференциация оказывается связанной с судьбой формы инертива («инактивно-го» падежа) или же абсолютива, являющейся основой для будущей формы аккузатива. Такое объяснение безусловно годится для индоевропейских и афразийских языков, хотя не следует исключать возможности и иных объяснений для языков других семей. Исходным для индоевропейского и афразийского следует признать не номинативный, а фиентивный («актив-

<sup>2</sup> «Основы финно-угорского языкознания», М., 1974, § 50, стр. 242.

ный») строй<sup>3</sup>. Для нижеследующего изложения прежде всего важно заметить, что как форма инертива, так и форма абсолютива принципиально тождественны чистой основе<sup>4</sup>. Кроме того, должно быть принято во внимание чередование *-C/-Ca* в консонантном исходе морфемы. В афразийском это чередование оказалось морфологизированным в  $\emptyset \parallel -a$ . Например, реконструкция инертива в виде чистой основы, имеющей иногда на конце *-a*<sup>5</sup>, может быть связана с фонологической нейтрализацией в постконсонантном исходе нулевой или *-a* морфем, т. е. с функционированием финального *-a* в качестве алломорфа и аллофона нулевого окончания. Этот закон окончательно сформулирован в 1972 г. И. М. Дьяконовым<sup>6</sup>, однако вскрыт еще раньше как в его работах, так и в работах И. Гельба<sup>7</sup>. Так, в различных семитских языках имя в неопределенном (предикативном) состоянии может оканчиваться на  $\emptyset$  или на *-a*. В древнеаккадских собственных именах выступает *-a* (*'ilī-danna*), у нарицательных имен обычен нулевой исход (*bēl, išten*), но в ряде категорических утверждений сохранен *-a* (*māhira lā iddinū šum*), что подтверждают и заимствования в шумерский тех времен, от которых еще нет аккадских памятников<sup>8</sup>. В аморейском же *-a* в нарицательных именах обязательно (*abda*). В этом отношении показательно и сопряженное состояние, например, в аккадском — с конечным  $\emptyset$  (*bēl ēkallim*), в аморейском — с конечным  $\emptyset$  (*mut Dagān*), в эфиопском — с конечным *-a* (*gannata tefšeht*). Кроме того, семитская нунация-мимация оканчивается на ноль в ед. и на *-a* во мн. числе<sup>9</sup>. Итак, на древнейших ступенях аккадского и в аморейском чистая основа на *-a* обозначает неопределенное состояние, на  $\emptyset$  — сопряженное. В общесемитском  $\emptyset$  маркирует ед. число мимации, *-a* — мн. число. Аналогичное, но неморфологизированное чередование *-C/-Ca* наблюдается в картвельском. «Эмфатический» *-a* грузинского и занского следует связывать с чередованиями в *čven/čvena, ar/ara*, что видно из анализа дативно-локативных (груз. *adgil-sa: adgilas*, зан. *xams: xširas*, сван. *xams: tūbas*) и трансформативных [груз. *čemda, Ierusalem(i)md: kalakad*, зан. *čkimda: čkimot*, сван. *tzumd: tzumad*] пар. Поскольку функции обеих падежей перекрещиваются<sup>10</sup>, те и другие пары отражают первоначальный падеж чистой основы с присоединенными к нему формантами *\*-s(a)*, *\*-d(a)*. Очевидно, что в синтагматической последовательности двух морфем с консонантным исходом одна

<sup>3</sup> О фиентивном характере общендоевропейского см.: Г. А. Климов, Типология языков активного строя, М., 1977 (далее — ТА), стр. 207—216; е г о ж е, Очерк общей теории эргативности, М., 1973 (далее — ОЭ), стр. 213, 231—232, 250, 254; относительно общеафразийского см.: ТА, стр. 242—245; И. М. Дьяконов, Семито-хамитские языки, М., 1965 (далее — СХЯ), стр. 16, 55; е г о ж е, Языки древней Передней Азии, М., 1967 (далее — ЯДПА), стр. 212, 213, 249—253.

<sup>4</sup> См.: ОЭ, стр. 114 и сл.

<sup>5</sup> Ср.: ЯДПА, стр. 213.

<sup>6</sup> И. М. Дьяконов, Проблема протоафразийской глагольной системы, «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря), Предварительные материалы», М., 1972, стр. 48.

<sup>7</sup> ЯДПА, стр. 212 и сл., 241 и сл., 244 (примеч. 122), 279 (примеч. 48), 337 (примеч. 22); I. J. Gelb, La lingua degli Amoriti, «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei», Ser. VIII, fasc. 13. 1958, стр. 143—164.

<sup>8</sup> Ср. ЯДПА, стр. 213 (примеч. 82).

<sup>9</sup> О том, что в формантах множественности *-ma/na* действительно представлена мимация-нунация, см., например, там же, стр. 217.

<sup>10</sup> — как перекрещиваются и функции падежей, содержащих формант *-i* ген *\*-is<sub>1</sub>* и инстр. *-it, -iv*; ср.: В. В. Топуриа, К системе склонения сванского языка в сравнении со склонением других картвельских языков, ИАН ОЛЯ, 1948, 1. Видимо, в пракартвельском существовала двухпадежная система, причем падеж чистой основы выражал функции инертива и фиентива, а падеж на *-i* (если его вообще можно считать падежной формой, а не сочетанием имени с релятивной частицей) выражал пространственные отношения. Относительно фиентивного характера общекартвельского ср.: ТА, стр. 216—230.

реализовалась как *-C*, другая — как *-Ca* вариант. Следовательно, первоначальный падеж чистой основы мог факультативно кончатся как на *-C*, так и на *-Ca*. Последнее отражено в грузинских и занских трансформативах без *-d* (*Tošeta, ʒočo*)<sup>11</sup>. Итак, в картвельском чередование *-C/-Ca* оказывается неморфологизированным, хотя имеется и тенденция к морфологизации: др.-груз. ген. *is(a)* : аллатив *-isa*, инстр. *-it(a)* : элатив *itθ*, дат. *adgil-s(a)* : нареч. *adgila-s*<sup>12</sup>. Реальная морфологизация имела бы место, если бы, например, все парадигматические дативы были только типа *adgil-s(a)*, а все наречия — только типа *adgila-s*, или же, если бы в одной части имен были возможны только дативы типа *adgil-s(a)* и трансформативы типа *Ierusalem-d, čem-da*, а в другой их части — только парадигматизированные дативы типа *adgila-s* и трансформативы типа *kalaka-d*. Последний случай означал бы тогда появление атематического (*adgil-s*) и тематического (*zira-s*) склонений. Это соображение наводит на мысль о возможности подобного пути возникновения тематизации в индоевропейском склонении, что одновременно свидетельствовало бы в пользу существования чередования *-C/-Ca* и в индоевропейском. Распространено мнение, что тематический гласный и.-е. *\*-o-* являлся словообразовательным формантом<sup>13</sup>. Но его возникновение могло быть и результатом морфологизации *-C/-Ca* → *∅* || *-a* при законе синтагматической сочетаемости корневой и суффиксальной морфем, аналогичном картвельскому<sup>14</sup>. Что касается качества тематического гласного, то, согласно Вяч. Вс. Иванову и Э. Пуллибланку, первичная и.-е. оппозиция *o* : *e* должна быть переинтерпретирована как оппозиция по подъему, т. е. *a* : *ə*, причем этот и.-е. *\*a* сохранен в балтийском, славянском (первоначально), германском и индоиранском<sup>15</sup>. Следом чередования *-C/-Ca* в индоевропейском могут быть хеттские и индоиранские дативы-локативы чистой основы с конечным *-a* или без него, например, хет. (*nepiši*), *nepiša*<sup>16</sup>, *nepiš, dagan, keššar-ta*, санскр. *svaṛ, ahaṛ, kaṭ*, авест. *hvarə, išarə, kaṭ, daṭ*. Очевидно, что в определенную эпоху общеиндоевропейского один вид дативов был представлен чистой основой, т. е. только начал выделяться из бывшей формы инертива<sup>17</sup>. Вариантами консонантного исхода этого падежа были *-C* и *-Ca*. В таком случае возникновение тематических основ объяснимо морфологизацией *a*-варианта, а

<sup>11</sup> Ср.: А. С. Чикобава, Сравнительно-исторические очерки картвельских языков, I: Об образовании, значении и истории направительного (трансформативного) падежа в грузинском языке, «Изв. ИЯИМК», 1936, 1, стр. 17—19.

<sup>12</sup> Подробно о картвельском см.: Л. Палмайтис, Эмфатический *-a* в связи с основными вопросами именной морфологии, «Изв. АН ГССР», ОЛЯ, 1978, 1 (на груз. яз.).

<sup>13</sup> Начиная с работы А. Мейс: A. Meillet, Caractère secondaire du type thématique indo-européen, BSL, 32 (1931), 2, стр. 194—203; словообразовательный характер тематического гласного предполагал еще К. Бругман (см.: «Grundriss», 1906; «Kurze vergleichende...», 1904, соответствующие главы).

<sup>14</sup> Как известно, в этом отношении картвельская модель вообще тождественна индоевропейской; см.: Т. Гамкрелидзе, Г. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965, ч. II, гл. 2 (4) (на груз. яз.), стр. 467—474 (на русск. яз.).

<sup>15</sup> Вяч. Вс. Иванов, Общиневропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965 (далее — ОПА), стр. 20—22.

<sup>16</sup> О том, что *-a* здесь не обобщен из *-ai* < и.-е. *\*-ōi*, как полагает, например, Э. Стеревант (см.: E. H. Sterevant, A Comparative Grammar of the Hittite Language, Yale University press, 1951, § 133 e, a), возможно, говорит как наличие *-a* в древнейших текстах (в более поздних — обычный *-i*), так и происхождение тематического датива не из и.-е. *\*-ōi*, а из претерпевшего удлинение окончание основы см.: V. Mazaulis, Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai, Vilnius, 1970 (далее — BS), § 67.

<sup>17</sup> BS, § 44; там же на стр. 148 предлагается и термин «датив-неэргатив»; о первоначальной падежной гомонимии форм чистой основы см.: J. Kurujłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 179 и сл.

атематических — морфологизацией нулевого варианта (ср. реликтовые аномалии литов. *sniegas* — лат. *nix*). Инертив консонантных основ, превращаясь в номинатив-аккузатив не-общего рода, в качестве варианта невокализованного исхода имел исход на *-a*. Таким же был первоначально аккузатив общего рода, где и сигматический показатель номинатива-генитива еще с фиентивных времен мог присоединяться к обоим вариантам чистой основы, например, фиент.  $*(p\delta d)a + s$  (ср. греч. ген.  $\rho\delta\delta\varsigma$ ) =  $*(p\delta d) + sa$  (ср. дорич.  $\rho\acute{\omega}\varsigma$ ), как картв.  $(adgil)a + s = (adgil) + sa$ . Закрепление за рядом основ форм номинатива-аккузатива, номинатива-генитива и формы генитива не-общего рода, транспонированной из номинатива-генитива общего рода, в которых присутствовал *\*a*, а за рядом других основ — форм без *\*a*, привело к установлению морфологической оппозиции тематического : атематического склонений<sup>18</sup>.

Разумеется, само чередование *-C/-Ca* в консонантном исходе морфемы не может представлять из себя никакой универсалии. Оно может явиться результатом закона открытых слогов (при структуре слова *CV, CVCV* или *CVCa*, где *a* — эквивалент *-V* в случае двухслогового корня с средним корневым гласным), а такой закон не является невозможным в праязыковых состояниях с неусложненной структурой слова.

2.1. Итак, образование форм аккузатива и родовых форм может быть представлено следующим образом. В системе фиентивной типологии употребление фиентива («активного» падежа) или инертива (статива, «инактивного» падежа) строго детерминировано семантикой имени. Фиентивные («активные») имена употребляются как в фиентиве, так и в инертиве, инертные («инактивные») имена — только в инертиве<sup>19</sup>. Фиентив (или позднее иногда — эргатив) является по существу падежом субъекта (эргатив как косвенный падеж в некоторых языках может обозначать и косвенный объект), инертив (или позднее иногда — абсолютив) может обозначать субъект состояния, однако в предложении фиентивной (или эргативной) структуры это единственный падеж прямого объекта. Поэтому в процессе номинативизации предшествующего строя новый падеж прямого объекта, т. е. аккузатив, может сформироваться не только на основе какого-либо косвенного падежа, как это имеет место в ряде языков, но и на основе формы инертива (или абсолютива)<sup>20</sup>. Поскольку последний, вместе с тем, является и падежом субъекта в классе бывших инертных имен, то в новой системе имен, унаследованных из этого класса, новый падеж субъекта номинатив также формируется на базе инертива (или абсолютива), а потому по форме совпадает с аккузативом. В то же время в именах, унаследованных из фиентивного класса, формы аккузатива и номинатива различны. Это создает предпосылки для морфологического разграничения тех и других имен, которое завершается возникновением соответствующего согласования с ними местоимений и глаголов. Так, на месте категории лексических классов с их обязательной семантической дефиницией возникает категория лексико-грамматических родов с их обязательной морфологической дефиницией. Обязательность прежней связи с семантикой нарушается, а следы такой связи сохраняются в виде реликтов некатегориального характера. Эти реликты обычно характерны для того нового морфологического класса-рода, который сформирован на базе бывшего класса инертных имен. В него, как правило, попадают, например, имена абстрактные и собирательные. При наличии в этом классе одинаковой формы для

<sup>18</sup> Специально об этом см.: Л е т а с П а л м а й т и с, Картвельские архаизмы и индоевропейская реконструкция, «Труды Тбилисс. ун-та», 202, 1979, стр. 166—181.

<sup>19</sup> ОЭ, стр. 216—225.

<sup>20</sup> Там же, стр. 192—193.

номинатива и аккузатива он воспринимается как грамматически дефектный, слабый, другой же класс, сформированный на базе имен фиеитивного класса и имеющий различающиеся формы номинатива и аккузатива, воспринимается как цельный-сильный. В индоевропейском «слабый» класс-род дает начало не-общему, а «сильный» класс-род — общему роду.

Поскольку в процессе образования номинативной системы прежняя исчезает не внезапно и неноминативная структура предложения продолжает в какой-то мере существовать, слова «сильного» рода, когда они употребляются для выражения объектов действия в фиеитивной (или эргативной) конструкции, по своей форме не отличаются от номинатива-аккузатива слов «слабого» рода [у последних такой номинатив-аккузатив есть форма инертива (или абсолютива) в прежней системе]. С другой стороны, бывшие инертные имена прежней системы, образующие теперь «слабый» род, когда они оформлены номинативом номинативной конструкции, согласуются с глаголом так же, как и оформленные номинативом слова «сильного» рода, отчего в конце концов и первые начинают употребляться в качестве субъектов при транзитивном глаголе и получать прямой объект<sup>21</sup>. Все это создает условия для контаминации «сильного» и «слабого» родов, в процессе которой часть основ из «слабого» рода переходит в «сильный» род, а часть основ из «сильного» рода — в «слабый» род, образуя с последним новый род — genus  $\Sigma$ , по терминологии автора<sup>22</sup>. В индоевропейском genus  $\Sigma$  сыграл роль промежуточного рода, так как часть его дала средний род, а часть при присоединении ларингального детерминанта — женский род, номинативная форма которого как обозначающая имена собирательные была использована для образования формы мн. числа номинатива-аккузатива среднего рода. В афразийском стадия контаминации «сильного» и «слабого» родов законсервирована в оппозиции «мужского» : «женского» (genus  $\Sigma$ ) родов — так семитский «женский» род соответствует индоевропейскому женскому и среднему родам (в него входят абстрактные имена и собирательные, мн. число «женского» рода может согласовываться с глаголом в ед. числе и т. п.).

2.2. Как упоминалось, процесс образования категории рода в индоевропейском шел параллельно процессу образования тематических и атематических именных основ. Последние принадлежали «слабому», т. е. не-общему роду, чем, вероятно, следует объяснять перевод части тематических имен этого рода (а вместе с ними и части таких же, т. е. тематических имен «сильного» рода) в атематический разряд (и новый род — genus  $\Sigma$ , который образовывали переводимые имена «сильного» рода с контаминируемыми ими именами «слабого» рода) посредством присоединения к тематическому \*-а ларингального детерминанта  $H_2$ , что создало базу для будущих  $\bar{a}$ -основ<sup>23</sup>. Такая связь -а $H_2$  основ с тематическими основами «сильного», т. е. общего рода повела к последующему выделению их из промежуточного рода genus  $\Sigma$  в женский род<sup>24</sup>. Вместе с ними из genus  $\Sigma$  в женский выделилась и часть атематических имен (например,  $i$ -основы), многие из которых также присоединили  $H_2$ . В период номинативизации фиеитивной структуры в силу действия старых синтаксических связей на основе формы

<sup>21</sup> На то, что это происходит не сразу, указывает интересный архаизм хеттского языка — тенденция избегать употребления формы номинатива-аккузатива не-общего рода для обозначения субъекта при транзитивном глаголе (ср.: ОПА, стр. 54).

<sup>22</sup> См.: L. P a l m a i t i s, Dar dël ide. fleksinës sistemose atsiradimo, «Baltistica», XI, 1975, 1.

<sup>23</sup> О связи  $\bar{a}$ -основ с тематическими см.: ВS, стр. 308.

<sup>24</sup> См.: L. P a l m a i t i s, Dar dël ide. fleksinës sistemose atsiradimo, стр. 34 (схема).

инертива/аккузатива фиентивных имен с энклизировавшимся \*-N<sup>25</sup> стали создаваться инертные имена. Поскольку фиентивные имена были тематическими, назальный формант оказался в номинативе-аккузативе именно тематических имен среднего рода (ни в консонантных, ни в основах на -i, -u его первоначально не было — ср. греч. γένος, хет. *huçaši*, прусс. *meddo*). Таким образом, не назализация была перенесена из общего рода в средний, а вся форма инертива/аккузатива фиентивных имен — ср. хет. *pedan*, санскр. *padam*, греч. πῆδον из инерт./акк. \*p'/o<sub>do</sub>N «место» ← «почва» ← «след» ← «ступня» ← «ногу» [ср. дорич. πῶς, ποδός, лат. *pēs, pedis*, ведич. *pāt* из фиент./ном. \*p'/o<sub>d</sub>(ó)s «нога»]. Конечно, впоследствии по этой модели в среднем роде стали создаваться и «неперенесенные» тематические имена.

Итак, налицо формальная связь между номинативом ā-основ женского рода и (номинативом-) аккумулятивом тематических имен, исторически содержащими один и тот же гласный \*-a, восходящий к факультативному варианту окончания формы чистой основы — инертива. Утрата -H<sub>2</sub> в формах номинатива женского рода с последующим сокращением -ā > -a в тех языках, где сохранен первичный, и.-е. \*a, означала совпадение этой формы с первичным -a номинатива-аккузатива среднего рода, т. е. возвращение к доисторическому окончанию инертива — ср. литов. ср. род *blōga* : жен. род *įda*.

2.3. Формирование прямого падежа не-общего рода на тематический гласный \*-a (традиц. \*-o) напоминает образование форм «женского» рода в афразийском, которое должно быть представлено в новом свете. Показателем «женского» рода в семитских языках до настоящего времени считается -(a)t<sup>26</sup>. И. Гельб, однако, высказал мысль, что первоначальным показателем был лишь -a, а -t — glide при присоединении падежных окончаний<sup>27</sup>. Эта мысль заслуживает особого внимания. Ведь афразийский инертив восстаивается в виде чистой основы или чистой основы с исходом на -a, который является исходным для формы аккумулятива<sup>28</sup>. Следовательно, и здесь при возникновении номинативной конструкции образовывался «слабый» род, в котором происшедшие от инертива номинатив и аккумулятив имели одинаковую форму в виде чистой основы, ставшую морфологическим признаком новой категории — рода. Но, в отличие от «слабого» рода в индоевропейском, этот признак заключался не в совпадении номинатива и аккумулятива, а в самой огласовке исхода чистой основы. Некоторое время слова «слабого» рода еще сохраняли особенность слов инертного класса, т. е. не могли употребляться в качестве субъектов при

<sup>25</sup> Этот \*-N связан с падежом объекта с древнейших времен, когда он являлся детерминантом, маркировавшим инертив фиентивных имен; ср. ОЭ, стр. 114, 115, 241; интересно, что подобную функцию он имеет во многих несходных языках, например, в уральских, дравидийских (см. выше 1.0), аранта; детерминирующий характер имеет и дейксическая по происхождению [СХЯ, стр. 75, 23 (25, примеч. 2)] афразийская мимация-нуация; см.: J. K u r y ł o w i c z, La mimation et l'article en arabe, АО, XVIII, 1950, 1/2; также и и.-е. акк. -m и -n отражают финальную назальную архаичную форму (см.: В. В. Иванов, Тохарские языки, М., 1959, стр. 24—25) — следы первичной функции и.-е. \*-N как маркера инертива фиентивных имен сохранились в тохарском показателе объекта разумных существ -m. Подробнее о назальном форманте и о его судьбе в уральском см.: Л. П а л м а й т и с, Опыт реконструкции общереальной (ностратической) морфологии в уральско-индоевропейско-афразийском аспекте, «Lingua Posnaniensis», XXI, 1978, стр. 9—24.

<sup>26</sup> S. M o s c a t i, A. S p i t a l e r, E. U l l e n d o r f f, W. v o n S o d e n, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages, Wiesbaden, 1964, § 12, 32.

<sup>27</sup> I. J. G e l b, Sequential reconstruction of Proto-Akkadian, Chicago, 1969, стр. 34.

<sup>28</sup> СХЯ, стр. 56; ЯДПА, стр. 213 (§ 7), 212 (§ 5).

транзитивном глаголе. Это тормозило распространение флексий номинативной системы, уже происходившее в «сильном» роде. При возникновении необходимости употребить слово «слабого» рода в качестве субъекта при транзитивном глаголе совпадавшая с аккузативом форма номинатива не использовалась во всех случаях, как в индоевропейском, но к ней, т. е. к чистой основе — признаку инертива-аккузатива присоединялась флексия (фиент. →) ном. *-u*. Произошло как бы двойное наращивание флексий, т. е. присоединение флексий новой системы к форме падежа прежней системы, начавшей уже характеризовать новый морфологический класс. Флексия генитивного (общекосвенного?) падежа *-i* могла присоединяться к чистой основе в более раннюю эпоху. Когда ном. *-u* не присоединялась к чистой основе, т. е. к образованной от инертива номинативно-аккузативной форме, и эта форма, подобно соответствующей индоевропейской, сама выступала в качестве номинативной, она оказалась исключенной из системы склонения, превратившись в неизменяемую (в случае *a*-варианта исхода консонантной основы). Ее отражением в арабском следует считать масдары типа *suknā*, а также некоторые прилагательные и суперлативы женского рода, как (*'al-*) *kubrā*, *sakrā*, *'ūlā*, в эфиопском, возможно, имена абстрактные и собирательные типа *gīzē*, *sarṣē*. В древнюю эпоху таких имен должно было быть больше. В геитиве эти имена чистой основы могли получить *-i*, который при наличии образца несклоняемых имен чистой основы абстрагировался на номинатив-аккузатив. Так возник еще один тип имен женского рода, отраженный: а) в случае *a*-варианта исхода консонантной основы — в древнееврейских и арамейских именах абстрактных и собирательных, масдарах и названиях животных типа др.-евр. *ḥōraī*, *gōbaī*, *'arbē*, *'ariē*, сир. *ten ai*, *'ohrē*; сюда же, возможно, следует отнести и суффикс женского рода *-ai* (существующий наряду с *-a*) в бедауйе, например, *dēmīai*; б) в случае неогласованного варианта консонантного исхода — в арабском типе *nafāri*, в эфиопских, древнееврейских, арамейских абстрактных именах, как эф. *qadamī-t*, др.-евр. *rē(')ši-t*, араб. *ma'modī-t* + *ā(')*, кроме того — в показателях женского рода в агаве (*gōrī*), в коптском (*šēfēri*).

В случае *a*-варианта исхода чистой основы «слабого» рода при присоединении к нему (т. е. к форме инертива → номинатива-аккузатива) падежных окончаний должен был возникнуть hiatus (ср. выше тип др.-евр. *gobaī* < \**gābai*). Для его предотвращения было два способа — фонетический и фонетико-морфологический. При первом использовался взрывной ларингальный, что отражено, например, в арабских формах прилагательных цвета и телесного недостатка, как *hamrā* + ' + *-u*, [*-i*] *-a*, *bakmā* + ' + флексии (в таком случае несклоняемый тип *kubra* является следом более архаичного состояния), в эфиопских абстрактных именах и масдарах типа *feškā*, *makarā*, в древнееврейских некоторых собственных именах, например, в топон. *īāpō(')*. При другом способе ликвидации hiatus использовался показатель инертности *-t*, поскольку семантически он «подходил» «слабому» роду<sup>29</sup> — араб. *madīna* + *t* + *-u*, *-i*, *-a*, после утраты падежных окончаний — др.-евр. *ṭabba'a-t*, status constructus *mādīna-t*, араб. status constructus *iggāra-t* — на то, что «атематическое» образование арамейского status emphaticus [*iggār-t* + *ā(')*] есть результат редукции, указывают такие примеры, как status emphaticus *hokmā-t* + *ā(')*. По той же причине является «атематическим» и аккадский status rectus женского рода, как, например, *bēl-t* + флексии. «Тематические» формы еще встречаются в староаккад-

<sup>29</sup> В предшествующей системе он являлся маркером инертива инертных имен, имевшим соответствие в формах статива (псевдо-партитива) — ср. аккад. 3-е л. ед. ч. жен. р. *parsat* < \**paris(a)* (см. ЯДПА, стр. 244) + *t*. Таким образом, функции этого афраз. *t* оказываются противоположными функциям и.-е. \*-N, маркировавшего инертив в именах фиентивного класса.

ском, например, *bēla-t* + флексии. Кроме того, случаи «тематического» образования имеют место и когда основа оканчивается на два различных консонанта: *malka-t* + флексии. Такую редукцию *a* можно предположить и в формах женского рода эфиопского (*tamar-t*, *garāh-t*), но более вероятно (поскольку наряду с ними существуют и «тематические» формы, как *ganna-t*, *ṭabiba-t*), что здесь представлен еще один вариант образования формы женского рода — формант *-t* в раннюю эпоху употреблялся не только для ликвидации хиата, но и непосредственно мог присоединяться к неогласованной форме чистой основы инертива → номинатива-аккузатива в тех случаях, когда эта форма под влиянием формы с обобщенным на все падежи исходом *a* имела тенденцию не склоняться. Поскольку в новой системе такие несклоняемые формы чистой основы без конечного *a* были невозможны (случай чистоосновного *status indeterminatus* принадлежит предшествующей системе), оставалось либо присоединять к основе показатель и инертности *-t*, который употреблялся при образовании другого типа форм женского рода (см. выше) и падежные окончания добавлять к этому *-t*, либо игнорировать формальную маркировку рода и присоединять падежные окончания прямо к основе по образцу «сильного» рода. В первом случае сложился упомянутый «атематический» тип женского рода — ср. др.-евр. *delet* < \**dal-t* + флексии, араб. *bin-t* + флексии, 'уḥ-*t* + флексии, вышеприведенные примеры из эфиопского языка, а также шильх *t-aggun-t* (здесь *t* дублируется префиксально), *ul-t*, тамашек *t-elu-t*, сомалийские артиклевые образования женского рода *nāg-ti*, *inān-ti*. Во втором случае сложились группы слов женского рода без показателя рода. например, аккад. *umt-* + флексии, др.-евр. 'ē $\bar{m}$ (*m*), араб. *atān-*, *šams-*, др.-евр. *šemeš*, аккад. *abn-*, др.-евр. 'ē $\bar{b}$ *en*, названия парных частей тела (аккад. *uzn-* и т. п.) и т. д.; в результате часть имен «слабого» рода перешла в «сильный» — ср. муж. род *šamš-* в аккадском и т. п.

Итак, результатом формирования женского рода обязательно являлось сочетание *-at-*, это формирование шло различными путями в каждом диалекте. Подтверждение тому и различия в роде одного и того же слова в различных языках, и наблюдаемое иногда изменение семантики корня в зависимости от наличия показателя рода (ср. араб. 'umt- «мать»: 'umma-*t*-«нация»). Иногда слова, оформленные одинаково по признаку рода, в разных языках принадлежат разным родам [аккад. *šamš-* мужского рода, а др.-евр. *šemeš* — женского, др.-евр. *rōmah*, араб. *rumh-* — мужского, а сир. *rumh* + ā(') — женского рода].

Возникновение категории рода наиболее отчетливо из всех вариантов форм иллюстрируется историей самого «популярного» варианта формы женского рода — варианта с сочетанием *at*. Анализ этого образования обнаруживает здесь застывшую форму инертива на *-a*, которая в период номинативизации предшествующего строя некоторое время не могла употребляться для обозначения субъекта при транзитивном глаголе и, совпав с формой падежа прямого объекта, образовала класс *a*-основ «слабого» рода. Формы женского рода без *a* (араб. 'уḥ-*t*, др.-евр. *delet*) отражают инертив чистой основы, не имевший *a*-варианта исхода. Позднейшее присоединение флексий номинативной системы к основам «слабого» рода в большинстве случаев происходило через показатель инертности *t*, который в образованиях с *a* был необходим для устранения хиата, а в образованиях без *a* — для формального отличия от слов «сильного» рода.

2.4. В генетически различных языках родовые формы с показателем *-a* могут иметь общие черты вследствие своего возникновения на основе формы инертива (или абсолютива) чистой основы с чередованием в исходе *-C-Ca*. Типологически интересно сходное развитие формального признака жен-

ского рода в индоевропейском и афразийском:

и.-е.  $(-C/)-Ca + *H_2 = -(C)aH_2 > -(C)\bar{a} > -(C)a$

афраз.  $(-C/)-Ca + t = -(C)at > -(C)ah > -(C)\bar{a} > (C)a$

3.0. Возникновение родов как морфологических классов имен возможно лишь тогда, когда при номинативизации более раннего строя наряду с двумя прежними падежами — фиентивным (или эргативным) субъекта и инертивным (или абсолютивным) субъекта-объекта — успевают образоваться два новых падежа субъекта и объекта (номинатив и аккузатив). Однако в переходную к номинативной эпоху логическая двойственность инертива (или абсолютива) создает условия для образования двух форм прямого объекта, из которой одна употребительна только в предложении номинативной, а другая — только фиентивной (или эргативной) структуры. В таком случае вторая будет выполнять и роль субъекта для всех имен в номинативном предложении, если фиентивная (или эргативная) конструкция будет сохраняться не стихийно, а закрепленной в определенных скривах<sup>30</sup>, например, в серии аористных скрив [ведь форма фиентива (или эргатива) будет тогда закрепляться там, где номинатив невозможен — ср. противоположную картину в индоевропейском — следовательно, для образования номинатива во всех случаях останется только один источник — прежний падеж субъекта состояния инертив (или абсолютив)]. При таком развитии не только не образуется новый морфологический класс имен, но и сам аккузатив оказывается недифференцируемым по отношению к номинативу. Поскольку такая форма номинатива станет обозначать также и объект в фиентивных (или эргативных) скривах, субъект же она станет обозначать лишь в одном случае, именно — в номинативных скривах, возникает необходимость специально выделить объект номинативных скрив. Функции падежа, выражающего такой объект, может принять на себя какой-нибудь из «нейтральных» падежей, в прежнюю эпоху являвшийся исключительно косвенным. Форма этого падежа может быть образована также на базе инертива (или абсолютива) с присоединенным к нему специальным формантом. При возникновении такой новой формы падежа прямого объекта в системе вообще не окажется аккузатива. К этому типу принадлежит, например, грузинский язык, где в аористных скривах объект выражается номинативом номинативных скрив, образованным на основе инертива (чистая основа) с присоединенным к нему в новейшую эпоху дейктико-детерминирующим формантом *-i*, в номинативных же скривах объект выражается дативом, образованным на основе того же инертива с присоединенным к нему в древнюю эпоху формантом *-s(a)*<sup>31</sup>.

При дальнейшей номинативизации грамматической системы такого типа, когда фиентивная (или эргативная) конструкция исчезает окончательно, система так и остается без особой формы аккузатива — последний совпадает с одним из косвенных падежей. Это имеет место в занском, где

<sup>30</sup> Термин «скрива» употребляется в этой статье вместо неточного традиционного термина «время» и, как и последний, обозначает глагольную категорию, совмещающую в себе понятия времени (настоящего, прошедшего, будущего) и склонения; эта глагольная категория соответствует именной категории падежа. Новый термин («ряд»), по-грузински *mčkriv-i* предложил А. Шанидзе в 1941 г. на ленинградской сессии Отделения литературы и языка АН СССР. Мотивация необходимости замены термина изложена в ст.: А. Г. Ш а н и д з е, Категория ряда в глаголе, «Иzv. ИЯИМК», X, 1941, стр. 209—229.

<sup>31</sup> О том, что как картвельский номинатив, так и датив-аккузатив надо возводить к единой форме фиентива-инертива (т. е. к чистой основе) см. в упомянутой статье автора «Эмфатический *a* в связи...».

Кван- тор	Условие действия	Явление	Исключения
1	Э специальная форма аккузатива для всех слу- чаев прямого объекта	Э категория рода	Грабар; те современные алтайские языки, в ко- торых из-за утраты обя- зательности противопо- ставления определенно- сти — неопределенности обобщена единая форма аккузатива (ср. 3.0)
	или: ТЭ категория рода	ТЭ специальная форма аккузатива для всех слу- чаев прямого объекта	

произошла нейтрализация оппозиции фиеитив : номинатив <sup>32</sup>, отдельная же форма аккузатива не сложилась, также в уральском, где форма «аккузатива», во многих языках недифференцируемая от генитивной, сначала употреблялась для выражения определенного прямого объекта, а неопределенный выражался чистоосновной формой «аккузатива», совпадавшей с номинативной (это явление сохранено в самодийском), подобно неопределенному объекту в алтайском и дравидийском. Итак, в таких языках не складываются условия для образования морфологического рода, чем и следует объяснять отсутствие последнего при отсутствии особой формы аккузатива.

3.1. При рассмотрении универсалии род — аккузатив вышеизложенное, разумеется, имеет доказательную ценность в пределах языков приведенных семей. Относительно других языков важным является сама констатация наличия в них рассматриваемой универсалии. Возможно, что и в них ее возникновение связано с теми же причинами, следует лишь раскрыть их фиеитивное (или эргативное) прошлое, поскольку процесс возникновения категории рода может быть связан с изменением всего языкового строя <sup>33</sup>. Эта категория не складывается тогда, когда в процессе номинативизации предшествующей структуры не успевает сложиться оппозиция номинатив : аккузатив. Это наблюдается, с одной стороны, например, в картвельском, где процесс номинативизации еще не вполне завершен, и, с другой стороны, в уральском, дравидийском и алтайском <sup>34</sup>. В обоих случаях имеет место двойное обозначение прямого объекта. Учитывая нейтрализацию фиеитива и номинатива в занском ареале картвельского и сравнивая это с отсутствием единой формы для аккузатива в уральском, дравидийском и алтайском, можно предположить, что картвельский тип отражает более раннее состояние в процессе перехода от фиеитивной (или эргативной) структуры к номинативной.

<sup>32</sup> Ср.: Г. А. Климов, К эргативной конструкции предложения в занском языке, «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 149—155; е г о ж е, Аномалии эргативности в лазском (чанском) языке, «Восточная филология», IV, 1976, Тбилиси, стр. 150 и сл.

<sup>33</sup> В прошлом языки фиеитивного и эргативного строя имели более широкое распространение, см.: ОЭ, стр. 250—251.

<sup>34</sup> Если эти языки, как предполагается в настоящей статье, имеют фиеитивное прошлое (ср. там же).

УЛУХАНОВ И. С.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Интенсивное изучение словообразования многих современных языков сделало возможным выяснение общих закономерностей организации словообразовательных систем конкретных языков, а в перспективе — и выяснение универсальных закономерностей словообразования. Словообразовательная система — это организованная совокупность связанных между собой различных подсистем. Одной из таких подсистем является подсистема словообразовательно мотивированных слов той или иной части речи, характеризующаяся специфической организацией. Эта организация обусловлена количеством и свойствами средств выражения словообразовательной семантики.

Словообразовательная подсистема каждой части речи в свою очередь состоит из более частных подсистем, выделяющихся в соответствии с частью речи мотивирующего слова. Так, словообразовательная подсистема русского глагола характеризуется отчетливой противопоставленностью отглагольных и неотглагольных глаголов, различающихся как количеством словообразовательных формантов, так и характером передаваемых ими значений.

Словообразовательные отношения между частями речи тесно связаны с характером словообразовательных значений. Как известно, последние делятся на модификационные, мутационные и транспозиционные<sup>1</sup>. Слова с модификационными словообразовательными значениями содержат в своем значении, помимо значения мотивирующего слова, дополнительный модифицирующий признак: *домик* «маленький дом», *превысокий* «очень высокий», *запеть* «начать петь». Слова с транспозиционными значениями тождественны во всех компонентах своего значения со значением мотивирующего слова за исключением значения части речи (*смелый* — *смелость*, *читать* — *чтение*). Наконец, слова с мутационными значениями означают субстанцию, признак, действие, отличные от того, что названо мотивирующим словом (*чай* — *чайник*, *белый* — *белеть*, *жир* — *жирный*).

Несмотря на то, что данное деление словообразовательных значений получило общее признание, ряд важных вопросов, связанных с этим делением, заслуживает дальнейшего изучения. Так, интересно было бы выяснить особенности организации каждой сферы значений, выявить семантические свойства формантов, служащих для выражения каждого из этих трех видов словообразовательных значений, показать особенности семантического взаимодействия формантов в пределах каждой сферы. Насколько нам известно, нет работ, где были бы указаны все сферы распространения данных значений в словообразовательных подсистемах разных частей речи, не показано, какие значения передаются разными видами словообразовательных пар (сущ. → сущ., глг. → глг., сущ. → глг.,

<sup>1</sup> См.: M. D o k u l i l, *Tvorení slov v češtině*, Praha, 1962, стр. 29—49.

глагол. → прилаг. и т. д.). Не описаны также семантические связи, существующие в пределах каждой из трех сфер значения между этими видами словообразовательных пар. В данной статье делается попытка лишь поставить эти проблемы и показать на отдельных примерах возможные пути дальнейшего систематического исследования каждой из сфер значений. Мы рассматриваем отношения трех частей речи (существительного, прилагательного и глагола) и опираемся на материал аффиксального словообразования (не касаясь проблемы перехода одной части речи в другую без изменения морфемного состава слов).

Словообразовательные значения рассматриваются в тесной связи с семантическими свойствами средств выражения этих значений — словообразовательных формантов, прежде всего с их семантической инвариантностью или неинвариантностью<sup>2</sup>. Это свойство формантов, с нашей точки зрения, является наиболее важным для характеристики семантической организации той или иной словообразовательной подсистемы.

Термин «инвариант» в лингвистической литературе обычно применяется для обозначения единицы языковой системы в отвлечении от конкретных реализаций этой единицы. Применительно к семантике и н в а р и а н т — это общее значение единицы в системе языка, выведенное из ее конкретных реализаций в тексте.

Семантически инвариантными можно назвать аффиксы, системное значение которых устанавливается путем сведения к семантическому инварианту их контекстных значений, т. е. значений, приходящихся на их долю в том или ином контексте. Так, инвариантное значение суффикса *-к(а)* в словах типа *кожанка* «кожаное пальто или куртка», *анисовка* «анисовая водка», *овсянка* «овсяная каша» выясняется путем сведения к более общему понятию («предмет») разновидностей этого понятия, представленных в конкретных словах («пальто, водка, каша» и т. д.). Проанализировав все слова с суффиксом *-к(а)*, мотивированные прилагательными, мы выясняем значение этого суффикса в системе языка: он указывает, что каждое слово, в котором он выступает, представляет собой название предмета, имеющего отношение к тому, что названо мотивирующим прилагательным.

Аналогичным путем выясняется, например, значение таких глагольных суффиксов, как *-и(ть)*, *-ова(ть)/-ирова(ть)/-изирова(ть)/-изова(ть)*. Они указывают, что глагол означает действие, имеющее какое-либо отношение к мотивирующему имени. Характер этого отношения конкретизирован в контексте, например, «действовать с помощью чего-н.» (*мотыжить*), «покрывать чем-н.» (*воцить*) и т. д.

Семантически неинвариантными аффиксами можно назвать аффиксы, системное значение которых тождественно их контекстному значению. Например, у всех глаголов с суффиксом *-е-* имеется компонент «становиться (каким-нибудь или кем-нибудь)»: *прочнеть*, *сиротеть*. Это значение и является значением суффикса *-е-* в системе языка. Для выяснения значения этого суффикса не было необходимости в лексической абстракции, с помощью которой мы установили значение суффиксов *-к(а)* или *-и(ть)*, *-ова(ть)*.

**Модификационные словообразовательные значения.** Модификационные словообразовательные значения, как ясно из их определения, могут существовать только в таких словообразовательных парах, оба члена которых относятся к одной и той же части речи. Модификационные словообразовательные значения свойственны отглагольным глаголам, отадебк-

<sup>2</sup> Подробнее см.: И. С. У л у х а н о в, Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания, М., 1977, стр. 85—96.

тивными прилагательным и отсубстантивным существительным. Специфика последних состоит в том, что модификационные значения охватывают лишь их часть, в то время как другая часть имеет мутационные значения (см. ниже). Отглагольные глаголы и отадективные прилагательные имеют только модификационные словообразовательные значения.

Словообразовательные форманты отглагольных глаголов выражают: 1) направление действия в пространстве (*ойти*), 2) степень интенсивности действия (*поднаживать*), 3) наличие (а также приобретение или уничтожение) объектов или субъектов действия в некотором количестве (*переглодать*), 4) отношение субъекта и объекта к действию (*мыться*), 5) характер совершения действия во времени (*загреть*), 6) доведение до какого-либо состояния (*угонять, доработаться*). Ряд формантов играет только видообразующую роль. Словообразовательные форманты отадективных прилагательных выражают, как правило, лишь степень признака (*превысокий, беловатый*); лишь некоторые суффиксы, представленные в семантически изолированных прилагательных, выражают другие отношения к признаку (ср. *черный — чернявый, гордый — горделивый* и некот. др.<sup>3</sup>). Модификационные форманты отсубстантивных существительных выражают значение женского пола, невзрослость, собирательность, единичность, субъективную оценку, а также могут служить лишь целям стилистической модификации. Все форманты с модификационными значениями характеризуются семантической инвариантностью.

**Мутационные словообразовательные значения.** Сфера мутационных словообразовательных значений распространяется на часть отсубстантивных существительных, на все мотивированные отадективные глаголы и отглагольные прилагательные, а также на значительную часть отглагольных и отадективных существительных и отсубстантивных глаголов и прилагательных. Мутационные значения всех частей речи, в отличие от модификационных значений, выражаются не только с помощью инвариантных формантов, но и с помощью формантов инвариантных. Более того — инвариантные форманты составляют центр этих подсистем: они охватывают основную массу слов и многие из них характеризуются высокой продуктивностью. К числу таких формантов относятся прежде всего суффиксы *-ник, -щик, -тель, -ец, -к(а)* у существительных, *-н(ый), -ск(ий), -ов(ый)* у прилагательных, *-и(ть), -ова(ть)/-ирова(ть)/-изирова(ть)/-изовать, -нича(ть)* и *-ствова(ть)* у глаголов.

Рассмотрим виды мутационных словообразовательных значений. В подсистеме мутационных словообразовательных значений каждой части речи имеются инвариантные значения, указывающие лишь на принадлежность слов к названиям субстанций (у существительных), неопредмеченных признаков (у прилагательных), неопредмеченных действий (у глаголов), а также на то, что данная субстанция (признак, действие) имеет отношение к мотивирующему слову (без конкретизации характера отношения). Все эти значения выражены с помощью словообразовательных формантов, а не выделяются априорно. Таких значений семь.

Три части речи связаны попарно шестью мутационными категориальными словообразовательными значениями, например, «субстанция, имеющая отношение к действию» [выражено с помощью суффикса *-к(а), -ец, -ак* и др.], «признак, имеющий отношение к субстанции» [выражено с помощью суффиксов *-н(ый), -ск(ий), -ов(ый), -ан(ый)*] и т. п. Кроме того, мутационные значения выражены в паре сущ. → сущ.

<sup>3</sup> См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 208, 209.

Все эти инвариантные значения, свойственные словообразовательной системе, в конкретных словах представлены различными реализациями — контекстными значениями аффикса. Некоторые значения одновременно могут быть реально представлены в конкретных словах, ср. *лесной* «признак, имеющий отношение к лесу» (ср. *лесной дом*, *лесная проблема*).

Помимо указанных семи значений, в подсистемах мутационных словообразовательных значений имеются более узкие, но также инвариантные словообразовательные значения. У этих значений конкретизирован либо вид субстанции (действия), либо характер отношения к тому, что названо мотивирующим словом. К таким более узким инвариантным словообразовательным значениям относится, например, значение «субстанция — производитель действия», выраженное с помощью многочисленных суффиксов существительных: *-тель*, *-ник*, *-щик*, *-ач*, *-ун*, *-атор*, *-ор*, *-ант/-ент*, *-лк(а)*, *-ловк(а)*, *-л*, *-ниц(а)*. В этом значении конкретизирован характер отношения мотивирующего слова к мотивируемому, но не конкретизирована разновидность субстанции. Конкретизация субстанции имеет место, например, у тех суффиксов, которые выступают только в названиях лица (*-щик* в отсубстантивных или отадективных существительных) или только в названиях неодушевленного предмета, места и т. п. Конкретизацию действия мы видим у глаголов с суффиксами *-нич(ть)* или *-ствова(ть)*, которые означают только «занятия или поступки». Наконец, у многих мутационных аффиксов сужены и не варьируются все компоненты значения. Эти аффиксы являются неинвариантными, например, многочисленные аффиксы отглагольных существительных со значением «лицо — производитель действия»: *-льщик*, *-арь*, *-аг(а)*, *-ак(а)*, *-х(а)*, *-ох(а)*, *-ул(я)*, *-ей*.

Как видим, мутационные подсистемы значений характеризуются сложной иерархической организацией и разнообразием семантических свойств формантов. Это обуславливает разнообразные процессы взаимодействия между формантами (см. об этом стр. 106, 107).

**Транспозиционные значения.** Транспозицией в словообразовании обычно считается образование отглагольных имен действия и отадективных названий качества (*читать* — *чтение*, *белый* — *белизна*)<sup>4</sup>. В этих парах существительное приобретает значение, категориально свойственное другой части речи (глаголу или прилагательному). Этот вид отношений мы назовем прямой транспозицией. Однако транспозицию (в указанном выше смысле) можно усматривать и в тех словообразовательных парах, где мотивирующими служат названия действий и качеств, а мотивируемыми — соответственно глаголы или прилагательные (*аврал* — *авралить*, *ремонт* — *ремонтировать*; *невежество* — *невежественный*). Этот вид отношений назовем обратной транспозицией.

Прямая транспозиция в русском языке осуществляется с помощью небольшого количества формантов (по сравнению с модификационными и мутационными); все эти форманты неинвариантны. Транспозиционные значения выражаются только суффиксами (*-ниж-*, *-ств-*, *-от-*, *-изн-*), в том числе и нулевым (*бежать* — *бег*, *синий* — *синь*). Обратная транспозиция — это словообразовательные отношения сущ. (имя действия) → глагол и сущ. (название признака) → прилагательное.

В некоторых работах по словообразованию обратная транспозиция сущ. → глагол не выделяется, поскольку все *nomina actionis* рассматриваются как мотивированные глаголами. Однако, как кажется, вопрос о

<sup>4</sup> См.: М. Докулл, указ. соч., стр. 43—46; кроме этих двух типов, М. Докулл выделяет также транспозицию определения признака в признак как таковой: *stateňň (žit)* — *stateňny (život)*, где чаще всего имеет место отношение наречие → прилагательное; это отношение в данной статье не рассматривается.

направлении мотивации в парах *nomens actionis* — глагол должен решаться дифференцированно, с учетом лексико-стилистических и формально-семантических свойств обоих слов, их места в словообразовательной системе. Проведенное исследование показало, что имеется достаточно оснований для того, чтобы во многих парах *nomens actionis* — глагол считать мотивирующим существительное, а мотивированным — глагол, например, *дриблинг* — *дриблинговать*, *выкрутасы* — *оказ. выкрутасничать*, *рикошет* — *рикошетировать*, *фокус* — *фокусничать*, *салют* — *салютовать*<sup>5</sup>.

Прилагательные образуются от существительных со значением качества только с помощью двух алломорфов: *-н-* и *-енн-*, например, *невежество* — *невежественный*, *мужество* — *мужественный*, *могущество* — *могущественный*, *ярость* — *яростный*, *прелесть* — *прелестный*, *доблесть* — *доблестный*.

Обратная транспозиция в «чистом виде» обычно имеет место в тех случаях, когда мотивирующее имя существительное не мотивировано глаголом или прилагательным. В противном случае образование глагола от имени действия или прилагательного от существительного со значением абстрактного качества нередко сопровождается приобретением дополнительных семантических компонентов: ср. *саботировать* — *саботаж* — *саботажничать*, *монтировать* — *монтаж* — *монтажничать*, где глаголы на *-ничать*, в отличие от исходных *саботировать*, *монтировать*, содержат компонент «заниматься чем-н.» и не указывают на наличие объекта действия; ср. также *влажный* — *влажность* — *влажностный*, где *влажностный*, в отличие от *влажный*, употребляется в специальных стилях и означает «характеризующийся определенной влажностью» (*влажностный режим*, *влажностная характеристика*, но не \**влажный режим* или \**влажная характеристика*).

Рассмотрим семантические отношения членов пар в случаях прямой и обратной транспозиций. Эти члены означают действие или признак, связанные с субъектом (у глаголов и прилагательных) или независимые от субъекта (у существительных). Однако в случае прямой транспозиции независимые от субъекта действия и признаки, выраженные существительными, представлены средствами языка как вторичные, выводимые из действий и признаков, связанных с субъектом и выраженных соответственно глаголом и прилагательным. Существительные в этом случае толкуются через глаголы или прилагательные (*переписывание* «действие по глаголу *переписывать*»; *смелость* «качество смелого»). В случае обратной транспозиции, наоборот, связанные с субъектом действия и признаки, выраженные глаголом и прилагательным, представлены средствами языка как вторичные, выводимые из независимых действий и признаков, не связанных с субъектом и выраженных существительным. Глаголы и прилагательные в этом случае толкуются через существительные: *синтезировать* «осуществлять *синтез* чего-л.», *мужественный* «обладающий *мужеством*». Такое различие в семантических отношениях обусловлено структурой членов пар: наличием у одного из них словообразовательного форманта, отсутствующего у другого. Даже в парах, близких друг к другу по лексическому значению, могут быть такие разнонаправленные отношения — прямая транспозиция в одной паре и обратная в другой: *атака* — *атаковать*, но *нападать* — *нападение*; *увольнять* — *увольнение*, но *локаут* — *локаутировать*; *невежество* — *невежественный*, но *глупый* — *глупость*; *мужество* — *мужественный*, но *смелый* — *смелость* и мн. др.

<sup>5</sup> См.: И. С. У д у х а н о в, Отношение мотивации между глаголом и существительным со значением действия, ВЯ, 1975, 4.

С точки зрения сравнительного словообразования интересно отметить, что такие разнонаправленные отношения могут существовать в словообразовательных парах, состоящих из семантических эквивалентов, относящихся к разным языкам, ср. русск. *низвергать* → *низвержение*, но нем. *Sturz* → *stürzen*; русск. *насмехаться* → *насмешка*, но нем. *der Spott* → *→ verspotten*, *der Hohn* → *verhönen*; русск. *намереваться* → *намерение*, но нем. *Absicht* → *beabsichtigen* (правда, здесь есть синонимы с теми же словообразовательными отношениями, что и в русском: *vorhaben* → *→ das Vorhaben*); русск. *опасный* → *опасность*, но нем. *Gefahr* → *gefährlich* (в немецком есть и название качества второй степени: *Gefährlichkeit*, мотивированное прилагательным) и т. п.

Соотношение между тремя видами словообразовательных значений, с одной стороны, и девятью видами словообразовательных пар, с другой, суммировано на таблице. В клетках таблицы помещены примеры конкретных пар, у которых мотивированному слову свойствен тот или иной вид словообразовательных значений. Отсутствие примеров (прочерк) означает, что в данном виде словообразовательных пар данное словообразовательное значение не выражается.

О некоторых парадигматических связях между аффиксами и между видами словообразовательных пар. Для системного описания словообразования важно выявить те участки словообразовательной системы, для которых характерны наиболее тесные парадигматические связи между единицами словообразования. Вместе с тем, полезно указать и более отдаленные, не очевидные связи.

1. Наиболее тесные парадигматические связи между словообразовательными формантами (а также между словообразовательными типами) существуют на тех участках словообразовательной системы, которые соответствуют заполненным клеткам таблицы, т. е. между формантами, свойственными одному и тому же виду словообразовательных пар и передающими один и тот же вид словообразовательных значений.

При этом разные виды словообразовательных значений характеризуются важными особенностями парадигматических связей между формантами.

Для семантических парадигматических связей между словообразовательными формантами в пределах модификационных и транспозиционных значений характерна прежде всего синонимия, ср. суффиксы существительных с уменьшительными значениями, со значениями действия, абстрактного свойства и т. д. Почти не изучены другие виды связей формантов в пределах данных сфер значений: антонимия (ср. *пере-* — *недо-* и др.), частичная общность компонентов значения (ср. префиксы *за-* и *вз-*, означающие начало действия, но у *вз-* еще имеется значение интенсивности, например, *взволноваться* и *заволноваться*).

Гораздо более сложный и разнообразный характер имеют семантические связи мутационных словообразовательных аффиксов, поскольку среди них широко представлены не только инвариантные, но и инвариантные аффиксы. Здесь также имеет место синонимия — как среди инвариантных (ср. хотя бы *-е-* и *-ну-*: *прочнеть* и *слепнуть*), так и среди инвариантных аффиксов. Однако синонимичные инвариантные аффиксы могут не только совпадать, но и различаться в своих контекстных значениях. Например, суффиксы *-н-*, *-ов-* и *-ск-* имеют одно и то же инвариантное значение: все они указывают на признак, имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим словом. Однако есть такие отношения (например, «лицо — принадлежащий этому лицу»), которые могут быть переданы с помощью суффикса *-ск-* (ср. *отцовский костюм*), но не с помощью суффикса *-н-*.

Виды словообразовательных значений	Виды словообразовательных пар			
	1 глагол → глагол	2 прил. → прил.	3 сущ. → сущ.	4 глагол. → сущ.
Модификация	<i>кричать</i> → <i>закричать</i>	<i>высокий</i> → <i>превысокий</i>	<i>дом</i> → <i>домик</i>	—
Мутация	—	—	<i>печь</i> → <i>печник</i>	<i>читать</i> → <i>читатель</i>
Транспозиция	прямая	—	—	<i>читать</i> → <i>чтение</i>
	обратная	—	—	—

Виды словообразовательных значений	Виды словообразовательных пар				
	5 прил. → сущ.	6 сущ. → прил.	7 глагол. → прил.	8 сущ. → глагол.	9 прил. → глагол.
Модификация	—	—	—	—	—
Мутация	<i>храбрый</i> → <i>храбрец</i>	<i>лес</i> → <i>лесной</i>	<i>ломать</i> → <i>ломкий</i>	<i>смола</i> → <i>смолить</i>	<i>хитрый</i> → <i>хитрить</i>
Транспозиция	прямая	<i>храбрый</i> → <i>храбрость</i>	—	—	—
	обратная	—	<i>мужество</i> → <i>мужественный</i>	—	<i>фокус</i> → <i>фокусничать</i>

Лишь для мутационных формантов характерно явление, которое мы называем частичной синонимией формантов. Оно охватывает два круга явлений: а) контекстные значения одного инвариантного аффикса составляют часть контекстных значений другого, например, контекстные значения суффикса *-щик* в отсубстантивных существительных (общее значение — «лицо, имеющее отношение к субстанции») составляют часть контекстных значений суффикса *-ник* (общее значение — «субстанция, имеющая отношение к субстанции»); б) значение неинвариантного аффикса совпадает с одним из контекстных значений инвариантного аффикса (ср. значение «предназначенный для совершения действия» у типа с неинвариантным суффиксом *-льн-*, являющееся одним из контекстных значений суффиксов *-н-* и *-ов-*). Возможны и соединения обоих этих типов отношений; так, значение «лицо — производитель действия», выраженное неинвариантными суффиксами (*-льщик*, *-лец* и др.), является одним из контекстных значений инвариантных суффиксов *-тель* («субстанция — производитель действия») и *-ец* («субстанция, имеющая отношение к действию»), которые в свою очередь связаны частичной синонимией.

В то же время имеются такие значения неинвариантных аффиксов, которые не совпадают ни с одним из контекстных значений инвариантного аффикса. Например, значение «лицо, являющееся сыном того, кто назван мотивирующим словом» (*Фомич*) не выражается ни одним из инвариантных суффиксов. В системе мутационных глаголов вообще нет неинва-

риантных словообразовательных аффиксов, значение которых совпадало бы с одним из контекстных значений инвариантных аффиксов, ср. значение приобретения признака (*прочнеть*), свойственное неинвариантному суффиксу *-е-*, которое не выражается ни одним из инвариантных аффиксов.

2. Помимо рассмотренных отношений между словообразовательными формантами, т. е. отношений в пределах одной клетки таблицы, представляют интерес отношения между разными видами словообразовательных пар (т. е., например, отношения между парами сущ. → глаг. и прил. → глаг.; прил. → глаг. и глаг. → прил.). Эти отношения имеют различные проявления, которые и будут рассмотрены.

а) Словообразовательные отношения одной и той же части речи с двумя или тремя частями речи могут передаваться с помощью одного и того же аффикса, выступающего в одном и том же значении; ср. отношения в парах прил. → глаг. и сущ. → глаг., передаваемые с помощью суффикса *-е-*, который означает становление признака, причем в паре прил. → глаг. это признак, выраженный мотивирующим прилагательным (*прочный — прочнеть*), а в паре сущ. → глаг. это признак, свойственный тому, кто (что) назван(о) мотивирующим существительным (*сирота — сиротеть*).

Сравнение словообразовательных подсистем слов одной и той же части речи, мотивированных словами разных частей речи, должно вскрыть многие словообразовательные типы и подтипы с общей формантной частью и различающиеся лишь частеречным значением мотивирующего слова. Более того, в ряде случаев все значения, выраженные в пределах одного вида пар, находят такое соответствие в другом виде. Таковы отношения в парах прил. → глаг., где, помимо указанного выше отношения «признак → приобретение признака», выражается (с помощью инвариантных суффиксов) ряд других отношений, имеющих соответствие в парах сущ. → глаг., ср. «наделять признаком» — «чем-л.» — «признаком кого-чего-л.» (*веселить — финансировать — калечить*), «совершать действия, свойственные какому-л. — кому-л.»: *глупить — фиглярничать*.

Последовательный параллелизм можно отметить в словообразовательных значениях отсубстантивных и отадективных прилагательных, если последние семантически мотивируются комплексным наименованием, в состав которого входит прилагательное; ср. *баянист* «лицо, умеющее играть на баяне» и *духовик* «лицо, умеющее играть на духовых инструментах», *физик* «специалист по физике» и *атомник* «специалист по атомной физике» и т. п.

Такой параллелизм в семантической организации разных подсистем одной и той же части речи свойствен только мутационным значениям.

б) Этот параллелизм проявляется также в тех случаях, когда одно и то же слово непосредственно мотивировано словами разных частей речи, т. е. относится одновременно к разным видам словообразовательных пар, ср. *упрямствовать* «вести себя как упрямый человек» и «проявлять упрямство», *потеть* «покрываться потом» и «становиться потным» и мн. др. Все эти случаи также должны быть подвергнуты систематическому изучению.

в) Особая близость словообразовательных значений у слов, мотивированных разными частями речи, имеет место в том случае, когда мотивирующие принадлежат к категориям, связанным транспозиционными отношениями. Так существительные *симулянт* и *диверсант* или *заступник* и *рукодельник* относятся к *nomina agentis*, несмотря на то, что *симулянт* и *заступник* мотивированы глаголами (*симулировать, заступаться*), а *диверсант* и *рукодельник* — существительными (*диверсия, рукоделие*) —

подобно тому, как относятся к *nomina agentis* слова типа *наладчик*, одновременно мотивированные глаголом (*наладить*) и существительным (*наладка*); ср. также *читальный* (*читать*) и *монтажный* (*монтаж*) в значении «предназначенный для выполнения действия, названного мотивирующим словом», *токовище* (*токовать*) и *пастбище* (*пастьба*) в значении «место, где производится действие» и мн. др.

г) Разные виды словообразовательных пар, наряду с близкими или тождественными словообразовательными отношениями, могут выражать отношения, которые мы назовем разнонаправленными. Разнонаправленные отношения в транспозиционной сфере значений были рассмотрены выше. Это прямая и обратная транспозиция (см. стр. 104).

Совершенно не изученными остаются разнонаправленные отношения в мутационной сфере. Достаточно, однако, проанализировать наиболее распространенные мутационные словообразовательные значения, чтобы обнаружить, что многие из них связаны отношениями разнонаправленности. Они имеются в сфере отношений всех частей речи.

Существительное — прилагательное. Слова со значением «признак» и «лицо» могут быть связаны следующими словообразовательными значениями: «признак» → «лицо, которому присущ данный признак» и «лицо» → «признак, присущий данному лицу» (ср. *наглый* — *наглец*, но *нахал* — *нахальный*, *трус* — *трусливый*).

Прилагательное — глагол. В парах типа *красный* — *краснеть*, с одной стороны, и *спеть* — *спелый*, *зреть* — *зрелый*, *гнить* — *гнилой*, с другой, представлены разнонаправленные отношения: «признак» → «действие-приобретение данного признака» и «действие» → «признак, приобретенный в результате данного действия».

Значения «такой, которому свойственно действие» и «действие, свойственное какому-л.» имеют пары типа *баловаться* — *баловной*, с одной стороны, и *озорной* — *озорничать*, с другой.

Существительное — глагол: ср. пары типа *кочевать* — *кочевник* и *бродяга* — *бродяжничать*; *заклепать* — *заклепка*, по *борона* — *боронить* и т. п.

Существительное — существительное. Это единственное в мутационной сфере отношение между тождественными частями речи также включает в себя ряд разнонаправленных пар, ср. «отрасль знаний» — «лицо»: *история* — *историк*, но *биолог* — *биология*, «страна» — «лицо»: *Австрия* — *австриец*, но *румын* — *Румыния*, а также отношения, аналогичные отношениям между глаголом и существительным: *шпион* — *шпионаж* и *авантюра* — *авантюрист*.

Во всех указанных случаях направление словообразовательной мотивации выражено с помощью словообразовательных формантов, наличие которых определяет и большую семантическую сложность мотивированных слов. В других парах направление мотивации может быть выражено другими средствами, например, лексическими или стилистическими; роль форманта может играть усечение основы мотивирующего слова; в этих случаях возникают разнонаправленные отношения, характерные для обратного словообразования. Этот тип отношений присущ модифицированным словообразовательным парам, членами которых являются слова одной и той же части речи. Этот способ образования характерен главным образом для окказионализмов, ср. *нелепый* → окказ. *лепый* и *красивый* → *некрасивый*; *прошляпнуть* → окказ. *шляпнуть* и *зевать* → *прозевать*; *чертыхаться* → окказ. *чертыхать кого* и *ругать* → *ругаться*; *пушка* → окказ. *пуха* и *рука* → *ручка*.

Разнонаправленные словообразовательные пары описывают одну и ту же ситуацию, выражают один и тот же смысл, по-разному представлен-

ный средствами языка. Так, в парах типа *кочевать* — *кочевник* и *бродяга* — *бродяжничать* описывается отношение между действием, характерным для лица, и лицом, совершающим действие. С точки зрения внеязыковой реальности не только *бродяжничать* — действие, свойственное бродяге, но и *кочевать* — действие, свойственное кочевнику; не только *кочевник* — тот, кто кочует, но и *бродяга* — тот, кто бродяжничает. Однако в языке эти реальные факты не выражены в структуре слов *кочевать* и *бродяга*, но выражены в *бродяжничать* и *кочевник*. Необходимость различения смысла и языковых значений — одна из важных идей, развиваемых в работах по семантике <sup>6</sup>.

В данной статье мы стремились обратить основное внимание на разнообразные связи единиц словообразовательной системы и остановились лишь на некоторых видах связей в отдельных ее участках. Думается, что настало время фронтального описания разнообразных связей, что позволит более глубоко познать еще далеко не изученный механизм словообразования.

---

<sup>6</sup> «...значение знака определяется не только его „предметной отнесенностью“, но и тем..., как он представляет тот смысл, который закреплен за ним» (Д. Н. Ш м е л е в, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 15); ср.: А. В. Б о н д а р к о, Грамматическое значение и смысл, Л., 1978.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ГАЛЬЧЕНКО И. Е.

О СТАТУСЕ СЛОВ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Русский язык играет огромную роль в жизни народов СССР как общее средство межнационального общения. Он является одним из главных источников развития и обогащения языков советских народов<sup>1</sup>. Главным образом через посредство русского языка осуществляется взаимодействие и взаимообогащение языков всех наций и народностей, происходит активный культурный обмен между народами нашей страны. Велико значение русского языка в ускорении сложного и многогранного процесса интернационализации общественной жизни народов Советского Союза.

В этих условиях возникают вопросы: какова роль языков народов Советского Союза в функционировании русского языка, влияют ли языки народов нашей страны на русский язык, если да, то в чем это влияние проявляется, каков его характер, каков статус заимствований, например, из тюркских, кавказских, финно-угорских и других языков в русском языке?

В данной статье мы попытаемся осветить эти вопросы на материале преимущественно языков северокавказского региона, являющегося одним из наиболее многоязычных районов СССР, дающим пеструю картину языкового взаимодействия. Мы исходим из того, что русский язык испытывает влияние языков народов СССР. Оно проявляется в различных условиях и имеет свои особенности. При такой постановке вопроса понятие «русский язык» следует рассматривать в самом широком смысле, имея в виду: 1) общеупотребительный нормированный русский литературный язык во всей его жанрово-стилистической дифференциации (в двух основных формах его употребления — устной и письменной); 2) его территориальные диалекты, говоры, функционирующие в иноязычной среде; 3) языковые особенности местной русской периодической печати, в которой довольно широко употребляются топонимы, этнографизмы и другие лексемы локального характера; 4) особенности языка художественных произведений (переводных и оригинальных) местных писателей, отражающие местные особенности социальной жизни, природных условий и т. д.; 5)

<sup>1</sup> О влиянии русского языка на языки, например, народов Северного Кавказа см.: Т. А. Г у р и е в, Влияние русского языка на развитие осетинской лексики в советскую эпоху. АКД, М., 1954; Х. Д. В о д о ж д о к о в, Русская лексика в адыгейском языке. АКД, М., 1955; М. Л. А п а ж е в, Влияние русского языка на кабардинский. АКД, Нальчик, 1964; Ф. Б. А с т е м и р о в а, Роль русского языка в развитии и обогащении кумыкского языка. АКД, М., 1963; А. У. У р у с и л о в, Роль русского языка в развитии и обогащении лексики аварского языка. АКД, М., 1967; Ф. С. Л ь я н о в а, Характеристика влияния русского языка на развитие и обогащение словарного состава чеченского и ингушского языков. АКД, Махачкала, 1972.

особенности местной профессиональной вариации русской речи (например, элементы локального происхождения в лексике нефтяников Грозного, металлургов и горняков Северной Осетии и Кабардино-Балкарии); 6) устная форма русской речи местного русского городского населения<sup>2</sup>; 7) устная форма русской речи местного русского сельского населения, испытавшего иноязычное влияние<sup>3</sup>; 8) устная и письменная формы русской речи местного нерусского населения; 9) локальные иноязычные элементы в произведениях классиков русской литературы; 10) особенности русского языка местной массовой коммуникации (местного радиовещания, телевидения, кино).

Все эти языковые проявления являются фактами русского языка. Изучению указанных особенностей русского языка, возникших под влиянием языков народов СССР, до сих пор не уделяется должного внимания. В результате возникают ошибочные идеи «узаконения» местных проявлений русского языка как национальных вариантов русского литературного языка и т. д. А между тем исследования, посвященные анализу рассматриваемых проявлений, оказали бы существенную помощь в практическом овладении русским нормированным литературным языком нерусским населением.

Мы учитываем, что влияние рассматриваемых нами языков на общепотребительный нормированный русский литературный язык является весьма и весьма скромным. Оно преимущественно проявляется в языке художественной литературы, в региональном радиовещании, телевидении, периодической печати и т. д.

Сказанное позволяет утверждать, что научное осмысление проблемы взаимодействия языков СССР еще отстает от требований жизни. Особенно слабо изучен вопрос об обогащении русского языка в ходе его взаимодействия с языками народов СССР, не определен статус заимствований из этих языков.

Проблема взаимодействия языков народов СССР может быть решена через познание межнациональных отношений, так как взаимодействие языков народов СССР и межнациональные отношения являются как бы сторонами одной и той же медали. Значительный вклад в постановку и разработку вопросов социальной обусловленности развития языка внесли отечественные ученые-лингвисты И. А. Бодуэн де Куртене, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба, Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, В. В. Випоградов и др. В последние два десятилетия изучение языка в социологическом аспекте значительно оживилось, широко известны языковедческой общественности как коллективные труды, так и труды отдельных ученых<sup>4</sup>. Социологические вопросы языковедения все более привлекают

<sup>2</sup> См.: Г. А. Ма х а р о б л и д з е, О некоторых особенностях русского произношения в Грузии (По наблюдениям над речью студентов-филологов), «Вопросы культуры речи», IV, М., 1963.

<sup>3</sup> См.: С. Д. Ка ц, Слова азербайджанского происхождения в говорах русских переселенцев, «Уч. зап. АПИ языков им М. Ф. Ахундова», 3, Баку, 1963.

<sup>4</sup> См.: «Вопросы развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Материалы всесоюзной конференции. Алма-Ата, 20—24 ноября 1962 г.», Алма-Ата, 1964; Ю. Д. Д е ш е р и е в, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966; И. К. Б е л о д е д, Развитие языков социалистических наций СССР, Киев, 1969; Ю. Д. Д е ш е р и е в, Н. Г. К о р л э т я н у, И. Ф. П р о т ч е н к о, Основные теоретические и практические вопросы взаимодействия языков народов СССР, в кн.: «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР», М., 1969; Ф. П. Ф и л и н, О некоторых философских вопросах языкознания, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; И. Ф. П р о т ч е н к о, Лексика и словообразование русского языка советской эпохи, М., 1975; и др.

внимание философов<sup>5</sup>. Ю. Д. Дешериевым сделана серьезная попытка осветить проблемы основ общей теории социолингвистики<sup>6</sup>. Усилился интерес к социологическим проблемам языка и в зарубежном языкознании<sup>7</sup>.

В функционировании, развитии и взаимодействии языков социальные факторы играют определяющую роль. Следовательно, установление причинно-следственных связей тех или иных явлений языка, возникающих в процессе взаимодействия языков, возможно только при их изучении в неразрывной связи с развитием общества. Отсюда вытекает идея социологического подхода в объяснении фактов того или иного языка, возникающих в нем в результате взаимодействия языков. Исходной теоретической базой такого подхода, как нам представляется, может стать социолингвистическая классификация языков народов СССР, основанная на учете выполняемых общественных функций младо- и старописьменными языками, на учете всех сфер использования того или иного языка в обществе<sup>8</sup>.

Для социолингвистической классификации языков не существенны ни их принадлежность к той или иной семье языков, ни особенности их типологии. Определяющим является функциональный подход в оценке языковых фактов. Важность глубоких этимологических разысканий вряд ли кто станет отрицать, но не менее интересны и значимы языковые процессы, протекающие сейчас, в новых условиях социалистического общества, когда при всестороннем расцвете наций происходит их сближение.

Проблема заимствования, входящая в общую проблематику взаимодействия языков, представляет собой совокупность целого ряда социологических и лингвистических вопросов. Все эти явления требуют своего осмысления. Вопрос о заимствованиях на разных уровнях языковой структуры не может быть решен однозначно для разных контактирующих языков, что объясняется не лингвистическими, а социальными факторами в рамках всей страны. При отсутствии непроницаемых уровней языка и различной проницаемости каждого уровня самоочевидным является то, что в русском языке по отношению к языкам народов СССР оказывается, как правило, проницаемой лексическая система.

Под лексическим заимствованием понимается проникновение слова одного языка в другой, но в науке о языке нет однозначного понимания самого процесса «проникновения» слова, освоения этого слова заимствующим языком. При всей своей противоречивости и условности правомерным является выдвигание Ю. С. Сорокиным набора примет как показателей освоения слова<sup>9</sup>, но он не затрагивает вопроса о заимствованиях в русском языке из языков народов СССР в условиях, когда возникла новая историческая общность людей — советский народ.

Учет всех аспектов освоенности слова иноязычного происхождения затрудняется многоплановостью его познания (в языке билингва определенного ареала, в литературном языке, в общенародном). Природа лек-

<sup>5</sup> См.: М. Д. К а м м а р и, Строительство коммунизма и развитие национальных языков, «Политическое самообразование», М., 1960, 4; М. С. Д ж у н у с о в, О диалектике развития национальных отношений в период строительства социализма и коммунизма, М., 1963; и др.

<sup>6</sup> Ю. Д. Д е ш е р и е в, Социальная лингвистика, М., 1977.

<sup>7</sup> См.: А. Д. Ш в е й ц е р, Вопросы социологии в современной американской лингвистике. Л., 1971; «Новое в лингвистике. Языковые контакты», VI, М., 1972; и др.

<sup>8</sup> См.: Ю. Д. Д е ш е р и е в, О взаимодействии древнеписьменных, младописьменных и бесписьменных языков в свете сталинского учения о языке, сб.: «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

<sup>9</sup> Ю. С. С о р о к и н, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30 — 90-е годы XIX века, М.—Л., 1965, стр. 62—63.

сического заимствования определяется внеязыковыми факторами, что должно учитываться в первую очередь при определении критериев его освоенности. Решающим моментом в освоенности иноязычного слова является его семантическое освоение. Естественно, семантическое освоение слова происходит при сохранении контуров исконной звуковой оболочки.

Определяющими условиями, позволяющими считать иноязычное слово заимствованным, являются, по нашему мнению, следующие два:

1. Слово в заимствующем языке должно обладать полной или относительной семантической самостоятельностью. Под полной семантической самостоятельностью понимается его безэквивалентность для лексем заимствующего языка, а под относительной — наличие в заимствующем языке только относительных синонимов, но не полных.

2. Заимствованное слово должно быть подвергнуто полной или частичной формальной ассимиляции (приноровление к фонетическим, грамматическим, орфографическим нормам заимствующего языка). Это условие в большинстве случаев является обязательным, но достаточным и тогда, когда в слове налицо ассимиляция только звукового облика или формы слова (соотношение с той или иной грамматической категорией заимствующего языка).

Второе условие может не быть ни достаточным, ни обязательным в силу особенностей самого лексического заимствования. Лексическое заимствование является наиболее распространенным и первичным.

Экономическая и социально-политическая общность социалистических наций и народностей СССР обусловили сближение и взаимодействие их культур. Вот это сближение и взаимодействие культур народов СССР и предопределяет, более чем что-либо другое, всеобъемлющий и глубинный характер взаимодействия языков. Процессы взаимодействия культур зависят от эффективности воздействия на человека различных сфер культур (образования, науки, искусства и т. д.). Одним из самых активных видов искусства, способствующих всеобъемлющему взаимодействию языков народов СССР является искусство слова — художественная литература. Нет такой литературы народов СССР, лучшие произведения которой не были бы переведены на русский и другие языки, как и нет такого письменного языка народа СССР, на который не были бы переведены лучшие произведения русской литературы.

Исследователь функционирования языковых элементов одного языка в другом не может не опираться на язык художественной литературы<sup>10</sup>. Наш опыт исследования влияния семнадцати письменных языков народов Северного Кавказа на русский на материале письменных источников (в основном художественной литературы, но с привлечением материалов и периодической печати) на русском языке XIX в. и нового времени показал, что литературные источники имеют наибольшую ценность по сравнению с другими как дающие документированный материал, пропущенный через фильтрующую призму восприятия русских художников слова, мастеров слова национальных литератур, пишущих на русском языке, двуязычных писателей и поэтов в авторизованных переводах и, как правило, квалифицированных переводчиков и редакторов.

<sup>10</sup> В. В. Виноградов на всесоюзной конференции языковедов страны в сообщении «Об итогах работы секции» отметил: «В результате секцией русского языка были приняты следующие решения: ...изучить влияние языков народов Советского Союза на русский; ...рассмотреть глубже вопрос о влиянии различной художественной литературы в связи с развитием советского общества» (В. В. В и н о г р а д о в, Об итогах работы секции, в кн.: «Вопросы развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», стр. 146—147).

В русской речи художественных произведений (переводных и оригинальных) отражается влияние языков народов Северного Кавказа в разной степени на нормированный литературный язык, язык местной периодической печати, радиовещания, телевидения, на территориальные диалекты и говоры. Сам же язык художественной литературы по своей специфике и отношениям к литературному языку, с одной стороны, и к общенародному языку, не ограниченному какими-либо стилями или сферами употребления, с другой, выполняет особо важную функцию в речевом общении народа, предопределяющую развитие некоторых сторон языка в целом, его лексико-семантической системы. В. В. Виноградов писал: «В сущности, „язык“ художественной литературы, развиваясь в историческом „контексте“ литературного языка народа и в тесной связи с ним, в то же время как бы является его концентрированным выражением»<sup>11</sup>. То, что язык художественной литературы нашей эпохи является «концентрированным выражением» литературного языка, В. В. Виноградов объяснял развитием реализма как высшей формы художественного отражения действительности<sup>12</sup>. Сказанное о роли языка художественной литературы (переводной и оригинальной) в языковом взаимодействии и предопределило наше решение о выборе, в основном, художественной литературы в качестве источника материала.

Формирование и развитие новой общности людей Советского Союза — советского народа — обуславливает расширение сфер употребления русского языка как языка межнационального общения. Русский язык, выступая как язык межнационального общения в роли языка художественной русской и в той или иной мере национальных литератур<sup>13</sup>, развивается как путем использования потенциальных возможностей собственно русских средств, так и путем использования лексем из языков народов СССР.

Слова из языков северокавказского региона, как и всякого другого, имеют в русском языке двойственный характер: с одной стороны, миллионы русских жителей Северного Кавказа они осознаются обычными наименованиями реальных предметов и явлений, с другой стороны, большая часть русского населения страны может их и не знать, а определенным кругом русских они могут осознаваться как локальные лексемы, принадлежащие периферийному лексическому составу языка. В то же время локализмы, став достоянием русского языка в той или иной речевой сфере его использования, включаются в его лексическую систему как заимствования. Ограниченность их активного употребления в русской речи тем или иным регионом в первую очередь порождает «настороженное» к ним отношение со стороны носителей литературной нормы русского языка в других регионах.

Бесспорно, русский язык неизмеримо больше дает слов, например, осетинскому языку, чем обогащается за счет последнего сам, но он обогащается, если рассматривать его взаимодействие с языками только в пределах нашей страны, за счет всех ста тридцати языков наций и народностей СССР. Н. К. Дмитриев, исследуя русско-башкирские языковые связи, справедливо писал: «Трактуя все эти вопросы, необходимо иметь

<sup>11</sup> В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, 1, стр. 85.

<sup>12</sup> В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 422—507.

<sup>13</sup> С. Калтахчян отмечает: «Вообще, как показывает опыт, выражать и развивать свою национальную культуру можно на любом языке. Об этом прекрасно свидетельствуют написанные на русском языке, но отличающиеся своей национальной образностью произведения таких писателей, как киргиза Айтматова, чукчи Рытхэу, манси Шесталова, нивха Санги, нанайца Ходжера и многих других» (С. Калтахчян, Советский народ — новая историческая общность людей, «Правда» 17 III 1972).

в виду, что взаимное влияние двух языков никогда не бывает односторонним»<sup>14</sup>. Только активное влияние, скажем, бурятского языка на русский опять-таки ограничено территориально регионом Бурятской АССР, что может не быть известно русскому населению центра России. Однако факты таких заимствований на территории того или иного региона не перестают быть таковыми, как и не перестает быть фактом русского языка тот или иной диалектизм Приамурья на том лишь основании, что его не знают на Кубани и Тереке.

Проследим употребление в русской письменной речи общесеверокавказского слова *нарт* (мн. число *нарты*) «герой эпосов народов Северного Кавказа; богатырь». Это слово известно русскому языку уже более ста лет. В 1868 г. П. У[слар] в статье «Народные сказания кавказских горцев» сообщил: «В большей части сказок действуют великаны — *Нарты*: название, распространенное по целому Кавказу, но необъяснимое ни на одном из горских языков»<sup>15</sup>; в 1869 г. Айдемир Чиркеев публикует переводы аварских сказок: «Сказала она царевичу: „Семь сыновей у меня, все семеро — *Нарты*“»<sup>16</sup>; «Вот уже семь лет, как возник спор между Эмеем и Черным *Нартом* из-за моей дочери»<sup>17</sup>.

У. Лаудаев в исследовании «Чеченское племя» (1872) писал: «Из чеченских преданий более замечательно предание о *нартах*. Говорят, что Чеченю завладела неведомые до того чеченцам пришельцы, которых называли *нартами* (*нарт*). Предание говорит, что они были кереставами, т. е. христианами»<sup>18</sup>. А. Н. Дьячков-Тарасов в «Заметках о Карачае и карачаевцах» дает перевод фрагмента «Сосрука и эмеген Пятиголовый» (1898): «Жил когда-то богатырь, звали его Эмегеном Пятиголовым... Услыхал про него знаменитый *нарт* Сосрука»<sup>19</sup>. Встречаем слово *нарт* и у советских русских писателей: «Еще в Кабарде узнал я кое-что о *нартском* эпосе... Следуя по этой тропе, я попал в область *нартов* осетинских, а потом и к *нартам* Ингушетии, Чечни, Карачая» (Ю. Н. Либединский, Связь времен...); «*Нарты* питались все вместе из одного общего котла, вкопанного между горами» (М. Батчаев, Е. Стефанеев, Горы и нарты); «Приходит в тихую мансарду железногрудый *нарт* Батрадз» (Б. Шелепов, Их было трое). Найдем его и в газетной статье: «Народы Карачаево-Черкесии имеют большое фольклорное наследие. Ими созданы великолепные сказки, эпос „*Нарты*“, в которых простые парни побеждают чудовища, преграждающие пути к счастью, а *нарт* Батарас бросает вызов самому богу» («Ставропольская правда» 9 I 1972). Зафиксирован локализм *нарты* в произведениях дооктябрьской и советской литературы на русском языке (переводных и оригинальных) четырнадцати северокавказских народов (аварцев, адыгейцев, даргинцев, ингушей, кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, кумыков, лаков, лезгин, ногайцев, осетин, черкесов, чеченцев)<sup>20</sup>.

Появление и распространение слова *нарт* в русскоязычной литературе показывает, что оно заимствовано в русский язык из языков северокавказского региона, вошло уже в нормированный русский литературный язык устной и письменной форм употребления более чем четырнадцатимиллионного населения Северо-Кавказского экономического района

<sup>14</sup> Н. К. Дмитриев, Строи тюркских языков, М., 1962, стр. 466.

<sup>15</sup> «Сборник сведений о кавказских горцах», I, Тифлис, 1868, стр. 28.

<sup>16</sup> «Сборник сведений о кавказских горцах», II, Тифлис, 1869, стр. 10

<sup>17</sup> Там же, стр. 34.

<sup>18</sup> «Сборник сведений о кавказских горцах», VI, Тифлис, 1872, стр. 17.

<sup>19</sup> «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXV, Тифлис, 1898, стр. 73.

<sup>20</sup> См.: И. Е. Гальченко, Глоссарии лексики языков народов Северного Кавказа в русском языке, Орджоникидзе, 1975, стр. 109—110.

и многих тысяч русских людей других районов страны. В словарях же русского языка оно не фиксируется.

Последнее обусловлено тем, что активная употребляемость заимствования *нарт* в русском языке ограничена территориально северокавказским регионом. Наличие же его в пассивном запасе слов некоторой части русского населения всей страны, естественно, не всегда могло быть основанием для включения его в словари русского литературного языка. Такого типа заимствования следует именовать регионализмами русского языка. Под русскими регионализмами следует понимать заимствованные слова из языков народов СССР с территориально ограниченной сферой активного употребления в русском языке.

Употребление регионализмов в русской речи (как письменной, так и устной) жителями северокавказского региона не ведет к созданию какого-либо варианта русского языка. Регионализмы лишь обогащают его коммуникативные и экспрессивные возможности. В то же время регионализмы в русском языке не являются ни экзотизмами, ни варваризмами. В языке произведений русских писателей и поэтов XIX в. еще можно было считать кавказские слова экзотизмами, а в настоящее время этот термин для них устарел. Для всего населения Северо-Кавказского экономического района, 70% которого составляют русские, нет сейчас ничего «чужого, чужеземного» на своей территории, для передачи которого нужны были бы слова-варваризмы или экзотизмы.

Употребление и освоение северокавказских регионализмов в русском языке, как и всяких иноязычных слов, зависит от потребности назвать новые для русского человека предметы и явления, от степени их актуальности и социальной значимости. Одни из регионализмов обозначают специфические предметы и особые понятия, которых нет и не было в русской жизни, и поэтому, естественно, они не имеют русских лексических эквивалентов (например: *башилык*, *бурдюк* и др.); вторые имеют в русском языке эквиваленты, но отличаются от них смысловыми оттенками (*арба*, *бурка*, *чурек* и т. п.); третьи имеют точные семантические эквиваленты, но отличаются от последних своеобразной экспрессивно-стилистической окраской (*аманат*, *кунак* и др.).

Северокавказские регионализмы представляют собой пестрое явление, которое надо рассматривать не только через призму словарей абхазско-адыгских (абазинского, адыгейского, кабардинского, черкесского), дагестанских (аварского, даргинского, лакского, лезгинского, табасаранского), нахских (ингушского, чеченского), иранских (осетинского, татского), тюркских (балкарского, карачаевского, кумыкского, погайского) языков, но и через призму арабского, персидского, монгольского и других словарей. По отношению же к русскому языку этимологизация северокавказских регионализмов может быть ограничена синхронным срезом, так как все они, независимо от их предыдущей истории, взяты из конкретных языков народов Северного Кавказа<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Ср. замечание известного тюрколога Н. К. Дмитриева: «Во всех тюркских языках есть большой процент арабских, персидских, а иногда и монгольских лексических элементов. Арабские и персидские термины относятся к области мусульманской религиозной, научной и административной терминологии. Все эти моменты строго различаются в тюркологических работах. Однако при исследованиях в области Turco-Slavica подобная классификация признается излишней, так как все тюркизмы русского словаря, какова бы ни была их предыдущая история, попали в русский язык ближайшим образом из тюркских языков. Таким образом, в этой области этимологизация русских тюркизмов ограничивается известным историческим пределом» (Н. К. Д м и т р и е в, указ. соч., стр. 515); см. также: С. А. А л ь х а з р а д ж и, Арабизмы в русском языке (к постановке вопроса), «Народы Азии и Африки», 1977, 1, стр. 151—158.

Северокавказские регионализмы, отразившиеся в русском языке художественных и иных произведений о Северном Кавказе, составляют ряд семантико-тематических групп: а) регионализмы, относящиеся к кругу наименований людей по социальному положению в прошлом и по другим признакам; б) северокавказская мифологическая лексика; в) регионализмы, связанные с кругом социально-экономических и религиозно-нравственных понятий; г) региональная лексика, связанная с религиозными понятиями (ада, рая и под.) и явлениями (молитвами, обрядами и др.), связанная с наименованием культовых яств, предметов, построек; д) региональные заимствования, называющие национальные обычаи, традиции, праздники и другие светские явления; е) регионализмы круга предметно-бытовой номенклатуры; ж) северокавказские наименования кушаний и напитков; з) заимствования, относящиеся к кругу предметных реалий жизненного уклада народов Северного Кавказа<sup>22</sup>.

Только одних наименований национальных музыкальных инструментов, обладающих специфической формой и особым звучанием, что делает эти наименования безэквивалентными для лексемы русского языка, зафиксировано в русской речи различных письменных источников более тридцати, например: общесеверокавказские *зурна* «духовой инструмент», *саз* «струнный щипковый инструмент», *тар* «разновидность мандолины»; восходящие, видимо, к одному источнику аварский *пандур* «струнный национальный инструмент», ингушский и чеченский *пондар* «род балалайки», осетинский *фандыр* «разновидность скрипки, лира»; аварский *лалу* «род свирели»; абазинские *цырнапи* «разновидность свирели», *апхирца* «старинный струнный инструмент; гармоника»; адыгейские *шичешинь* «смычковый инструмент», *пишина* «национальная гармоника», *камьль* «род флейты», *пгачич* «национальная трещотка»; ингушский и чеченский *чондыр* «разновидность скрипки»; кабардинские *бжами* «род свирели», *апешина* «вид балалайки», *шикапшина* «разновидность скрипки»; карачаево-балкарские *кобуз* «род скрипки», *сыбызга* «разновидность свирели»; лакский *баламан* «род жалейки»; лезгинские *далдам* «разновидность барабана», *зипик* «род флейты»; ногайский *биюз* «пастушеский рожок»; общедагестанские *чунгур* «род балалайки», *чагана* «смычковый инструмент», *кумуз* «инструмент вроде балалайки» и др.

Проследим конкретное употребление ряда локализмов. Из приведенных выше только слова *зурна*, *кобуз*, *саз* (*сааз*) зафиксированы в словарях русского языка. О слове *саз* в словаре (Малом академическом) записано: «Саз... Струнный щипковый инструмент, распространенный в Закавказье, Иране, Афганистане (перс.)»<sup>23</sup>. Однако этот инструмент бытует и у ряда народов Северного Кавказа. Находим его в языке М. Ю. Лермонтова: «...он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный *сааз*» (М. Ю. Лермонтов, Ашик-Кериб); в русской речи очерка (1875) о Чечне: «В Чечне... усийца забирался в самую недоступную комнату своего дома, развлекаясь, если мог, монотонно игрою на *сазе* или *пандуре*»<sup>24</sup>; в языке П. А. Павленко: «„Посмотри, что с ними стало, — сказал ашуг и взял в руки свой *сааз*“, — как поется в старой песне» (П. А. Павленко, Люди в горах); в переводных произведениях лезгинской, даргинской, кумыкской и татской литературы, например: «Давно рвалась моя рука К тобою полным струнам *саза*. Певец, воспой большевика, Рожденного в горах Кавказа!» (С. Сталтский,

<sup>22</sup> В нашей работе «Глоссарий лексики языков народов Северного Кавказа в русском языке» зафиксировано 1034 слова указанных семантико-тематических групп регионализмов.

<sup>23</sup> «Словарь русского языка», IV, М., 1961.

<sup>24</sup> «Сборник сведений о кавказских горцах», VIII, Тифлис, 1875, стр. 3.

Поэма о Серго Орджоникидзе); «Что делать мне? Трясется каждый раз Моя рука, когда беру я *саз*. Струится кровь из выколотых глаз» (Саид. Проклятье Мурсал-хану); «Конечно, есть люди... которым и комариный писк приятным звуком *саза* кажется» (Аткай, Побратимы); «А в доме на стене старинный *саз*» (Д. Атнилов, Верная звезда. Стихи).

Название специфического струнного музыкального инструмента *чунгур* (*чонгур*) употребляется в русском языке произведений (переводных и оригинальных) почти всех литератур Дагестана; в аварском: «Женился друг на твоей невесте, Сосед на твоём *чунгуре* играет, А мне что делать, мой сокол ясный» («Песни народов Дагестана»); в даргинском: «Он кончил петь, отдал *чунгур* соседу» (У. Шапиева, Верность. Повести); находим этот регионализм в текстах лезгинской, лакской, кумыкской, табасаранской и русской литератур, например: «Третий день мы мечемся по району, бьем в *далдам*, бренчим на *чунгуре* и *таре*, гудим на *зурне*», на этой же странице в сноске: «*Далдам* — барабан. *Чунгур* и *тар* — старинные народные музыкальные инструменты» (К. Меджидов, Дети гор); «Я поэт. Мое оружие — пятиструнный *чунгур*» (А. Гафуров, Родные горы); «Он обратился к девушке как друг: — Сыграй еще, а то ведь у *чунгура* Все струны завтра могут лопнуть вдруг» (Аткай, Рабият); «Запел *чунгур* и свой рассыпал звон От высоты до высоты» (М. Митаров, Голос Рубаса); в собственно русских произведениях: «На заднем плане, в середине, сидят трое просто одетых аварцев, играющих на *чунгуре*» (В. Я. Икскуль, Кавказские повести); «Ударил волк по струнам *чунгура* и запел»<sup>25</sup>; «В ауле Ашаги-Сталы, в трех километрах от города, есть старик ашуг. Он бедный крестьянин, неграмотный, сочиняет стихи и поет под *чунгур*»<sup>26</sup>.

Как видим, регионализм *чунгур* не менее употребителен в русской речи, чем слово *саз*. Он тоже мог быть зафиксирован словарями русского языка. Регионализмы — наименования национальных музыкальных инструментов народов Северного Кавказа — проникают в русский язык благодаря активному взаимовлиянию культур народов СССР.

Общей стилистической функцией северокавказских регионализмов в языке художественного произведения является стилизация в широком значении слова, стилистически значимым — само их содержание, смысловой объем. Отбор регионализмов в речевую ткань художественного произведения (по их смысловому объему) во многом зависит от наличия или отсутствия у того или иного слова исконно русского эквивалента, синонима.

Северокавказские слова, не имеющие русских параллелей, однородны по своей стилистической роли, они употребляются в основном номинативном значении. Для слов этой группы определяющей является их коммуникативная функция, а стилистическая значимость — неизбежный «побочный» результат. Использование регионализмов, имеющих русские параллели, мотивируется в каждом отдельном случае рядом различных обстоятельств, что ярко выступает при рассмотрении их употребления в соотношении с русскими синонимами.

Процесс фонетической и морфологической адаптации и закрепления северокавказских локализмов в русской речи региона протекает в таких условиях, когда носители северокавказских языков, будучи двуязычными, в своем большинстве свободно владеют русским языком. Кроме того, в каждой из национальных республик и областей Северного Кавказа проживают сотни тысяч русских и лиц других национальностей, языком меж-

<sup>25</sup> А. Ф. Назаревич, В мире горской народной сказки, Махачкала, 1962, стр. 171.

<sup>26</sup> Н. Тихонов, Сыны Дагестана, Махачкала, 1972, стр. 86.

национального общения для которых выступает русский язык с самым широким кругом сфер использования (он является в большинстве школ с первого класса языком обучения и языком преподавания во всех средних и высших учебных заведениях). Все это привело в настоящее время к распространению и закреплению единых норм русского литературного языка, а огромное большинство северокавказских регионализмов, проникая в русскую речь, подчиняется ее фонологической и морфологической системам. Ряд же регионализмов, подвергаясь фонетической адаптации в русской речи, составляют особые подсистемы редких слов русского языка.

Освоение регионализмов часто замедляется из-за употребления в русском языке одного и того же слова в различных грамматических формах, отнесения к разным грамматическим разрядам, из-за различия в графемно-фонетическом его оформлении. Например, регионализм *канлы* «кровная месть» фиксируется в русской художественной речи относящимся к трем морфологическим типам существительных; в источнике 1872 г. это слово употреблено как имя среднего рода: «...двойное канлы»<sup>27</sup>; в произведении 1941 г. — женского: «...канлы будет страшная» (С. Голубов, Солдатская слава); в источнике 1971 г. оно употребляется как имя собирательного значения, обозначающее множественную совокупность действия: «...канлы должны были кончиться» (Д. Гатуев, Зелимхан). В первом случае автор руководствовался традицией отнесения заимствованных существительных с гласной финалью *-о*, *-ы* и др. к среднему роду; во втором *канлы* соотносится с русским родовым понятием «месть»; в третьем — автор употребил его как слово, имеющее только мн. число, по типу *дебаты*, *происки*. По своей же грамматической структуре регионализм *канлы* входит в разряд несклоняемых существительных среднего рода.

В графемно-фонетическом оформлении разнятся очень многие регионализмы, воспроизводимые в русской письменной речи. Например, пять форм имеет в русской речи название осетинского пирога с мясом и острой приправой — *фидджин*, *фитджин*, *фыдджин*, *фидчин* и *фыдчин*, а ведь современный осетинский язык имеет письменность на основе русской графики, его лексика зафиксирована в целом ряде словарей, и в русской речи жителей Осетии уже закрепились форма *фидчин*.

Морфологическая унификация и сведение к единому написанию регионализмов так же необходимо, как и соблюдение единых правил орфографии, норм культуры русской речи вообще.

Северокавказские регионализмы, вошедшие в русский язык, дали ему дополнительные ресурсы производящих основ. Иноязычные элементы (как правило, только корни) вместе с исконно русскими аффиксами пополняют грамматические разряды слов новыми единицами (*абрек* — *абречий* — *абреческий*, *нарт* — *нартский* — *нартровский*, *кунак* — *куначить* и т. д.). Производные регионализмы образовались по моделям системы русского языка, что и делает их элементами его системы.

Лексика языков народов Северного Кавказа, получившая отражение в художественной литературе на русском языке, вошла в состав языка этой литературы как его составной компонент, выполняющий важную семантико-стилистическую функцию, а через язык художественной литературы входит в общенародный русский язык как составная часть его лексической системы. Об этом же в свое время А. М. Горький говорил: «У нас нацменьшинства понемногу вводят свои словечки, и мы их усваиваем, потому что они удобны по своей звучности, емкости, красочности. В этом взаимопроникновении языков наш язык будет очень обогащен»<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> «Сборник сведений о кавказских горцах», VI, стр. 5.

<sup>28</sup> М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., 1953, стр. 439.

Естественно, северокавказский регионализм, став достоянием русского языка через язык художественного произведения, не включается тем самым немедленно в состав литературного языка, как и не включается сюда, скажем, то или иное слово какого-либо диалекта русского национального языка. Однако его многократное употребление в русском языке художественных произведений ряда авторов уже есть «заявка» на его освоение и в литературном языке. Если А. С. Пушкин вынужден был пояснять слово *сакля*: «*Сакля, хижина*» («Примечания к тексту „Кавказского пленника“») <sup>29</sup>, то теперь мы встречаем его в учебнике современного русского языка для вузов СССР: «Кю второму склонению относятся все имена существительные женского, мужского и общего рода на *-а*, *-я*, например: *вода, сакля, струя, юноша, Боря, сирота* и др.» <sup>30</sup>.

Регионализмы входят как в активный, так и в пассивный запас лексики русского языка того или иного региона, будучи обычными различителями жизненных понятий. В то же время северокавказские регионализмы являются фактором общего лексического фонда языков народов СССР, отражающим поступательное движение в направлении сближения и слияния социалистических наций. Советская действительность ставит вопросы языка по-новому. Уровень развития взаимодействия языков народов СССР и русского языка на современном этапе обуславливает необходимость морфологической, орфографической и орфоэпической унификации регионализмов, создания словаря регионализмов русского языка.

<sup>29</sup> А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 томах, III, М., 1960, стр. 118.

<sup>30</sup> Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина, В. В. Чапуркевич, Современный русский язык, М., 1966, стр. 170.

НАЗАРЯН А. Г.

**ФРАЗЕОЛОГИЯ И ЛЕКСИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  
В ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ**

Исследование проблемы генезиса фразеологии (фразеологического состава) является одной из важнейших задач теории фразеологии. Вместе с тем эта проблема относится к наименее изученным. Языковеды, которые в своих работах (главным образом посвященных описанию того или иного фразеологического «среза») все же касаются ее, как правило, ограничиваются общими замечаниями или в лучшем случае некоторым (чаще всего кратким) анализом источников происхождения фразеологических единиц.

Слабая изученность проблемы генезиса фразеологии как русского языка, так и других языков, в том числе и французского, в основном объясняется теми причинами, которые определили односторонний характер развития этой дисциплины за последние 25 лет, ограничив ее преимущественно синхроническим аспектом. Но, думается, есть еще и другая, не менее важная причина.

Под влиянием фразеологических воззрений Ш. Балли в советском языкознании получила широкое распространение теория эквивалентности фразеологизма слову. Эта теория на протяжении многих лет господствовала во фразеологии и, естественно, наложила свой отпечаток на ее развитие, равно как на создаваемые в ту пору работы. Сторонники этой теории, придерживаясь чисто лексикологического подхода к изучению фразеологии, исходили в своих выводах исключительно из функциональной близости (часто принимаемой за тождественность) слова и фразеологизма (точнее, определенных типов фразеологизмов), в результате чего фразеологическая единица фактически трактовалась как раздельнооформленный вариант слова. Логическим следствием подобной трактовки являлось отрицание самостоятельного статуса фразеологии как лингвистической дисциплины и включение ее в лексикологию в качестве одного из ее разделов<sup>1</sup>.

В этих условиях вряд ли можно удивляться тому, что проблема генезиса фразеологии снималась или, точнее говоря, вообще не ставилась. В самом деле, поскольку сторонники упомянутой теории не видели никаких принципиальных различий между словом и фразеологизмом<sup>2</sup>, то считалось само собой разумеющимся, что и в генетическом плане между лексикой и фразеологией подобных различий не должно быть.

Однако по мере того, как фразеология утверждалась в языкознании в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины, а углубленное изучение фразеологических явлений приводило все большее число уче-

<sup>1</sup> Ср.: А. В. Яковлевская, Фразеология стихотворного языка Маяковского. КД, М., 1950, стр. 27.

<sup>2</sup> Ср. у З. Н. Левита: «...особенности, удельный вес и употребительность аналитической лексики во французском языке (к ней автор этого высказывания причисляет и фразеологизмы.— А. Н.) обуславливаются особенностями цельных слов, так называемых „классических“ лексических единиц...» (З. Н. Левит, К проблеме аналитического слова в современном французском языке, Минск, 1968, стр. 34).

ных к осмыслению фразеологической единицы как особого, качественно нового лингвистического образования, все более очевидным становился спорный характер теории эквивалентности фразеологизма слову. Вместе с тем, такое осмысление вызвало вполне понятный интерес к изучению проблемы соотношения фразеологизма и слова (resp. фразеологии и лексики), в том числе и в историческом плане. В этой связи В. Л. Архангельский, подчеркивая актуальность подобного изучения и как бы предвосхищая постановку данной проблемы, писал в 1972 г.: «Мы еще не имеем ответа на такие общие вопросы, освещение и уяснение которых представляется очень важным для теории фразеологии: В чем сходство и различие в процессах образования слов и фразеологических единиц? Каковы причины, приводящие к возникновению фразеологических единиц?»<sup>3</sup>. На эти вопросы мы и попытаемся ответить.

Фразеология французского языка, как показывают диахронические исследования, восходит к наиболее раннему периоду его истории<sup>4</sup>; фразеологизмы возникают и развиваются вместе с языком, о чем свидетельствуют многочисленные письменные памятники. Вот почему изучение проблемы генезиса французской фразеологии заставляет обратиться к истокам самого французского языка. Здесь наше внимание сразу же привлекает один любопытный факт.

Хорошо известно, что французский язык, будучи языком романского происхождения, унаследовал от латыни подавляющую часть своего лексического фонда. По данным этимологических и статистических исследований, приводимым М. Коэном, французские слова латинского происхождения в XVII в. составляли около 95% словарного фонда французского языка<sup>5</sup>. Этот процент в современном французском языке, очевидно, ниже, но, думается, не намного, ибо значительная часть новых слов и сегодня образуется из латинских корней (особенно научные термины) или с помощью суффиксации и префиксации слов латинского происхождения. Кроме того, для исследования интересующей нас проблемы важнее исходить из данных, характеризующих состояние французской лексики раннего периода.

Как же обстоит дело с фразеологией французского языка? Судя по данным М. Коэна, можно было бы предположить, что, подобно лексике, и фразеология французского языка должна быть преимущественно латинского происхождения. Но факты показывают, что между количеством слов и количеством фразеологизмов, унаследованных французским языком от латинского, существует в н у ш и т е л ь н а я разница, определяющая разный удельный вес лексических и фразеологических единиц латинского происхождения соответственно в лексической и фразеологической системах этого языка.

Сознавая большую важность данного факта и необходимость его тщательного обоснования для изучения проблемы генезиса французской фразеологии, мы сочли целесообразным провести статистические исследования некоторых авторитетных фразеографических источников, с тем чтобы получить максимально объективные данные о количестве французских фразеологических единиц латинского происхождения. Для этой цели нами

<sup>3</sup> В. Л. Архангельский, О задачах, объектах и разделах русской фразеологии как лингвистической дисциплины, в кн.: «Проблемы устойчивости и вариативности фразеологических единиц (Материалы межвузовского симпозиума)», Тула, 1972, стр. 182.

<sup>4</sup> См: L. S a i n é a n, La langue de Rabelais, I, Paris, 1922, стр. 356. Из последних работ, содержащих ценные сведения о диахроническом аспекте изучения фразеологии см.: Н. Т h u n, Probleme der Phraseologie, Tübingen, 1978.

<sup>5</sup> См.: М. С o h e n, Histoire d'une langue: le français, Paris, 1967, стр. 217.

Таблица 1

Словарь (первое изд.)	Кол-во ФЕ в данном словаре	ФЕ латинского происхож- дения	
		кол-во	уд. вес %
P. Quitard, Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des proverbes et locutions proverbiales de la langue française, Paris, 1842.	1633	99	6,1
L. Martel, Petit recueil des proverbes français, Paris, 1883.	590	34	5,7
M. Rat, Dictionnaire des locutions françaises, Paris, 1957.	2724	22	0,8

были отобраны два известных фразеологических словаря XIX в., наиболее полно отражающих этимологию фразеологических единиц и составленных П. Китаром и Л. Мартеlem, а также фразеологический словарь М. Ра, пользующийся широкой популярностью в наши дни и считающийся самым ценным из пособий подобного рода. Следует отметить, что все три названных автора были видными филологами и отличными знатоками латинского языка, поэтому точность и достоверность приводимых ими данных относительно французских фразеологизмов, заимствованных из латинского языка, не вызывают сомнений.

Для наглядности представим результаты проведенного нами статистического исследования в виде сравнительной таблицы (см. табл. 1).

Первое, что бросается в глаза в табл. 1, это постепенное уменьшение удельного веса фразеологизмов латинского происхождения в фразеологическом фонде французского языка, что, несомненно, свидетельствует о тенденции французской фразеологии к «избавлению» от инородных элементов. Но это уменьшение, как мы видим, далеко не равномерное. За 41 год, отделяющий появление словаря Л. Мартеля от словаря П. Китара, снижение удельного веса французских фразеологизмов латинского происхождения составило 0,4%, а в словаре М. Ра, опубликованном через 74 года после первого издания словаря Л. Мартеля, этот показатель равняется 4,9%.

В связи с этим возникает вопрос: насколько объективны результаты статистического исследования указанных выше словарей? Следует подчеркнуть, что об абсолютной точности здесь не может быть речи, хотя бы потому, что во всех трех словарях представлена лишь часть фразеологического материала французского языка. Это своего рода сборники «избранных» фразеологизмов, что, впрочем, отнюдь не лишает их научной ценности. Здесь важно отметить, что в первых двух словарях рассматриваются преимущественно фразеологизмы книжного происхождения, относящиеся главным образом к нейтрально-литературному стилю, среди которых латинских заимствований гораздо больше, в то время как в словаре М. Ра представлена также разговорно-фамильярная и просторечная фразеология, которая в силу своего народного происхождения является, как правило, исконно французской. Этим объясняется и столь значительная разница, существующая между данными об удельном весе французских фразеологизмов латинского происхождения в словарях Л. Мартеля и М. Ра. Не подлежит сомнению, что привлечение дополнительного, более широкого фразеологического материала к исследованию привело бы к еще большему

снижению этого удельного веса. Поэтому есть все основания считать 6,4% максимальным показателем удельного веса фразеологизмов латинского происхождения в фразеологическом фонде французского языка. Этот показатель можно с достаточным основанием сопоставлять с показателем удельного веса французских слов латинского происхождения, приведенным М. Коэнном, тем более если учесть, что словарь П. Китара отражает фразеологию французского языка не столько XIX в., сколько XVII и XVIII вв.

Из изложенного вытекает, что данные статистического исследования трех рассмотренных словарей достаточно объективны, чтобы служить основой для изучения проблемы генезиса фразеологии французского языка. Эти же данные со всей остротой ставят перед нами вопрос о том, какие причины обусловили столь внушительную разницу (95% и 6,4%) в удельном весе лексических и фразеологических единиц латинского происхождения во французском языке.

Приведенные выше данные о низком удельном весе французских фразеологизмов латинского происхождения, очевидно, отражают национальное своеобразие французской фразеологии. Однако было бы неправомерно объяснить такой удельный вес только подобным своеобразием. Ведь нельзя сказать, что французская лексика лишена национального своеобразия, тем не менее, как мы видели, она освоила огромное количество латинских слов. Кроме того, если и допустить, что национальные особенности фразеологической системы французского языка сказались на удельном весе фразеологизмов латинского происхождения, то остается неясным, в чем же проявились эти особенности.

Сама логика вещей подсказывает, что причины подобного явления нужно искать прежде всего в латинском языке, в особенностях его фразеологической системы. Вот здесь и обнаруживается чрезвычайно любопытная деталь, проливающая свет на проблему генезиса французской фразеологии, впервые отмеченная Р. А. Будаговым в его статье «К теории отношений между словом, словосочетанием и предложением»<sup>6</sup>. Как убедительно показано в этой статье, словосочетания латинского языка, в частности классического периода, обладали меньшей устойчивостью и самостоятельностью, чем словосочетания романских языков. Объясняя причины данного явления, Р. А. Будагов пишет: «Общий принцип латинского порядка слов с препозицией объекта перед сказуемым и с возможным отделением этого объекта от сказуемого не создавал благоприятных условий для развития прямых словосочетаний»<sup>7</sup>. Именно поэтому «для латинского литературного языка более характерно сочетание слов в предложении, чем словосочетание как особая структурно-семантическая единица языка»<sup>8</sup>, что, естественно не могло не сказаться на фразеобразовательных возможностях латинского языка. Это подтверждают и материалы одной из немногих работ по латинской фразеологии, написанной О. Шёнбергером<sup>9</sup>. Указывая на небольшой объем этого словаря (123 стр.), Р. А. Будагов справедливо отмечает, что фразеологический материал в словарях романских языков занимает многие сотни страниц<sup>10</sup>. К этому следует добавить, что фактический объем фразеологического материала в книге О. Шёнбергера еще меньше, если учесть, что в ней, кроме фразеологизмов, приводятся также свободные словосочетания (*homo litteratus* «образованный человек»; *librum scribere* «писать книгу»; *parvo vivere* «жить бедно»; *vitam agere* «вести

<sup>6</sup> См. сб. «Исследования в области латинского и романского языкознания», Кишинев, 1964, стр. 5—36.

<sup>7</sup> Р. А. Будагов, Язык, история и современность, М., 1971, стр. 267.

<sup>8</sup> Там же, стр. 280.

<sup>9</sup> O. Schönbeger, Lateinische Phraseologie, Heidelberg, 1955.

<sup>10</sup> См.: Р. А. Будагов, Язык, история и современность, стр. 277.

Таблица 2

Словарь	Кол-во ФЕ в данном словаре		Кол-во ФЕ латинского происхождения и их уд. вес (%)			
	всего	из них пословицы	всего	%	из них пословицы	%
P. Quitard 1842	1663	692	99	6,1	75	4,6
L. Martel 1883	590	355	34	5,7	26	4,4
M. Rat 1957	2724	61	22	0,8	11	0,4

жизнь» и др.) и даже слова [*disciplina* «философская школа»; *secta* «секта»; *prudens* «осторожно», *feliciter* «с успехом, плодотворно»; *premi* «страдать (от)» и др.]

Любопытно, что еще в XVI в. выдающийся французский ученый — филолог А. Этьен, сопоставляя фразеологию французского и латинского языков, обратил внимание на тот факт, что для выражения многих понятий в латинском языке нет фразеологических единиц, в то время как для выражения этих же понятий французский язык уже в эпоху Возрождения обладал множеством подобных единиц<sup>11</sup>.

Тезис Р. А. Будагова, согласно которому для латинского литературного языка было более характерно сочетание слов, находит свое подтверждение и в том, что большая часть французских фразеологизмов латинского происхождения приходится на сочетания с предикативной структурой (пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы и т. п.).

Ниже приводятся данные о соотношении непословичных и пословичных фразеологизмов, заимствованных французским языком из латинского, по результатам исследования рассмотренных выше трех фразеологических источников. Для большей наглядности эти данные также приводятся в виде таблицы (см. табл. 2), причем, поскольку подробные сведения об упомянутых источниках уже были даны в табл. 1, то здесь указываются лишь фамилии авторов и год издания источника.

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, в общем объеме французских фразеологизмов латинского происхождения пословичные фразеологизмы имеют значительный удельный вес, который у П. Китара и Л. Мартеля превышает удельный вес непословичных фразеологизмов, составляя соответственно 75,8 и 76,5%, а у М. Ра он равен 50%, что объясняется резким уменьшением количества всех пословичных фразеологизмов по отношению к непословичным.

Указанный выше общий принцип сочетаемости латинских слов обусловил также значительное отличие фразеобразовательных (синтаксических) моделей французского языка от подобных моделей латинского языка. Это отличие особенно отчетливо видно при сопоставлении глагольных фразеологизмов, относящихся к наиболее продуктивному и многочисленному типу устойчивых словосочетаний. В то время как в латинских фразеологизмах данного типа объект чаще всего стоит в препозиции, во французском языке он, как правило, ставится в постпозиции. Ср. *montes auri*

<sup>11</sup> H. Estienne, *La précellence du langage français*, Paris, 1896, стр. 249.

*polliceri — promettre monts et merveilles* «сулить золотые горы»; *mare caelo confundere — mêler le ciel à la terre* «все смешать; поставить все вверх дном» и др.<sup>12</sup>.

Однако как бы особенности латинского синтаксиса ни влияли на процесс формирования устойчивых словосочетаний, все же их нельзя считать единственной причиной относительной бедности латинского языка фразеологизмами. Эти особенности могли лишь ограничить фразеобразовательные возможности латинского языка, но они не могли лишить его подобных возможностей. Это отмечает и Р. А. Будагов, подчеркивая, что «... латинские словосочетания редко отличались устойчивостью и были большей частью свободными или открытыми, однако сама возможность формирования прямых словосочетаний не исключалась»<sup>13</sup>.

Здесь важно отметить, что все сказанное выше об особенностях латинского словосочетания, ограничивавших образование фразеологических единиц, относится исключительно к литературному языку. Однако известно, что наряду с литературным латинским языком существовал и его разговорный вариант — народная латынь (*sermo vulgaris*), которая явилась основой формирования романских языков.

Известно, что письменных памятников, созданных целиком и полностью на народной латыни, не существует, но элементы этой латыни встречаются в различных текстах литературной латыни, в научных трудах, в частной переписке и т. д.<sup>14</sup>. Но и фрагментарные сведения о народной латыни, содержащиеся в этих источниках, достаточно убедительно показывают, что народная латынь была гораздо богаче фразеологизмами, чем литературный язык. В этой связи представляет интерес следующее высказывание И. М. Тронского: «Одним из наиболее чувствительных пробелов всей нашей информации об истории латинского языка является скудность данных о народной разговорной речи, характерные черты, которой нередко остаются за порогом книжного стиля»<sup>15</sup>. К этим чертам народной латыни, несомненно, относилась и фразеология.

Какие условия благоприятствовали развитию фразеологии в народной латыни? Можно ли допустить, что те факторы, которые ограничивали фразеобразовательные возможности литературного языка классического периода, не существовали в народной латыни? Такой вывод, на наш взгляд, был бы неправильным. Как мы видели выше, причины, обусловившие более неустойчивый характер латинских словосочетаний, вытекали из особенностей самой грамматической системы латинского языка. А эта система, несмотря на все различия между литературной латынью и народной латынью, была для них единой<sup>16</sup>. Поэтому было бы научно не обоснованным утверждать, что образование словосочетаний в народной латыни определялось принципиально иными закономерностями и правилами, чем в литературной латыни. Подобное мнение тем более неправомочно, что большинство романистов XX в. (В. Мейер-Любке, Г. Рольфс, Г. Шмек, Н. Г. Корлэтяну и др.) рассматривают народную латынь как разговорный аспект латинского языка, существовавший во все периоды его развития<sup>17</sup>. Наконец, указанное мнение противоречит самим фактам: даже в древней-

<sup>12</sup> Сравнительно-типологическое исследование латинских и французских фразеологизмов — проблема особая, не входящая в задачи нашей статьи.

<sup>13</sup> Р. А. Будагов, *Язык, история и современность*, стр. 277.

<sup>14</sup> См.: Н. Г. Корлэтяну, *Исследование народной латыни и ее отношений с романскими языками*, М., 1974, стр. 104.

<sup>15</sup> И. М. Тронский, *Очерки из истории латинского языка*, М.—Л., 1953, стр. 12.

<sup>16</sup> См.: М. Соһен, указ. соч., стр. 50.

<sup>17</sup> См.: Н. Г. Корлэтяну, указ. соч., стр. 81.

ший период развития латинского языка, когда дифференциация литературной и народной латыни была минимальной<sup>18</sup>, в разговорной речи встречается больше фразеологизмов, чем в литературном языке. В подтверждение можно сослаться на произведения Плавта.

Однако сказанное выше не следует понимать абсолютно, тем более что оно относится преимущественно к классическому периоду латинского языка. Последующее развитие этого языка, сопровождавшееся все большим углублением различий между его литературным и народно-разговорным вариантами<sup>19</sup>, могло создать и действительно создало предпосылки, стимулирующие развитие словосочетаний<sup>20</sup>. Но это уже произошло в более поздний период, когда народная латынь, значительно оторвавшись от литературной, положила начало формированию романских языков.

Итак, на основании изложенного мы можем сказать, что не вообще латинский язык был беден фразеологизмами, а главным образом его письменно-литературный вариант.

Здесь возникает вопрос: если литературная латынь, бывшая одним из богатейших и высоко развитых языков своего времени, не могла создавать в достаточной степени фразеологических единиц, то почему же она мирилась с этим недостатком и не допускала в свои «ряды» множество подобных единиц, имевших широкое распространение в ее разговорном варианте?

Причину этой «невосприимчивости» литературной латыни нужно искать прежде всего и главным образом в тех условиях, которые определили основные направления латинского литературного языка.

Становление и развитие латинского литературного языка с самого начала протекали под влиянием характерной для античного общества иерархии стилей, в которой доминирующее значение имели «высокие» жанры<sup>21</sup>. Это влияние с течением времени все больше усиливалось, поскольку оно было связано с исторически важным процессом нормализации латинского языка, в осуществление которой большой вклад внесли поэт Энний — в период архаической латыни и Цицерон — в период классической латыни<sup>22</sup>. В результате этого процесса определяющими в развитии латинского литературного языка оказались эпос, трагедия и риторика, жанровые особенности которых если и не исключают, то по крайней мере не стимулируют употребление фразеологических единиц. Вот почему у И. М. Тронского были все основания утверждать, что «при строгой стилистической дифференцированности различных жанров античной литературы особенности разговорной речи (в том числе и фразеологизмы. — А. Н.) могли проникать только в „низменные“ жанры с бытовым содержанием. . .»<sup>23</sup>. К таким жанрам причислялись произведения комедийного содержания — комедия, сатира, фарс и т. п.

Более высокая частотность употребления фразеологических единиц в «низменных» литературных жанрах объясняется в основном генеалогической близостью фразеологии с этими жанрами. Дело в том, что по своему

<sup>18</sup> См.: M. Cohen, Notes de méthode pour l'histoire du français, Moscou, 1958, стр. 15.

<sup>19</sup> Ср. у Н. Г. Корлэтяну: «Различие между литературной латынью, графически фиксированной и литературно обработанной преимущественно в классический период (I в. до н. э. — I в. н. э.), и народной латынью, находящейся всегда в движении и развитии, все больше и больше проявляется с течением времени по мере отдаления от классического периода» (Н. Г. Корлэтяну, указ. соч., стр. 82).

<sup>20</sup> Р. А. Будагов, Язык, история и современность, стр. 277—279.

<sup>21</sup> См. статью И. М. Тронского о латинском языке в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1967, т. IV, стр. 47).

<sup>22</sup> Н. Г. Корлэтяну, указ. соч., стр. 53.

<sup>23</sup> И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 12.

«социальному происхождению» фразеология глубоко народная дисциплина. Подавляющее большинство фразеологизмов рождается в обиходной речи народа. Народная речь — это тот неиссякаемый источник, который постоянно питает фразеологию. Действительно, латинская фразеология, как и фразеология других языков, состояла из устойчивых сочетаний преимущественно народного происхождения (что не гармонировало с книжным происхождением литературного языка <sup>24</sup>, откуда и его «пренебрежение» языковыми богатствами народа <sup>25</sup>), поэтому она была особенно созвучна комедийному жанру <sup>26</sup>, своими корнями также уходящему в народ и обладающему гораздо большими возможностями создания речевых и бытовых ситуаций, которые благоприятствуют широкому употреблению фразеологических единиц <sup>27</sup>. Вот почему во все периоды развития латинского языка фразеология представлена прежде всего и больше всего в литературных произведениях комедийного и сатирического содержания.

Из предыдущего изложения можно заключить, что фразеология, имея преимущественно народное происхождение, была широко представлена в разговорном варианте латинского языка. Но скудность нашей информации не позволяет воссоздать верную картину народной латыни и ее фразеологической системы.

Здесь возникает новая проблема. Если народная латынь, которая лежит в основе французского языка, обладала богатой фразеологией, то значит ли это, что во французский язык могло проникнуть в период его формирования большое количество народно-разговорных латинских фразеологизмов, не зарегистрированных в письменных памятниках и поэтому не воспринимавшихся как латинские? Иными словами, объясняется ли низкий удельный вес фразеологических единиц латинского происхождения во французском языке только отсутствием более полных сведений о фразеологии народной латыни и не оказался ли бы этот удельный вес намного выше принятого нами за максимальный (6,1%), если бы мы имели подобные сведения?

Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего нужно уяснить следующее. Хотя народная латынь по своим специфическим особенностям значительно отличалась от литературного языка, сама она тоже не была однородной.

Народная латынь, по мнению большинства романистов, как общенародный разговорный язык существовала во все периоды истории латинского языка, употреблялась всеми слоями населения и на всей территории Римской метрополии <sup>28</sup>. Возможность массового проникновения устойчивых сочетаний из этой латыни во французский язык по причинам, о которых будет сказано ниже, нужно считать исключенной. Об этом говорят

<sup>24</sup> Ср.: A. Darmesteter, *Traité de la formation de la langue française*, в кн.: A. Hatzfeld, A. Darmesteter, *Dictionnaire général de la langue française*, I, Paris, 1890—1900, стр. 8.

<sup>25</sup> Ср. у Н. Г. Корляту: «Литературные нормы (народной латыни.— А. Н.) не допускали или обходили определенные лексические единицы, бытующие в речи широких народных масс („in vulgo“») (указ. соч., стр. 225). Сказанное в полной мере относится и к фразеологическим единицам, которые, как уже отмечалось, являлись одной из характерных черт народной латыни.

<sup>26</sup> Ср.: L. de Lincy, *Le livre des proverbes français*, I — Introduction, Paris, 1842, стр. LXXIX.

<sup>27</sup> Не случайно поэтому, что «больше всего народно-разговорные элементы, особенно крестьянские слова и обороты (*sermo rusticus*), использовались в народных комедиях, известных под названием *fabulae Atellani*» (Н. Г. Корляту, указ. соч., стр. 104).

<sup>28</sup> См.: E. Richter, *Der innere Zusammenhang in der Entwicklung der romanischen Sprachen*, Halle, 1911, стр. 77. См. также: Н. Г. Корляту, указ. соч., стр. 81.

и факты: даже из многочисленных народно-разговорных фразеологических оборотов, употребленных Плавтом, Теренцием, Апулеем, Марциалом, Ювеналом и Петронием, во французский язык перешли лишь единицы, а «выжили» и того меньше.

Иначе обстоит дело с народной латынью, развивавшейся на территории различных стран Римской империи. Этот язык отличался не только от литературного, но и от общенародного разговорного латинского языка, поскольку в каждой стране имел свои специфические особенности во всех областях, в том числе и в области фразеологии. Такие особенности были и в народной латыни, распространенной в Галлии. Здесь народная латынь, развиваясь на местной почве (под определенным влиянием субстрата) и все более удаляясь от литературного языка, накапливала элементы нового качества, заложившие основы формирования нового языка. Не подлежит сомнению, что эта латынь, особенно после III в. н. э. и в галло-романский период (V—VIII вв.), обладала своей фразеологией, значительная часть которой перешла во французский язык. Но эту фразеологию мы с полным основанием можем считать исконно французской, ибо она возникла на национальной основе, как результат качественных изменений, которые привели к возникновению французского языка.

Тем самым мы вплотную подошли к вопросу о том, что является основной причиной столь низкого удельного веса французских фразеологизмов, заимствованных из латинского языка как литературного, так и народно-разговорного. Поскольку с самого начала и в соответствии с принятыми в данной статье принципами исследования проблема генезиса фразеологии рассматривается нами соотносительно с генезисом лексики, то здесь мы также прибегнем к сопоставительному анализу, который позволит нам вскрыть и объяснить основную причину внушительной разницы между удельным весом французских лексических единиц (слов) латинского происхождения, с одной стороны, и фразеологических единиц аналогичного происхождения — с другой. Такой анализ показывает, что в плане генезиса фразеологии существенно отличается от лексики. Подобное утверждение, безусловно, требует обоснования, что мы и попытаемся сделать ниже.

Лексика и фразеология в языке имеют общее назначение — обеспечить акт коммуникации между людьми. Но делают они это разными средствами. Поскольку «экспрессивно-эмоциональная функция языка так же существенна, как и интеллектуально-коммуникативная»<sup>29</sup>, то между лексикой и фразеологией установлено довольно четкое «распределение обязанностей»: первая обслуживает в основном интеллектуальную сферу языка, а вторая — преимущественно эмоциональную. В соответствии с этим слово выполняет в языке, как правило, номинативную функцию, между тем как фразеологизму свойственна функция образно-экспрессивной характеристики.

Таким образом, слово возникает прежде всего в связи с процессом номинации, для того чтобы называть какое-нибудь новое понятие или новую вещь<sup>30</sup>. Но гораздо важнее то, что во многих случаях невозможно определить, почему слово связывается именно с этим понятием, а не с другим<sup>31</sup>. В этом проявляется одно из характерных свойств слова как цельнооформленной языковой единицы — его произвольность.

О произвольности языкового знака писали многие видные языковеды (Ф. де Соссюр, Ш. Балли, С. Ульманн и др.), которые отмечали преимуще-

<sup>29</sup> S. Ullmann, Précis de sémantique française, Berne, 1959, стр. 147.

<sup>30</sup> Ср. у А. Доза: «...главное основание для образования и существования неологизмов — это необходимость выражения новых понятий и вещей» (А. Доза, История французского языка, М., 1956, стр. 127).

<sup>31</sup> См.: В. Г. Гак, Сопоставительная лексикология, М., 1977, стр. 34.

ственно немотивированный характер французских слов и их тенденцию к утрате мотивированности<sup>32</sup>. Правда, эта точка зрения не полностью разделяется всеми романистами. В. Г. Гак справедливо подчеркивает необходимость дифференциации различных разновидностей и ступеней мотивированности слова<sup>33</sup>.

Обычно считается, что производное или сложное слово всегда мотивировано, так как его значение обусловлено значениями сочетающихся в нем элементов<sup>34</sup>. Следует, однако, учесть, что сами эти элементы в их исходной форме, как правило, являются немотивированными. Так, например, если французское производное слово *maisonnette* и его русский эквивалент *домик* осмысливаются как мотивированные, поскольку суффиксы *-ette* и *-ик* в них указывают на малые размеры данного строения, то ни значащие (вещественные) части этих слов (*maison* и *дом*), ни присоединяемые к ним суффиксы, взятые отдельно, не являются мотивированными. То же самое можно сказать о сложных словах. Во французском слове *plafond* «потолок» отчетливо выделяются оба элемента *plat* и *fond*, но сами эти элементы в их исходной форме не мотивированы.

Следовательно, значение производного или сложного слова мотивировано лишь в той мере, в какой оно является суммой значений отдельных частей этого слова. Факты показывают, что значение производной и сложных слов далеко не всегда вытекает из значений составляющих их элементов. В этом случае, разумеется, нельзя говорить о мотивированности. Ср. *maintenant* «сейчас» (от *main* «рука» и *tenant* «держа» — букв. «держа руку»); *beaucoup* — «много» (от *beau* «хороший» и *coup* «удар» — букв. «хороший удар»); *toutefois* «все-таки, тем не менее» (от *toutes* — «все» и *fois* «раз» — букв. «все разы») и т. д.

Однако если при определении мотивированности сложных и производных слов могут еще быть спорные случаи, то немотивированность простых (корневых) слов с первичным значением, приобретаемым ими в момент возникновения в языке, не вызывает никаких сомнений. Именно эти слова, имеющие совершенно самостоятельные основы и значения и не связанные (подобно производным словам) какими-нибудь ассоциациями с другими словами, соотносимы в плане генезиса с фразеологизмами, которые также возникают как автономные единицы языка, как правило, безотносительно к другим фразеологическим единицам<sup>35</sup>.

Немотивированность простого слова связана с тем, что его внутренняя форма не осмысливается, вследствие чего она не вызывает никаких ассоциаций у говорящих. Такое слово не более чем набор звуков, получающий значимость в языке постольку, поскольку он связывается с определенным понятием. По этой причине и говорящие проявляют определенную индифферентность к появлению новых слов в языке, ибо они лишены возможности выразить свое отношение к данному факту. Возникновение нового слова вызвано объективной причиной — необходимостью наименования новых понятий, явлений, предметов и т. д. Этот процесс происходит независимо

<sup>32</sup> См.: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 129; Ш. Бальп, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 372; S. Ullmann, указ. соч.; Э. Н. Левит, Очерки по лексикологии современного французского языка, М., 1969, стр. 63.

<sup>33</sup> См.: В. Г. Гак, указ. соч., стр. 34—36.

<sup>34</sup> См. там же, стр. 34.

<sup>35</sup> Нужно сказать, что хотя во французском языке можно отметить некоторое количество производных фразеологических единиц, возникших на базе других фразеологизмов (ср. *mettre en oeuvre* — *mise en oeuvre*, *prendre position* — *prise de position* и др.), в целом «фразообразование», в отличие от словообразования, для него нехарактерно.

от воли отдельных индивидуумов <sup>36</sup> (хотя они и могут в какой-то степени повлиять на него) и обусловлен потребностями всего языкового коллектива, являющимися основным фактором развития всякого языка <sup>37</sup>.

Индифферентность языка (точнее его носителей) к внутренней форме слова подтверждается и тем, что для наименования одного и того же предмета в различных языках, как родственных, так и неродственных, пользуются разными словами. Ср. русск. *стол*, нем. *Tisch*, франц. *table*, исп. *mesa* и т. д. Но все эти слова одинаково успешно служат той цели, ради которой они возникли.

В отличие от внутренней формы слов, внутренняя форма фразеологизмов, возникающих как образно-мотивированные <sup>38</sup> единицы языка, ясно ощущается говорящими, вызывая определенные ассоциации в их сознании, что дает возможность этим говорящим выразить свое отношение к данным единицам еще в их потенциальном состоянии. От положительной или отрицательной реакции говорящих зависит, станет ли данный потенциальный фразеологизм единицей языка или нет. Вот почему в образовании фразеологической единицы субъективные (этнолингвистические и этнопсихологические) факторы играют гораздо большую роль, чем в образовании слова.

Изложенное выше позволяет нам, наконец, ответить на интересующий нас вопрос. Образно-мотивированный характер фразеологической единицы в момент ее возникновения, связанный с особенностями внутренней формы этой единицы и обуславливающий активное участие экстралингвистических факторов в ее образовании, — вот основная причина, определившая низкий удельный вес фразеологизмов латинского происхождения во французском языке и вместе с тем ярко выраженное национальное своеобразие французской фразеологии.

Этой же причиной обусловлен противоположный генезису фразеологизмов процесс — их отмирание. Причем и здесь фразеология значительно отличается от лексики.

Поскольку слово возникает для того, чтобы называть какое-нибудь новое понятие, оно в языке бьет до тех пор, пока не устареет и не исчезнет само это понятие. Таким образом, отмирание слова и обозначаемого им понятия является взаимообусловленным процессом, подчиняющимся четкой закономерности и связанным с функциональной природой слова как номинативной лингвистической единицы.

Иные закономерности определяют отмирание фразеологических единиц. Хотя исчезновение какого-нибудь понятия автоматически ведет к отмиранию соответствующего лингвистического знака (слова или фразеологизма), факты показывают, что фразеологизмы, как правило, выходят из употребления независимо от обозначаемых ими понятий, «не дожидаясь» их исчезновения. Дело в том, что, поскольку в основе значения фразеологической единицы лежит определенный образ <sup>39</sup>, ее жизнь в языке продолжается до тех пор, пока не устареет этот образ. Следовательно, фразеологическая

<sup>36</sup> Ср. у Ф. П. Филина: «...язык очень мало поддается сознательному регулированию и логическому упорядочению» (Ф. П. Ф и л и н, Проблема социальной обусловленности языка, «Язык и общество. Тезисы докладов», М., 1966, стр. 5).

<sup>37</sup> Ср.: Р. А. Б у д а г о в, Проблема развития языка, М., 1965, стр. 36.

<sup>38</sup> Не следует смешивать о б р а з (или о б р а з н о с т ь) фразеологизма с м о т и в а ц и е й этого образа. Мы считаем все образные фразеологизмы мотивированными, хотя характер их мотиваций может быть неодинаковым. Мотивация образной фразеологической единицы может быть реальной (объективной) или ложной (субъективной). См. об этом: А. Г. Н а з а р я н, Опыт лингвистической интерпретации образности фразеологических единиц (на материале французского языка), в кн.: «Проблемы изучения иностранных языков», изд. УДН, М., 1974, стр. 3—20.

<sup>39</sup> См.: Т. З. Ч е р д а н ц е в а, Язык и его образы (Очерки по итальянской фразеологии), М., 1977, стр. 84.

единица выходит из употребления не потому, что устаревает обозначаемое ею понятие, а потому, что она утрачивает свою актуальность как образно-экспрессивное средство выражения на данном историческом этапе развития языка.

Все сказанное позволяет уяснить причины неравномерного по объему и темпам обновления лексического и фразеологического составов языка.

Будучи номинативными средствами языка, связанными с процессом познания, слова выражают понятия, более устойчивые и долговечные. Если слово *стол* давно бытует во многих языках мира, то это потому, что обозначаемый им предмет до сих пор употребителен. Важно также отметить, что слова выражают не просто понятия или предметы, а к л а с с ы понятий и предметов. Именно поэтому слово *стол* сохранилось в языке, несмотря на то, что со времени его возникновения данный предмет подвергся значительным изменениям, приобрел новые и разнообразные формы.

Фразеология же, в развитии которой, как уже отмечалось, решающую роль играют экстралингвистические факторы, гораздо больше подвержена изменениям, ибо обслуживаемая ею сфера языка связана преимущественно с чувствами и эмоциями говорящих. Фразеологизмы, будучи образно-экспрессивными средствами, выражают прежде всего о т н о ш е н и е говорящего к данному понятию. А отношение к понятию чаще и быстрее меняется, чем само это понятие; отсюда — более ускоренное и интенсивное обновление фразеологического состава языка по сравнению с лексическим составом. Этот факт находит свое подтверждение в историческом развитии французской фразеологии, обновление которой происходило и сейчас происходит в основном за счет структурно-семантических типов фразеологических единиц, обладающих яркой образностью, и в гораздо меньшей степени — за счет фразеологических единиц, в силу своих структурно-семантических и функциональных особенностей лишенных подобной образности (например, одновершинные фразеологизмы, выполняющие в языке модальную и служебную функции).

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

## О ЖУРНАЛЕ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (1958—1978)

Прошло 20 лет с начала публикации журнала «Филологические науки», выходящего в серии «Научных докладов высшей школы» и являющегося органом Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

Два десятилетия — не такой уж большой срок в жизни периодического издания. Но за сравнительно короткий период этот журнал значительно обогатил филологическую литературу: в нем напечатано около двух тысяч статей по русскому и славянскому языкознанию, по романско-германской филологии, по русскому и зарубежному литературоведению, по восточной и классической филологии<sup>1</sup>. Широкий отраслевой и тематический диапазон публикаций чрезвычайно затрудняет положение тех, кто намеревается высказаться по поводу этого журнала. Единственная же возможность выделить те статьи, которые не выйдут за пределы компетенции рецензента, неизбежно привела бы к одностроннему освещению объекта. Поэтому такой отбор был бы некорректным, не способствующим созданию целостного представления о работах, опубликованных в данном периодическом издании. Не останавливаясь на частностях, на фактах единичных и экстраординарных, можно и теперь с уверенностью сказать, что почти все статьи, напечатанные в «Филологических науках», стоят на достаточно высоком академическом уровне. Однако лишь будущие историки нашей науки, не игнорирующие такой важный источник, каким является филологическая периодика, с должным вниманием рассмотрят этот журнал, дадут анализ его печатной продукции с последующей аргументированной оценкой. Задача эта сложна. Ее можно решить при совместной деятельности специалистов в области сла-

вянской, германской, романской, античной и восточной филологии. Но бывает, что трудная задача решается легче, чем «простая». Именно с таким случаем сталкивается автор, ограниченный объемом короткой заметки, посвященной журналу «Филологические науки» в связи с отмечаемой юбилейной датой: он принужден сказать очень мало о многом. Но вряд ли правы те, кто утверждает, что лучше не говорить ничего, чем сказать мало о том, о чем следует говорить много и обстоятельно.

Журнал «Филологические науки», продолжая лучшие традиции отечественной филологии, занимает в научной периодике прочное и достаточно почетное место. В этом легко убедиться, обратившись к филологической литературе дореволюционного периода и сравнивая данный журнал с современными периодическими изданиями соответствующего профиля.

Индивидуальный облик филологических журналов, дающий каждому из них право на самостоятельное бытие, создается предметно-тематическим содержанием и адресованностью определенному кругу читателей. Так, например, «Русский филологический вестник» был рассчитан на специалистов, занятых славянской филологией, интересующихся проблемами сравнительного языковедения и вопросами общей лингвистики. «Филологические записки» предназначались прежде всего для преподавателей средних учебных заведений, что давало о себе знать в повышенном внимании к темам, которые связаны с педагогической деятельностью учителей-словесников. Не чуждался методики, педагогики и журнал «Филологическое обозрение». Но, в отличие от двух упомянутых изданий, этот печатный орган посвящается филологии античной.

Историограф отметит, что интенсивно протекавший в течение нескольких последних десятилетий процесс расчленения филологии отражает движение науки в направлении специализации: дифферен-

<sup>1</sup> В указанное количество включаются и *personalia*, и рубричные обзоры, которые группируются под рубрикой «Научная жизнь».

цированность научного знания приводит к оформлению отдельных разделов науки в относительно самостоятельные дисциплины со своими специфическими задачами и методами исследования. А узкая специализация, несомненно, обеспечивает детальное и углубленное знание определенного предмета действительности.

Обращаясь к современной филологической периодике, мы замечаем, что большинство изданий различается по профессиональной ориентации, по разработке одной из отраслей филологии. Лингвисты располагают таким академическим органом, как журнал «Вопросы языкознания». В распоряжении литературоведов есть журнал «Вопросы литературы», освещающий проблемы теории, истории литературы, литературной критики. Он издается Институтом мировой литературы имени М. Горького АН СССР и Союзом писателей СССР, что в какой-то мере определяет и предопределяет состав читательской аудитории. Отчетливо выраженную профессиональную направленность имеют журналы «Русский язык в школе», «Русский язык в национальной школе», «Иностранные языки в школе», «Литература в школе» и др., где публикуются серьезные научные статьи, но прежде всего учитываются интересы и запросы преподавателей языка и литературы в средних учебных заведениях.

Дифференциация наук, позволяющая углубленно исследовать объекты действительности, создает условия для интеграции научных знаний, формирования наук, изучающих «свойства и отношения, общие для большого числа разнокачественных объектов»<sup>2</sup>. Интеграция знаний на основе их дифференциации, «стирание резких граней, разделяющих разные отрасли науки»<sup>3</sup>, является тенденцией доминирующей. Связь же лингвистики и литературоведения выводится из связи самих объектов исследования: язык функционирует как строительный материал произведений литературного искусства. Как раз филология, эта комплексная наука, исключает представления о резких разграничительных линиях между отраслями, в нее входящими, что, разумеется, не влечет за собой полной утраты их специфических характеристик. Современный статус филологии поддерживается той закономерностью, о которой у нас была речь и которая состоит в интеграции научных знаний.

Эти процессы отражают журналы «Филологические науки» и «Известия АН СССР. Серия литературы и языка». Сближает их не столько практика комплексного филологического анализа объектов,

сколько совмещение в них работ, посвященных литературоведению, лингвистике и (в сравнительно редких случаях) науке об устном народном творчестве.

Как показывают сопоставления, композиция «Филологических наук» в разные годы варьировалась и была более разнообразной, чем построение «Известий АН СССР»: в интересующем нас журнале, наряду с постоянными рубриками, появлялись новые разделы, кроме тех, которые связаны со знаменательными датами и событиями общественно-политической жизни (ФН, 1971, 5; 1976, 1; 1977, 5 и др.) или с юбилеями писателей (ФН, 1960, 4; 1964, 1, 2; 1971, 6; 1974, 4 и др.). Ряд статей объединялись общими названиями, такими, как «Из истории литературных связей», «Из истории языкознания», «Вопросы преподавания в высшей школе», «В помощь преподавателю вуза», «Из опыта преподавания», «По страницам зарубежной науки», хотя другие обзорные статьи не были выделены в особую группу. Вместе с постоянной рубрикой «Критика и библиография» иногда публикуются статьи, озаглавленные «Коротко о книгах», что, вероятно, объясняется описательно-аннотационным характером напечатанных здесь заметок, хотя и эта форма является разновидностью жанра высказываний о научных трудах. К нерегулярным публикациям относится также раздел «Дискуссии и обсуждения». Название это, принятое и в других журналах, нельзя считать безукоризненным: оно тавтологично, так как сема «обсуждение» входит в семантическую структуру слова «дискуссия», способного выступать синонимическим дублетом к русскому «обсуждение». Правда, дискутируются только спорные вопросы. Но разве обсуждению подлежит лишь то, что предстает аподиктической истиной? Не всегда легко установить жанровые различия между статьями, которые идут то под рубрикой «Публикации и документы», то названы «Материалами и сообщениями» или «Материалами и публикациями». Может показаться странным, что с 1961 — 1964 гг. в отдельную группу, обособленную от других грамматических работ, были выделены статьи, названные «К изучению проблем синтаксиса современного русского языка». Едва ли это обосновывалось вескими теоретическими соображениями или признанием весьма слабой изученности синтаксиса современного литературного языка. Вероятно, причину следует искать в факторах субъективных, поскольку в выборе и оценке научных задач руководящая роль принадлежит индивидуальности, на что давно указывал Г. Шухардт<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> «Философская энциклопедия», 3, М., 1964, стр. 569.

<sup>3</sup> Там же, стр. 571.

<sup>4</sup> Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., 1950, стр. 276.

Интересующему нас периодическому изданию присуща пестрота тематики. По-видимому, это бывает неизбежным признаком собственно филологического журнала. Ведь литературоведение как наука многоотраслевая включает в себя методологию и теорию литературы, историю литературы многих народов и литературную критику. Количество же предметов в литературоведческом изучении столь велико, что не поддается исчислению. Также и лингвистика состоит из ряда дисциплин, изучающих различные языки в разных аспектах и с помощью разнообразных приемов, нацеленных на познание явлений в их генезисе, историческом развитии, современном состоянии, структурных и функциональных характеристиках и пр. При огромном количестве предметов филологического изучения возникает опасность мелкотемья. Его не всегда мог избежать и журнал «Филологические науки». Это вызвало необходимость обращения редколлегии к «потенциальным» авторам с настоятельной просьбой разрабатывать «большие проблемы современного языкознания и литературоведения» (ФН, 1970, 4). Еще в 1959 г. редколлегия намеревалась организовать авторский коллектив и упорядочить его деятельность, предлагала читателям участвовать в обсуждении наиболее актуальных проблем лексикологии, сравнительно-исторического языкознания, стилистики, вопросов об отношении между языком и речью, проблемы историзма на современном этапе развития науки о языке, вопросов фонологии, морфологии, синтаксиса. Была и детализирована конкретная тематика (ФН, 1959, 3). Позднее в редакционной статье, озаглавленной «Некоторые актуальные вопросы советской филологии», было сказано, что требует дальнейшей разработки проблема «национального языка в его взаимоотношениях с языком общенациональным и языком литературным», причем, ставя эту задачу, статья намечала путь определенного ее решения. Дальше мы читаем: «Отрицать понятие национального языка, как „дублирующее“ понятие литературного языка, неверно, так как эти понятия отнюдь не тождественны, хотя и взаимодействуют. Как историческое понятие литературный язык может характеризоваться разной степенью „обработки“ и разной степенью „закрепленности“ его норм, а как понятие типологическое он выступает в обработанной форме, всегда имеет те или иные, сознательно осмысленные (sic! — Р. Г.) нормы. Между тем общенациональный язык оформляется лишь на определенном уровне развития самой нации, говорящей на данном языке» (ФН, 1971, 2, стр. 7—8). В этом высказывании, призванном ориентировать читателя, многое остается неясным. И формулировка задачи, которая, по мнению редколлегии,

нуждается в дальнейшей разработке, предопределяет один способ ее решения, тогда как в действительности он не является единственно возможным, безукоризненным и бесспорным. Прежде всего совсем не так очевидна допустимость различать литературный язык как «историческое понятие» от литературного языка как «понятия типологического» по наличию у одного «разной степени обработки и разной степени закрепленности... норм», а у другого — по обработанности формы и обладанию «сознательно осмысленными нормами»: нормы так или иначе предстают их общим релевантным признаком. Однако нормы не являются прерогативой языка литературного. Они есть и в территориальных диалектах. Носители местных говоров их осознают, сравнивая свой диалект с диалектами, бытующими на соседней территории, что не раз отмечалось диалектологами-наблюдателями. Трактовка же литературного языка как категории исторической не позволяет идентифицировать литературный язык донационального периода и язык общелитературный, оформившийся с появлением нации, когда он стал репрезентировать национальный язык. «Отрицать понятие национального языка как „дублирующее“ понятие литературного языка» нельзя хотя бы потому, что национальный язык есть полиструктурное образование: кроме языка общелитературного, в него входят пережиточно сохраняющиеся местные диалекты и диалекты социальные. Термин же «общенациональный язык» не служит номинацией реально существующего феномена по крайней мере применительно к языковым отношениям в классово-дифференцированном обществе, где владение литературно-кодифицированным языком входит в ряд социальных характеристик преимущественно господствующих классов, а владение местными диалектами является условием принадлежности говорящих к классам подчиненным. Вероятно, из всех компонентов национального языка можно выделить то, что их объединяет, и назвать созданный таким способом конструкт «общенациональным языком». Но трудно представить себе, что набор этих элементов, «вынесенных за скобки», отражает реальную языковую действительность как реализацию языка и речи<sup>5</sup>.

Считая спорным постулирование понятия «общенациональный язык» и отыскивая пути решения задачи, поставленной в этой редакционной статье, можно было бы признать «обработанность» (в смысле Ф. де Соссюра)<sup>6</sup> релевантным признаком

<sup>5</sup> R. L. W a g n e r, Introduction à la linguistique française, Deuxième tirage, Genève — Lille, 1955, стр. 80—81.

<sup>6</sup> Ф. де С о с с ю р, Труды по языкознанию, М., 1971, стр. 231.

литературного языка, что позволяет видеть его проявления в поэмах Гомера, как это делает Ф. де Соссюр, и в фольклорных произведениях, создаваемых на базе местного диалекта и интерлокального просторечия. Кроме того, допустимо различение «литературности» в аспекте речи — и тогда любой монолог, противопоставленный импульсивной реплике, можно квалифицировать как «литературное произведение в зачатке» (Л. В. Щерба) — или в аспекте языка — и в таком случае общелитературный язык как компонент языка национального будет противопоставляться местным диалектам по различительным признакам всех уровней языковой структуры.

Таким образом, постановка сложных теоретических проблем как одна из форм общения редколлегии с читателями бывает полезной, если выдвигаемые идеи выражены четко, если еще не вполне ясные понятия, о которых идет речь, не осознаются как твердо установленные и если в самой формулировке проблемы нет указанной лишь на одно возможное ее решение.

Теоретические, методологические задачи журнала, выдвинутые редколлекцией еще в 1962 г., остались остро актуальными до наших дней: «обобщать новейшие достижения литературоведения и языкознания, вести активную борьбу с буржуазными и ревизионистскими концепциями в науке о литературе и языке», исследовать структуру языка, обеспечивающую продуктивную работу по сравнительно-историческому языкознанию, стилистике, языку художественной литературы и прикладной лингвистике. К магистральным задачам советской лингвистики отнесено и дальнейшее изучение таких металингвистических проблем, как «язык и общество», «язык и мышление», а также общетеоретический вопрос об основных законах развития языка и пр. (ФН, 1962, 1, стр. 3).

Тогда же отмечалось, что в журнале «слабо представлены новые направления... такие, например, как ... структурные методы в лингвистике, машинный перевод и др.» (ФН, 1961, 3, стр. 190). Констатация этого факта ответственным редактором «Филологических наук» Т. П. Ломтевым направлялась на стимулирование работ в данной области, что соответствовало логике развития научных знаний. Такая позиция Т. П. Ломтева обосновывалась пониманием этой логики развития науки, которая проникает во внутреннюю сущность объекта, доводит познание закономерности до раскрытия структуры с помощью структурных методов научного исследования и дает изображение объектов как сложной системы взаимосвязанных элементов.

Выдвинутая акад. В. В. Виноградовым еще в конце 50-х годов идея контактов между лингвистикой и литературоведением, необходимых при исследова-

ниях языка (стиля) художественной литературы, почему-то не нашла откликов в программах, выдвигаемых редколлекцией «Филологических наук». Но некоторые авторы все же шли в данном направлении, понимая, что «современный этап литературоведческой науки требует масштабы и синтетичности исследования, глубоких и широких теоретических обобщений» (ФН, 1971, 1, стр. 97). Мысль о должной синтетичности изучения художественной литературы, пожалуй, совпадает с идеей комплексного анализа, выраженной в статье «Высокое назначение филологии», где редакция дает направление научной деятельности литературоведов, заявляя, что «в настоящее время система теоретико-литературных понятий представляет собой достаточно детализированный и гибкий инструментарий, дающий возможность исследовать как социально-историческую почву содержания литературного произведения, так и отдельные компоненты его композиционно-стилистической структуры, не разрывая эти различные аспекты, но прослеживая их соотнесенность» (ФН, 1976, 3, стр. 4—5). Закономерная тенденция к синтезированию лингвистики и литературоведения как научных дисциплин, родственность которых выводится из связи самих объектов исследования, не нашла полного выражения в предлагаемой формулировке: упомянут не план выражения *in concreto*, а лишь «отдельные компоненты... композиционно-стилистической структуры» литературно-художественного текста. Да и анализ плана содержания не сводим к исследованию его «социально-исторической почвы».

Признание филологии комплексной наукой<sup>7</sup> столкнулось с традиционным «разделением труда» между литературоведами и лингвистами в практике исследования литературно-художественных текстов. Традиция стала инерцией.

Утверждают, что языкознание и литературоведение, являясь в университетских курсах «основой филологического образования», должны выработать «лингвистическое и литературоведческое сознание», создать у учащихся «лингвистическую и литературоведческую концепцию» (ФН, 1974, 4, стр. 121). Но филологическое образование не сводимо к простому их объединению. Установка учебных программ на «сочетание общетеоретического фундаментального образования с более узкой специализацией», при которой сохраняется автономное положение науки о языке и науки о лите-

<sup>7</sup> Р. А. Будагов, Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки, в кн.: «Сборник докладов и сообщений Лингвистического общества, IV, Калинин, 1974; его же, О некоторых общих проблемах филологии, ФН, 1976, 1.

ратуре, по-видимому, должна содействовать оформлению общей филологической концепции. Она призвана устранить тот разрыв между «лингвистическим и литературоведческим сознанием», на который справедливо указывает в цитируемой статье К. В. Горшковой. И только в 1977 г. редколлегия декларировала идею объединения лингвистики с литературоведением «в рамках одной научной дисциплины — филологии» (ФН, 1977, 1, стр. 125). Такое выступление в поддержку филологии как науки комплексной направлялось против тех читателей, кто предлагал выпускать этот журнал с расчетом, чтобы в одних номерах публиковались статьи по литературоведению, а в других — по лингвистике, что еще больше укрепило бы представление о резких разграничительных линиях между ними (ФН, 1964, 1, 2; 1975, 2; 1977, 1, см. информацию об обсуждении журнала).

Судя по публикациям, редколлегия журнала «Филологические науки» принимает диалектический метод как подлинно научный метод исследования и не считает криминалом приемы изучения предмета одной науки методом другой, не проявляет склонности рекомендовать одну трактовку объектов как единственно правильную, что объяснимо отчетливым пониманием общих признаков современной науки, принципов и тенденций ее развития. Нет опасений допускать спорные интерпретации фактов и столкновения разных точек зрения в поисках

системы представлений, наиболее адекватных познаваемой действительности. В частности, поставленная задача «решить ряд теоретических вопросов, связанных со строением языка как знаковой системы» (ФН, 1976, 3, стр. 7), не вступает в конфликт с определением языка как важнейшего средства человеческого общения: знаковость является атрибутом структуры языка, а в ленинском определении языка указывается на его функционирование как социального феномена.

Призвание журнала «отражать все направления вузовской науки в области филологии» (ФН, 1961, 3, стр. 190) позволяет читателям рассчитывать на укрепление связей публикуемых статей с учебными планами филологических курсов, с тематикой лекций, спецкурсов, спецсеминаров. Есть необходимость обсуждать новые программы, рецензировать учебники и учебные пособия. Судить же о состоянии научной работы в вузах можно только по печатной продукции, выпускаемой университетами и пединститутами. К сожалению, она-то и не подвергается критическим оценкам, хотя потребность в рецензировании остается большой и все еще не удовлетворенной.

Журнал «Филологические науки» вступает в свое третье десятилетие. Оно будет ознаменовано новыми успехами этого ценного периодического издания.

*Гельгардт Р. Р.*

**Б. К. Гигинейшвили. Сравнительная фонетика дагестанских языков.**

Ред. Т. В. Гамкрелидзе. — Тбилиси, изд-во Тбилисского ун-та, 1977. 167 стр.

В последние годы заметно повысился интерес к исследованиям по истории дагестанских языков. С дальнейшим изучением фактического материала по прежде малоизвестным науке языкам расширяется и эмпирическая база исследований: предлагаются новые сопоставления, этимологии; описываются новые фонетические процессы; устанавливаются новые звукосоответствия. При этом приходится с сожалением констатировать, что методический уровень ведущейся в этом направлении работы далеко не всегда отвечает современным требованиям дагестановедения. Нет необходимости поэтому говорить о том, насколько актуальной, насколько полезной для дагестановедов является книга Б. К. Гигинейшвили «Сравнительная фонетика дагестанских языков», автора которой выгодно отличает стремление к строгому применению методов компаративистики. В этом отношении книга является закономерным

продолжением и развитием работ по сравнительно-исторической фонетике дагестанских языков таких замечательных ученых-кавказоведов, как Н. С. Трубецкой, Е. А. Бокарев, Т. Е. Гудава.

Во «Введении» (стр. 13—26) кратко характеризуется состояние сравнительного дагестановедения и излагаются основные принципы, лежащие в основе рецензируемой работы. Так, общедагестанский язык рассматривается Б. К. Гигинейшвили как ветвь нахско-дагестанского единства, т. е. предполагается, с одной стороны, довольно близкая генетическая связь нахских и дагестанских языков и, с другой стороны, периодизация распада нахско-дагестанского языка-основы вначале на общенахский и общедагестанский языки. С этим утверждением нельзя, по-видимому, не согласиться. Совокупность фактов, приводимых во «Введении» (неоднозначность рефлексации, своеобразие морфологии и морфонологии нах-

ских и дагестанских языков, лексико-статистические данные), делают данный вывод достаточно обоснованным и убедительным. Вполне справедливо и замечание о том, что метод лексико-статистической датировки М. Сводеша является пока единственным средством определения «периода распада» того или иного праязыка при отсутствии экстралингвистических данных. Однако нельзя забывать и о том, что первоначальная формула М. Сводеша подверглась в последующий период серьезной корректировке, что, естественно, неминуемо отражается на результатах вычислений<sup>1</sup>.

Полемизуя с Е. А. Бокаревым, отпосившим «период распада» общедагестанского языка к эпохе энеолита в Дагестане (III тысячелетие до н. э.), Б. К. Гигинейшвили предлагает датировать данный период эпохой ранней бронзы (примерно XXIII столетие до н. э.). Подтверждением этой гипотезы служит, по его мнению, наличие в общедагестанском названии золота (\**misid*) и серебра (\**arc*). К последнему обстоятельству следует, на наш взгляд, отнестись осторожнее, поскольку, во-первых, удин. и хинал. *mis* «медь», восходящие, как полагает Б. К. Гигинейшвили, к общедагестанскому названию золота, являются очевидными заимствованиями (ср. азерб. *mis* «медь») и, во-вторых, вполне вероятно заимствованный характер лексемы «серебро» (этот вопрос обсуждается на стр. 90—91 рецензируемой книги).

В первой части книги, «Консонантные системы дагестанских языков» (стр. 27—65), последовательно характеризуются системы согласных фонем языков, на материал которых автор опирался при реконструкции фонетики общедагестанского языка: аварского (сев. диалект), андийского, ахвахского, цезского, даргинского (урахинский диалект и диалекты цудахарского типа), лакского (кумухский говор), арчинского, лезгинского (кюринский диалект), агульского (буркиханский говор), рутульского, цахурского, удинского и хиналугского. Особого внимания заслуживает интерпретация лабиализованных и фарингализованных согласных: соответственно, как комплексов  $C + w$  и позиционных вариантов простых согласных в соседстве с фарингализованными гласными. Не касаясь фонологической интерпретации признаков лабиализации и фарингализации (по этому вопросу существует довольно обширная

литература), следует отметить очевидную необходимость их учета в сравнительно-исторических построениях хотя бы с точки зрения возможной позиционной обусловленности некоторых рефлексов.

Вторая часть книги, «Система согласных фонем общедагестанского языка» (стр. 66—141), посвящена непосредственно процедуре реконструкции консонантизма прадагестанского языка-основы. Строгое соблюдение принципа регулярности звуковых корреспонденций заставляет Б. К. Гигинейшвили отказаться от целого ряда «лежащих на поверхности» (но в то же время ложных) лексических сопоставлений, давая одновременно возможность не только достичь максимальной корректности в собственных этимологиях (их предложено, судя по «Введению», 110), но и значительно исправить и дополнить сопоставления своих предшественников — в книге с определенными поправками и дополнениями принято 86 этимологий Н. С. Трубецкого и 64 этимологии Е. А. Бокарева. Надежность предлагаемых в книге реконструкций достигается также, во-первых, предпочтением корням по крайней мере с двумя корневыми согласными; во-вторых, привлечением к сравнению представителей всех групп дагестанских языков или по крайней мере двух «полярных» (например, аваро-андо-цезской и лезгинской) и, в-третьих, позиционным объяснением практически во всех случаях неоднозначности рефлексации. Так, сохранение \**l* в цахурском в некоторых случаях (при обычном переходе \**l* > *w*) объясняется присутствием в корне лабиального согласного; переход \**l* > *r* в аварском увязывается с соседством гласного *e* и т. п. Следует, по-видимому, лишь уточнить некоторые формулировки: например, показатель II класса -*r*- встречается в арчинском языке не только перед согласным (стр. 76), но и в интервокальном положении, ср. *a-b-as* (III кл.), *a-r-as* (II кл.) «делать», «рожать».

По сравнению с предыдущими исследованиями реконструкция прадагестанского консонантизма, предлагаемая в книге, отличается полнотой — например, восстанавливаются с достаточной аргументацией интенсивный глоттализованный \**c*<sup>2</sup>, неглоттализированные латеральные, аффрикаты \**l'* и \**l'*<sup>2</sup>, неинтенсивная вулгарная аффриката \**q*. Это, конечно, не означает, что проведенное исследование не оставляет сомнений по поводу реконструкции отдельных элементов системы общедагестанского консонантизма. Так, по мнению Б. К. Гигинейшвили, не выявляют закономерных корреспонденций «ориентировочные соответствия», на основе которых можно было бы постулировать исконый звонкий спирант \**ʀ*. Отсутствие закономерности в данном случае объясняется, на наш взгляд, тем, что

<sup>1</sup> Ср., например, усложненную формулу, учитывающую такие параметры, как вероятность заимствования, вероятность случайного совпадения и др., в кн.: D. Sankoff, *Mathematical Developments in Lexicostatistic Theory*, «Current Trends in Linguistics», II — Diachronic, Areal and Typological Linguistics, The Hague — Paris, 1973, стр. 103.

в примере, иллюстрирующем вероятные рефлексы \*γ, допущено ошибочное сопоставление лезг. γ<sup>1</sup>ad и таб. har|x<sup>1</sup>ad «ето» с лак. γiγin-t, аг. āl, рут. γāl-d, цах. γəl и уд. žo-γūl «лето». Более правильно увязывать лезгинскую и табасаранскую формы с арч. l<sup>o</sup>an-, аг. x<sup>1</sup>id, рут. x<sup>1</sup>ad «весна». Подключив же к названию лета в других языках арч. q<sup>2</sup>t<sup>2</sup>iq, анд. q<sup>2</sup>inu и ахв. q<sup>2</sup>ino «лето», мы получим рефлексы исконного \*γ<sup>c</sup> (ср. формулу на стр. 83, неясной остается, правда, лакская форма)<sup>2</sup>.

Нет уверенности у Б. К. Гигинейшвили и относительно соответствия авар. x<sup>1</sup>: арч. l<sup>c</sup> (ср. авар. x<sup>1</sup>ul: арч. l<sup>c</sup>ul «надежда», авар. wex<sup>1</sup>: арч. ul<sup>c</sup>- «пастух», авар. x<sup>1</sup>on: арч. l<sup>c</sup>win «семья» и др., см. стр. 123), на основе которого он как будто склоняется к реконструкции прадагестанской фонемы \*x<sup>1</sup>. Однако легко заметить, что необычная аварская рефлексация обусловлена в данном случае лабиализацией исконного \*l<sup>w</sup>.

Лабиализация (+ фарингализация) исконного \*q<sup>2</sup>w играет определенную роль и в «аномальном» соответствии авар. k<sup>2</sup>: анд. k<sup>2</sup>: ахв. k<sup>2</sup>: цез. q: лак. k: арч. q<sup>2</sup>: лезг. q: таб. q: аг. ' : рут. q: хин. k (стр. 137), что видно хотя бы из следующих примеров: авар. ωink<sup>2</sup>: арч. noq<sup>2</sup>ōn «мышь»<sup>3</sup>, авар. k<sup>2</sup>w-ine: арч. oq<sup>2</sup>w-as «глотать» и т. п. Не вызывает сомнения и то, что подобным же образом может быть объяснено наличие некоторых «дублетных» форм в языке-основе (в качестве таковых автор выделяет лексемы с чередованиями «спирант ~ аффриката», «интенсивный ~ неинтенсивный», «свистящий ~ шипящий», «звонкий ~ глухотализованный», «латеральный ~ увулярный»).

Хотя книга посвящена только системе консонантизма, значительное место в ней уделено вопросам, связанным с ударением. Это вполне естественно, так как «без учета первоначального места ударения совершенно невозможно объяснить неоднозначность звуковых соответствий, позиционное распределение рефлексов и, стало быть, те морфофонематические

чередования, которые имели место на разных этапах эволюции дагестанских языков» (стр. 21). Так, например, местом ударения обусловлена, по мнению Б. К. Гигинейшвили, спирализация начальных звонких взрывных в хиналугском и са<sup>1</sup>мурских языках — предполагается, что она произошла здесь перед безударным гласным. За основу прадагестанской акцентной модели выбрана лезгинская модель. На наш взгляд, такой выбор обусловлен исключительно большей изученностью лезгинского ударения по сравнению с другими языками<sup>4</sup>. Однако по мере изучения соответствующих фактов других дагестанских языков дело может оказаться гораздо сложнее. Имеются, например, основания полагать, что дагестанские языки в прошлом располагали совершенно иной организацией просодической системы (сохранившейся, впрочем, в некоторых языках и по сей день): исследования последних лет выявили наличие тональных систем в тиндинском, чамалинском, хваршинском и некоторых других дагестанских языках<sup>5</sup>. При дальнейшем изучении акцентных систем дагестанских языков, по-видимому, вполне вероятной может оказаться и коренная перестройка наших представлений о просодии в прадагестанском языке.

Значительно осложняет процедуру реконструкции наличие в дагестанских языках внутрigrупповых заимствований. По мере возможности автор пытается выявить случаи такого рода. Некоторые из них, однако, довольно спорны. Вряд ли можно, например, согласиться с Б. К. Гигинейшвили в том, что арч. zop и удин. zu «я» являются заимствованиями из других лезгинских языков, если принять во внимание, во-первых, географическое расположение этих языков (периферия лезгинской языковой области) и, во-вторых, собственно семантику данной леммы. С другой стороны, на мысль о возможном заимствовании могут навести некоторые сопоставления Б. К. Гигинейшвили с участием аварского или лакского языков, с одной стороны, и арчинского, с другой. Дело в том, что арчинские формы могут укладываться в формулы звукосоответствий даже будучи заимствованными — в этом случае одним из критериев определения заимствования должно являться, по-видимому, отсутствие соответствующих лексем в остальных лезгинских языках. Предпо-

<sup>2</sup> Данные лексемы были сопоставлены Н. С. Трубецким, см.: N. T r u b e t z k o u, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», XXXVII, Hf. 1—2, 1930, стр. 83.

<sup>3</sup> Отметим попутно, что используемый в книге материал далеко не всегда отмечается фонетической достоверностью. Более всего в этом отношении «пострадали» фарингализованные в рутульском, цахурском и арчинском языках.

<sup>4</sup> Ср. хотя бы: Л. И. Ж и р к о в, Законы лезгинского ударения, «Язык и мышление», X, М.—Л., 1940.

<sup>5</sup> См., например: С. А. С т а р о с т и н, Предварительная типологическая классификация тональных систем дагестанских языков, «Тезисы дискуссии „Типология как раздел языкознания“», М., 1976.

жительно к заимствованной лексике в арчинском, используемой в книге, можно отнести *laʃi* «чеснок» (< лак. *ʃacʃi*), *genuk* «яйцо» (< лак. *kʃunuk*), *gwaci* «кобыла» (< лак. *kʃwacʃa*), *qwati* «дерево» (< авар. *ɣwet*) и др. Следует, конечно, оговориться: проблема аварско-арчинских и лакско-арчинских языковых контактов является весьма сложной и практически неизученной (в первую очередь это касается древнейших заимствований).

Более очевиден заимствованный характер лексемы в случае контактирования неродственных языков. Здесь, надо сказать, сопоставления Б. К. Гигинейшвили почти безукоризненны. Досадными исключениями выглядят уже упоминавшиеся названия меди в хиналугском и удинском, а также лезг. *miɣ* «гвоздь» (стр. 70, приводится под вопросом), ср. перс. *miɣ*, азерб. *myɣ* «гвоздь».

Третья часть, «Трансформация общедагестанской консонантной системы в системы отдельных дагестанских языков», подытоживает проделанную работу по реконструкции общедагестанского консонантизма, являясь в то же время хоро-

шим примером эффективности метода общности инноваций при классификации родственных языков.

Сравнительное дагестановедение, несмотря на свою уже полувекую традицию, таит в себе широкие перспективы дальнейших исследований. Вовлечение в орбиту сравнительно-исторических штудий нового материала<sup>6</sup> позволит скорректировать и уточнить и некоторые сопоставления, предложенные в рецензируемой книге. Вместе с тем, представляется очевидным, что исследование Б. К. Гигинейшвили должно явиться существенным стимулирующим фактором в последующих изысканиях в области сравнительно-исторической фонетики дагестанских языков.

Алексеев М. Е.

<sup>6</sup> В связи с этим необходимо упомянуть коллективный труд дагестанских языковедов «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков» (М., 1971), в котором собран лексический материал всех двадцати шести дагестанских языков.

**«Опыт структурного описания арчинского языка».** В трех томах (I—А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянная, Д. С. Самедов, Лексика. Фонетика, 362 стр.; II—А. Е. Кибрик, Таксономическая грамматика, 346 стр.; III—А. Е. Кибрик, Динамическая грамматика, 321 стр.; «Арчинский язык. Тексты и словари», сост. А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянная, Д. С. Самедов, 392 стр.). — М., изд-во МГУ, 1977. (Вып. 11—14 «Публикаций отделения структурной и прикладной лингвистики. Серия монографий», под ред. В. А. Звегинцева.)

Кавказоведы самых различных специальностей, лингвисты, интересующиеся типологией языков, с несомненным интересом встретят выход в свет монографического описания одного из многочисленных бесписьменных языков Дагестана — арчинского. Интерес этот объясняется рядом причин. Во-первых, арчинский язык всегда привлекал внимание исследователей наличием (и наряду с этим — отсутствием) самых ярких черт чуть ли не всех групп и подгрупп горских дагестанских языков. Во-вторых, такая «непоследовательность» арчинского порождает, вполне естественно, споры относительно генетической его принадлежности внутри дагестанской ветви. Учитывая же, что показание арчинского языка приобретает особую ценность для дагестанской компаративистики именно на сегодняшнем этапе ее развития, выход в свет рецензируемого исследования можно только приветствовать. Ведь в научный оборот вводится обширнейший и надежный (в смысле адекватности описания) языко-

вой материал, во многом дотоле неизвестный.

Методологическая концепция авторов гармонически сочетает в себе формально-описательный и структурно-семантический, а применительно к фонетическим категориям еще и исторический методы анализа. Особо будет сказано ниже о динамическом (не в традиционном понимании этого слова) описании арчинского языка, чему целиком посвящен III том.

Пространное «Введение» (I, стр. 5—41) содержит сведения самого различного характера. Здесь мы видим и карты местоположения арчинцев и общетопографические сведения об арчинцах, сведения по истории изучения арчинского языка...

В четвертом разделе «Введения» (стр. 16—31) вниманию читателей предлагается общая, но достаточно четкая характеристика наиболее существенных типологических признаков арчинского языка. Заметим, что, говоря о шумных латералах арчинского языка в данном разделе (стр. 17), авторам обязательно следовало

бы отметить такое их существенное отличие от аваро-андо-цезских переднеязычных латеральных согласных, как их заднеязычный характер. Этот момент чрезвычайно важен в связи с проблемой «первичности — вторичности» латеральных фонем в дагестанских языках. Иными словами, можно ставить вопрос о гетероганном характере этих рядов согласных.

Точно и убедительно формулируются (стр. 18) основные правила (звуковые последовательности, чередования, ограничения синтагматического свойства, общие законы дистрибуции, фонетический состав), характеризующие различные отрезки арчинской речи (слово, слог, стык слов или слогов с соответствующими началами и концами, корень, аффикс). Рассмотрение морфологических и синтаксических категорий арчинского языка авторами книги (стр. 18—31) в целом ряде пунктов отличается от традиционных, уже давно и прочно вошедших в практику кавказоведения методических и теоретических посылок, но это ни в коей мере не повлияло на качество восприятия (цельность и ясность формулировок) типологических характеристик указанных категорий.

Очень полезен и поучителен пятый раздел «Введения» (стр. 31—40), который, как нам показалось, авторы озаглавили несколько неточно «Структура описания». Содержание раздела значительно шире того, что вытекает из его названия. Здесь достаточно оградиться указанием на интересные рассуждения о значении (и назначении) описаний редких, «экзотических» языков, специфике исследования структуры их, транскрипционных системах для них и т. д. и т. п.

Кстати, несколько слов о системе транскрипционных знаков, применяемой в данном описании. Основанная на латинской графике с использованием пяти диакритик, она отличается гибкостью и легкостью восприятия.

Но, учитывая относительно слабые полиграфические возможности республик и областей Северного Кавказа, где распространено около трех десятков северокавказских языков и где печатается основная масса исследований по этим языкам, вопрос следует поставить несколько иначе — не настала ли пора для создания единой транскрипции для кавказских языков на русской графической основе? Проблема эта стоит весьма остро. Проект такой транскрипции, предложенный Г. А. Климовым еще в 1962 г.<sup>1</sup> и в основе своей полностью удовлетворяющий предъявляемым требованиям, почему-то до сих пор еще не стал предметом мало-мальски серьезного обсуждения, хотя всесоюзные форумы кавказоведов, собирающиеся каждые два года, начиная

с 1965 г., имеют для этого все возможности и основания.

Часть первая, «Лексика арчинского языка», подразделяется на три главы: «Лексические и лексико-грамматические классы слов» (стр. 43—89), «Элементы словообразования» (стр. 89—114), «Материалы к тематическому словарю» (стр. 115—184). Эти разделы позволяют составить ясное представление о лексической организации этого языка. Прежде всего внимание здесь привлекает часть, посвященная семантической классификации субстантивов по именным классам. Известно, что, если в языке насчитывается четыре и более классов, то распределение субстантивов по ним (за исключением I и II классов) представляет значительную трудность, что объясняется отсутствием четких принципов такого распределения. Опыт выявления закономерностей классификации субстантивов по именным классам, поставленный в рецензируемом исследовании, следует использовать применительно к другим дагестанским языкам с аналогичной классной организацией.

Интересна постановка вопроса (стр. 63—66) о формальном выделении в арчинском языке еще четырех (так называемых согласовательных) классов субстантивов, основанном на отсутствии в них признаков реального пола существ, ими обозначаемых (*ušan/insan* «человек», *luxt'ur* «врач, доктор», *lo* «дтия»; детеныш животного), *zon* «я», *un* «ты»<sup>2</sup> и т. д.), и опирающемся на различное грамматическое оформление мн. числа. Проблема эта, касающаяся не только арчинского языка и поставленная еще в 1972 г.<sup>3</sup>, не получила соответствующей оценки до сих пор, ибо традиционное кавказоведение в этом вопросе основывается на показаниях субстантивов только в ед. числе. Интересен (как собрание материалов) раздел, посвященный арчинским топонимам (стр. 66—70). Но, к сожалению, не делается попытки хотя бы как-то систематизировать представленные топонимы по морфологическим признакам. А ведь группировка топонимов по «рифмованным сегментам» (О. Н. Трубочев) открывает перед историком языка широчайшие перспективы.

Рассмотрению идефонических (изобразительных) слов арчинского языка (стр. 79—89) уделено очень серьезное внимание. Положительный опыт африканистики в этом направлении применительно к арчинскому нашел благодатную почву. Думаем, что лексикологи-кавказеды не оставят опыт без внимания —

<sup>2</sup> Ср. в этом плане хотя бы русск. *я*, *ты*, *доктор*, *завсладом* и т. п., никак не проявляющие себя в отношении рода вне формально-согласовательного контекста.

<sup>3</sup> А. Е. Кибрик, О формальном выделении согласовательных классов в арчинском языке, ВЯ, 1972, 6.

<sup>1</sup> Г. А. Климов, О проекте единой фонетической транскрипции для кавказских языков, М.—Л., 1962.

кавказские языки с их богатейшими фонетическими системами представляют собою в этом смысле объект более чем интересный.

С проекцией на синтаксические отношения анализируются два лексико-синтаксических класса глаголов — стативные и лабильные (стр. 70—79). Эти классы глаголов рассматриваются в связи с семантикой и внутренним синтаксическим устройством высказывания. Одноактантность, двухактантность этих глаголов непосредственно связаны с указанными сторонами высказывания.

В главе «Элементы словообразования» (стр. 89—112) проделана большая и серьезная работа, результатом которой явилось выявление практически всех продуктивных словообразовательных суффиксов арчинского языка. Впрочем не отмечен почему-то префиксально-суффиксальный способ (правда, малопродуктивный) именного словообразования, например: *uš-du* (< *w-oš-du*) «брат», *d-oš-du-r* «сестра» (ср. *oš-ob* «братья и сестры; братья или сестры»), *w-iš-du* «мальчик новорожденный», *d-iš-du-r* 1. «девочка новорожденная»; 2. «хлебец, испеченный в виде полумесяца, который в качестве гостинца дают девочкам».

Кое-что из необъясненного в книге (в смысле семантики словообразования) материала все-таки можно попытаться объяснить: *jakəš-an* «внутренности (человека, животного)» (ср. *jak* «внутри», *jaš* «изнутри», *jašul* «внутри»), *dat'-əla* «мера веса» (ср. авар. *rat'al id*<sup>5</sup> из араб. *rt'l* «одна из мер веса», т. е. перед нами аварско-арабское заимствование, «втянутое» в соответствующий арчинский словообразовательный ряд), *ralč-əla* «штаны» (ср. др.-русс. *лрты* «штаны»). Дело в том, что это подтверждается старыми русизмами в различных дагестанских языках. Утрата же сонорного *r* в арчинской основе *ralč-* произошла за счет сдвига его в направлении ретрофлексного глайда в соседстве с фарингализованным гласным, что отмечалось нами в свое время и подтверждается С. В. Кодзасовым, см. I, стр. 258). В некоторых случаях исходная основа обнаруживается в других дагестанских языках, например, арч. *žib-əla* «ласточка» (ср. хотя бы лезг. *čub-aruk*), в некоторых же — корневая принадлеж-

ность заимствованной основы (араб. *kaḡaš* «бумага») трактуется как арчинский словообразовательный суффикс (арч. *kaR-əra* «бумага; письмо») <sup>6</sup>.

Главные принципы глагольного словообразования четко и правильно сформулированы в первых же трех абзацах подраздела «Глаголы» (стр. 99). Интересно меткое наблюдение о том, что «пополнение глагольной лексики в арчинском языке возможно только (разрядка наша. — К. М.) по моделям сложных глаголов» (стр. 99), спрягаемую часть которых составляют простые (в данном случае всемогательные) глаголы *boš* «сказать», *kes* «стать, становиться» и *as* «делать». При этом очевидны их десемантизация в данном грамматическом контексте, явная тенденция к абстрагированию первоисходного значения. Полный же список простых глаголов приводится в III томе (стр. 233—243).

Так же подробно и правильно рассматривается вопрос о наречном словообразовании — главный вывод о том, что наречия в арчинском представляют собою окаменевшие падежные формы субстантива, не вызывает возражений. Учтены практически все способы образования арчинских наречий. Правда, в этимологический анализ некоторых наречий можно внести кое-какие коррективы и дополнения.

В данной главе ничего не говорится об образовании стержневой части составных числительных, обозначающих числа больше десятков, сотен, тысяч (11, 21, 101, 1001 и т. п.), но они рассматриваются во II томе (стр. 119). Концы их, *-tor* и *-or*, А. Е. Кибрик ошибочно склонен связывать с формантом мн. числа (ср. *noř-dor* «домá»), хотя общедагестанская модель в данном случае показывает форму стержневого числительного (10, 20, 100, 1000...) в местном падеже, а именно эссиве. В арчинском языке таким формантом является *-or/-ur*: *wie'-* «10» — *moč'or še* «11», *q'a-«20»* — *q'o-tor še* «21», *žibi* «30» — *žibi-tur še* «31», *balš-«100»* — *bolš-or še* «101», *izar* «1000» — *iza-tur še* «1001» и т. д. <sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Впрочем заимствованная лексика в арчинском языке анализируется в книге (стр. 44—54) хотя и подробно, но в некоторой степени прямолинейно — не делаются попытки наметить общие законы фонетического освоения заимствований в арчинском (а они проявляют себя достаточно системно), из иранизмов перечисляются лишь персизмы, из тюркизмов — только азербайджанизмы и кумыкизмы, причем о дифференциации этого рода тюркизмов нет и речи (они даны под общей рубрикой «Заимствования из тюркских языков»), хронологически никак не дифференцированы русизмы.

<sup>7</sup> Подробнее об этом см.: К. Ш. Микаилов, Арчинский язык, Махачкала, 1967, стр. 57, 75—78.

<sup>4</sup> Мы умышленно сохраняем ошибочную морфемную трактовку этого слова в книге, ибо перед нами яркий пример полной адаптации заимствования и в фонетическом и в морфологическом отношениях, т. е. своего рода «ловушка» для этимолога.

<sup>5</sup> Переход инициального *r > d* в иноязычных словах характерен для арчинского языка: *dařəzi* «чепец», ср. авар. *ra-řaš* (из осет. *rəžys id.*), *delq'* «хромой», ср. авар. *teq'* (из иран. *læng*), *dīq'* «чепец, зола», ср. авар. *raqi* «зола» и т. д.

Материальную и духовную культуру арчинцев, их общественную жизнь, языковое восприятие ими «реального» мира очень наглядно и подробно отражает «Тематический словарь арчинского языка» (стр. 115—184). Здесь же раскрываются семантические отношения между лексическими единицами арчинского языка.

Объединение слов в данном разделе в специальные лексические группы производится не только за счет очевидных экстралингвистических классификаций (ср. «Домашние животные», «Дикие животные»...; «Верхняя одежда», «Головные уборы», «Обувь» и т. д.), но и на основе типовых смысловых отношений (например, «Способ передвижения», «Агрессивные действия», «Звукопроизведение» и т. п.). Парадигматическое рассмотрение групп первого типа органически связано с анализом слов второй группы (например, «Типичное звукопроизведение», «Домашние животные», «Дикие животные» и т. п.). Очень наглядны и показательны различные таблицы и схемы, демонстрирующие соответствующие коррелятивные отношения внутри лексических групп.

Вторая часть I тома, «Фонетика арчинского языка» (стр. 185—352, автор — С. В. Кодзасов), является одним из наиболее интересно выполненных разделов книги и «...представляет собой попытку систематического синхронного описания всех сторон арчинской фонетики...» (стр. 186). И, действительно, здесь впервые исследуются многие узловые вопросы арчинской фонетики, вносятся немало существенных и, главное, справедливых коррективов в уже имеющиеся интерпретации, вскрываются новые закономерности, а уже известные рассматриваются в новом освещении. Кроме того, мы видим здесь немало нововведений фактологического порядка. Впрочем кое-что вызывает возражения. Так:

1) долготу гласных в арчинском следует, скорее всего, рассматривать как фонетический их признак, характерный лишь для экспрессивно-эмоционального контекста, и потому оснований для включения их в таблицу гласных фонем арчинского языка мы не видим;

2) квалификация фарингализации как просодического признака, являясь, в сущности, правильной при синхронном описании арчинской звуковой системы на фонетическом уровне, все же не снимает с повестки дня вопроса о фонологической релевантности этого признака применительно к вокалической или консонантной системам, иными словами, ответ на вопрос об историческом центре фарингализации в слоге или последовательности их должен быть в известном смысле однозначным;

3) редуцированные гласные могут «проясняться» в полные фонемы при наличии морфонологических условий для такого

«прояснения», ср. *xloré* «Арчи» (букв. «в селе, ауле») — *xlor* «селение, аул», *nałsít* «на лошади (локат.)» — *nołs* «лошадь».

4) нет достаточных оснований для включения  $\gamma$  — аллофона абруптивного латерального аффриката  $k'$  — в состав арчинских фонем;

5) за термином «геминированный согласный» в кавказоведческой традиции закрепилось значение, отражающее количественные различия между парой одинаковых во всех других отношениях согласных фонем, а в таком случае, учитывая относительную условность в сякого термина, острой необходимости в новой трактовке термина мы не видим.

Том II, «Таксономическая грамматика» (автор — А. Е. Кибрик), посвящен выявлению и описанию частей речи арчинского языка и характеризующих их грамматических категорий. При этом акцент делается на семантические и синтаксические характеристики служебных морфем.

На основе единства морфолого-синтаксических критериев в отличие от имеющихся традиционных описаний арчинского языка выделяется шесть частей речи: субстантив, глагол, адъектив, числительное, наречие и послелог. Не имеющие форм словоизменения группы слов (например, междометия, союзы) не рассматриваются отдельно. Главный упор делается на определение полной парадигмы конкретной части речи и выявление правил получения всех ее элементов. К классу субстантивов, кроме собственно имен существительных, относятся и субстантивированные адъективы, глаголы, числительные, а также местоимения, могущие занимать актантные места при предикате. Чисто «синтаксическая» оценка возможностей слова, как видим, позволяет значительно расширить рамки понятия «часть речи».

В собственно субstantиве выделяются четыре главные основы (корреляции: «прямая основа — косвенная основа», «ед. число — мн. число»), причем за первичную, исходную форму прямой основы ед. числа принимается обычно словарная форма субstantива. Полная же парадигма словоизменения арчинского субstantива насчитывает, по А. Е. Кибрику, 74 (!) формы (стр. 9). Впрочем далее при непосредственном описании образования косвенных форм прямая основа (реконструированные ее формы основываются на сопоставлении морфонологических и чисто морфологических показателей языка) ограничивается от формы номинатива ед. числа. Образование номинатива мн. числа практически совпадает с уже известными описаниями этой категории арчинского языка.

Оригинально решается проблема падежа. Здесь выделяется три класса паде-

жей: чисто синтаксические (номинатив и эргатив), семантико-синтаксические (генитив, датив, комитатив, компаратив) и семантические (пермутатив или заместительный падеж, каузаль, партитив, экватив или уподобительный падеж). Думается, что общепринятое понимание падежа несколько уже того, которое вкладывает в это понятие А. Е. Кибрик.

Говоря о своей трактовке пространственных падежей, А. Е. Кибрик считает, что между ним и предшественниками существуют разногласия в этом вопросе (I, стр. 22; II, стр. 51—61). Нам кажется, что серьезных оснований для споров здесь нет и все сводится просто-напросто к терминологическому разнобою. То, что раньше называлось сериями местных падежей, теперь называется категорией локализации, а то, что раньше называлось местными или локативными падежами, теперь называется пространственными падежами<sup>8</sup>. Количество локативных серий (а соответственно и сериальных показателей) сокращено А. Е. Кибриком до пяти (II, стр. 61) по сравнению с теми семью, которые выделяем мы<sup>9</sup>. К сожалению, позиция предшественников в этом вопросе А. Е. Кибриком никак не комментируется, отчего его собственные суждения по этому поводу в некоторой степени теряют доказательную силу. А ведь наличие серий локативов с показателями *-la* (VI серия у нас) и *-ma* (II серия) без особого труда доказывалась даже для протоарчинского состояния при сравнении их с показателями родственных языков. Об этом же свидетельствуют материалы как собственно арчинской, так и дагестанской вообще топонимии, которая нередко доносит до нас утраченные живым языком факты исторической морфологии.

Тщательно исследован арчинский глагол. Все глагольные формы А. Е. Кибрик делит на финитные и глаголоидные, а видовые основы (наряду с исходной основой они признаются общей частью всех глагольных форм) подразделяются на четыре вида: дуратив, терминатив, потенциалис и финалис. Определяются видовые значения глагола (стр. 63—64). Кроме того, все глаголы дифференцируются на динамические (выражающие действие) и статические (выражающие состояние), а в зависимости от морфологической структуры они делятся еще на два класса: простые (их зафиксировано немногим более 160) и сложные, состоящие из неспрягаемой (значимой) и спрягаемой (один из простых глаголов) частей. Такова общая классификация арчинских глаголов, которая взята А. Е. Кибриком за основу при непосредственном анализе конкретных глагольных категорий. Глава

«Глаголоиды» посвящена деепричастиям, причастиям и масдару.

Так же подробно рассматриваются адъектив, наречия (и вместе с ними послелоги), имя числительное и местоимения.

Если первая часть II тома содержала исследование вопросов формальной морфологии словоизменения, т. е. выделение частей речи и характеризующих их грамматических категорий с описанием морфологических способов их выражения, то во второй части (стр. 131—334) грамматические формы рассматриваются в плане значений, ими выражаемых. Важнейшей чертой этого раздела мы считаем привлечение огромного иллюстративного материала (около 2200 предложений!), благодаря чему собственно грамматический анализ получает объективную оценку.

Важным следует признать и то, что вслед за А. Дирром<sup>10</sup> А. Е. Кибрик совершенно справедливо ставит вопрос о довольно четко обозначившейся в арчинском языке тенденции к образованию категории арктикля с использованием числительного *os* «один» применительно к неопределенному и указательным местоимениям *jow//jamu* «этот», *tow* «тот» — к определенному арктиклю (стр. 331—333). Примечательно, что аналогичная картина наблюдается и в других дагестанских языках, так что вопрос этот требует самого пристального рассмотрения.

Почему-то не рассматриваются в разделе «Употребление грамматических форм» наречия, хотя в разделе «Формообразование» они представлены (стр. 117—118) как имеющие формы словоизменения (правда, это касается только пространственных наречий). Думается, что с самого начала следовало провести четкую границу между пространственными наречиями и послелогами. Уловить более или менее существенные различия между ними по тексту исследования затруднительно.

III том посвящен так называемому динамическому описанию арчинского языка (автор — А. Е. Кибрик). В этом описании рассмотрению подлежит та же совокупность фактов арчинского языка, что и во II томе, но в другом ракурсе, а именно, основное внимание уделяется установлению имеющихся в арчинском языке соответствий между смыслом и формой высказывания, при этом исходным в данном описании является смысл, а не форма (как в таксономической грамматике). Это побуждает автора особенно подробно осветить вопросы грамматической семантики и синтаксических процессов.

В первом разделе автор выделяет ряд промежуточных уровней между семанти-

<sup>8</sup> Там же, стр. 55—57.

<sup>9</sup> Там же, стр. 55—64.

<sup>10</sup> А. М. Дирр, Арчинский язык, Тифлис, 1908, стр. 45.

кой и фонетикой (глубинный и поверхностный синтаксис, глубинная и поверхностная морфология) и описывает их устройство. В частности, приводятся ранговые модели словоформ изменяемых частей речи (в субстантиве выделяется пять рангов, в синтетической форме глагола — шесть) и списки значений грамматических категорий. На стр. 35—37. производится подсчет элементов потенциальной глагольной парадигмы (включаящей синтетические и аналитические формы). По данным А. Е. Кибрика, эта парадигма имеет более миллиона (!) форм.

Центральным является второй раздел, в котором приводятся полный инвентарь служебных морфем, типы синтаксических отношений и формальное описание значений грамматических категорий, выполняющих семантические функции. Существенно, что эти значения описываются не изолированно, а с учетом их сочетаемости в пределах слова. Все выделенные автором семантические единицы иллюстрируются конкретными примерами и снабжаются отсылками к соответствующим разделам таксономической грамматики. Такой метод описания дает возможность объединить те значения, которые выражаются различными морфологическими средствами (например, временные значения, стр. 101—119).

Третий раздел посвящен тем грамматическим процессам, которые обеспечивают получение правильного высказывания по заданному смыслу. Главным при этом, естественно, являются собственно синтаксические процессы. Специальные группы правил описывают явления согласования (пронизывающие, кстати, всю структуру предложения в арчинском языке), порядка слов, местоименных замен.

III том завершают девять приложений. Первые восемь приложений содержат парадигмы изменяемых частей речи (глагола, субстантива, местоимений, числительного), а последнее — образец текста с подробным грамматическим комментарием. Трехтомник снабжен подробным терминологическим указателем (стр. 296—312) и списком условных сокращений и обозначений.

И, наконец, заключает все это большое исследование арчинского языка дополнительный том — «Арчинский язык. Тексты и словари», — содержащий 40 текстов самых различных жанров (общая длина текстов — около 2000 предложений с послловным и литературным переводами) и два словаря: «Арчинско-русский» (около 3000 словарных статей) и «Русско-арчинский». Последний является скорее всего семантическим указателем к «Арчинско-русскому словарю». Объем словаря для бесписьменного «малого» языка, каковым является арчинский, что и говорить, весьма значитель-

ный. О научной значимости публикации текстов как фольклорного, так и бытового характера говорить не приходится. Наличие двух видов перевода — пословного и литературного — к каждому тексту обеспечивает, с одной стороны, возможность соотнесения фрагментов оригинала с соответствующим ему фрагментом перевода, адекватность же смысла оригинальных текстов обеспечивается за счет литературного перевода.

Включение в «Арчинско-русский словарь» и заимствований, прочно вошедших в арчинский язык, позволяет делать выводы относительно закономерностей фонетического освоения иноязычных слов, что во многом связано с основными направлениями развития арчинской фонетики. Значение и употребление слов широко иллюстрируется фразовыми примерами, чем обеспечивается максимальная адекватность передачи смысла слова.

Очень добросовестно и технически грамотно составлен семантический указатель к «Арчинско-русскому словарю», так называемый «Русско-арчинский словарь», составителем которого является И. П. Оловянникова.

Уровень исполнения «Арчинско-русского словаря» высок. Словарная статья здесь представляет собой лексикографическое описание соответствующего слова, реально существующего в языке. Каждая словарная форма проакцентуирована. Словарь предваряют обстоятельная инструкция и арчинский «алфавит». Значительно облегчает пользование словарем при поисках значения конкретной словоформы (особенно в случаях, когда речь идет о простом глаголе с префиксальным классным формантом) наличие упоминавшегося выше списка простых глаголов с основными формами в Приложении 1 к III тому «Опыта», а Приложения 4—8 к этому же тому содержат местоимения, пространственные послелоги, наречия, числительные со всеми формами словоизменения. В статье дается указание на часть речи и субкатегориальные признаки части речи. Помимо стандартной информации, указываются нерегулярные формы слова, кроме того, отмечаются случаи неполноты парадигмы. Неплохо представлены в словаре и арчинские фразеологизмы — они подаются в случаях участия в них заглавного слова. Из грамматической информации для субстантива указываются номер класса, исходная основа (если она отличается от номинатива ед. числа), номинатив мн. числа, эргатив ед. числа и типичная форма локализации в эссиве. Для простого глагола указывается исходная основа с соответствующей пометой о месте инфиксальных показателей и признаке исторической лабилизации и т. д. Наличествует и довольно пространная синтаксическая информация (стр. 183) о заглавном слове.

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что предпринятая в рецензируемом издании попытка систематизации известных ранее, а во многом впервые вводимых в научный оборот фактов арчинского языка является, на наш взгляд, первым опытом такого всестороннего и глубокого синхронного анализа восточнокавказского языка. Значение этого исследования трудно перео-

ценить — вооруженные современной техникой структурного анализа языка, авторы смогли полно и достоверно отразить современное состояние арчинского языка, и эпитет «малоизученный» применительно к арчинскому языку теперь уже можно смело заменить на «наиболее глубоко и полно изученный».

Микаилов К. Ш.

**I. Reed, O. Miyaoka, S. Jacobson, P. Afkan, M. Krauss. Yupik Eskimo Grammar. Alaska Native Language Center, University of Alaska, 1977. 330 стр.**

Работа над подготовкой материалов для рецензируемой «Грамматики» была начата в университете штата Аляска еще в 1961—1963 гг. Первый вариант был написан в 1968—1970 гг., однако окончательную подготовку текста авторам удалось осуществить лишь после 1972 г., когда в Фербенксе был создан специальный научный Центр по изучению языков аборигенов Аляски (Alaska Native Language Center).

По словам авторов «Грамматики», она преследует двойную цель: будучи достаточно полной с научной точки зрения, она составлена с учетом потребностей изучающих эскимосский язык, и вот уже в течение ряда лет используется при изучении эскимосского языка студентами-филологами в Аляскинском университете в Фербенксе.

Эта двойная цель — грамматика научная и грамматика учебная — определяет структуру, характер и даже язык работы. В ней нет свойственного академическим грамматикам четкого разделения описания на «Имя», «Глагол» и т. д.; материал расположен таким образом, чтобы им было удобно пользоваться в учебных целях, чтобы содержание последующей главы вытекало из предыдущей, причем конкретное расположение материала вытекает из специфических особенностей морфологии языка йупик. Каждая глава включает (за исключением двух первых) список слов и суффиксов для заучивания, грамматическое описание какого-либо явления, в которое вкраплены контрольные упражнения, и большое тренировочное упражнение в конце.

Первые две главы посвящены описанию звукового состава, произношению звуков, структуре эскимосского слова и представляют собой достаточно подробное фономорфологическое описание языка. Несмотря на то, что эскимосские языки часто приводятся в качестве классического образца агглютинирующих языков, в них, тем не менее, широко представлены разнообразны звуковые изменения на морфемных швах. «Граммати-

ка» выделяет два фактора, которые, взаимодействуя, влияют на характер этих изменений: класс основы и тип суффикса. Оба фактора подвергаются детальному анализу; выделяется шесть классов основ и одиннадцать типов суффиксов. Естественно, что ни одна система такого рода не может дать стопроцентной предсказуемости окончательного фонетического облика слова, однако система, разработанная авторами «Грамматики», приближается, насколько это возможно, к идеалу. Отметим также, что подобный фономорфологический анализ прежде применительно к языкам эскимосской семьи с такой детализацией не проводился. Следует, впрочем, оговорить, что для учебной грамматики такая система, возможно, слишком сложна.

Поставив перед собой двойную цель — создать учебную грамматику, которая одновременно была бы интересна и с научной точки зрения, — авторы оказались перед очень трудной задачей. Расположение материала с ориентацией на студентов, на удобство преподавания, на запоминание неизбежно приводит к чисто формальному подходу при описании языковых фактов, к игнорированию содержательной стороны грамматики. Такое совмещение целей — учебных и научных — само по себе таит опасность неглубокого проникновения в сущность грамматического строя языка. Часто, в методических целях целостные категории разделяются на части и рассматриваются в разных разделах учебной грамматики, что представляется правильным методически, тогда как в плане чисто научном не всегда себя оправдывает.

1. Приведем в качестве примера структуру 9-й главы книги, в которой подряд разбираются: абсолютный падеж личнопriяжательной формы имени 1, 2 и 3-возвратного лиц; особенности употребления имен *ak'allaq* «старый» и *nutaraq* «новый»; употребление суффикса *-lar* «обычное, повторяющееся действие»; суффикс *-li* «изготовление предмета»; суф-

фикс *-lir* «иметь что-либо в избытке», суффикс *-liqe* 1. (с основами, обозначающими части человеческого тела) «болеть»; 2. (с основами, обозначающими промысловых животных) «добывать много».

Видно, что подразделы главы нарочито не связаны. Более того, отдельно друг от друга рассматриваются суффиксы *-lir* и *-liqe*, хотя и семантически, и по форме они явно связаны.

2. Суффикс *-lria* (ср. чапл. *-lzu-*) рассматривается в «Грамматике» как один из глагольных суффиксов, без выделения или в крайнем случае упоминания частного характера образований с ним (стр. 249—251), хотя указывается предикативная, атрибутивная и субстантивная функции форм с ним.

3. 3-е лицо глаголов и 3-е лицо лично-притяжательных форм имен рассматриваются отдельно от 1 и 2-го. Возможно, что для формального запоминания такая система подачи материала и удобнее, но это нарушает содержательную сторону категории лица.

4. К сожалению, авторы «Грамматики», превосходно проанализировав формальную сторону парадигмы субъектно-объектного глагола (стр. 140—145), не сумели сделать никаких содержательных выводов. Так, в таблице на стр. 140 указаны порядок показателей в словоформе (суффикс субъекта следует за суффиксом объекта или наоборот) и состав этих показателей [показатель 2-го лица субъекта — 1-го лица объекта (ты — меня) образуется из показателя 2-го лица лично-притяжательной формы имени и показателя 1-го лица непереходного глагола и т. п.]. Однако из этого не делается никаких выводов ни о генезисе форм субъектно-объектного спряжения, ни об эргативном или номинативном характере глагольной парадигмы.

5. На стр. 61—62, где говорится о показателях субъектно-объектного глагола с 3-м лицом субъекта и 3-м лицом объекта, дана таблица показателей. Но здесь не совсем ясно, на каком основании, например, из реально отмечаемых показателей *-k* «он их двоих»; *-(g)kek* «они двое их двоих»; *-gkek* «они многие их двоих» и т. д. выводятся показатели *-k* для дв. числа субъекта, *-g* для дв. числа объекта. Правила обратного перехода типа  $i + k \rightarrow kek$ ,  $g + k \rightarrow gkek$ ,  $g + i \rightarrow gket$  просто постулируются.

Даже из немногих приведенных примеров видно, что «Грамматика» и по построению, и по форме изложения ориентирована на описание, а не объяснение и интерпретацию. Это, впрочем, отличает не только данную книгу, но и исповедуемый авторами дескриптивный подход в целом.

Сказанное несколько не умаляет достоинств книги. Скрупулезное внимание к фактам, к форме выражения часто позволяет авторам «Грамматики» очень тон-

ко проанализировать материал языка. Так, любопытен разбор различия употребления 3-го и 3-возвратного лиц имен притяжательной формы в разных функциях в самостоятельных, придаточных и других типах предложения (стр. 105—107 и 119).

На стр. 130—134 выделено «гнездо» модальных суффиксов одного разряда (включающих компонент *-yu*, ср. чапл. *-ÿy/-cy*), имеющих разные оттенки значения. Для чаплинского диалекта здесь выделяется только один суффикс.

Очень интересно решается в «Грамматике» такая сложная проблема эскимосского синтаксиса, как возможность для разных имен занимать позицию прямого дополнения при субъектно-объектных глаголах каузативной формы. Ср.:

- |                             |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| (1) <i>Angutem nereskaa</i> | <i>tan'gurraq</i> |                  |
| мужчина                     | велит-есть        | ребенку (что-то) |
| Sb                          | V <sub>caus</sub> | Ob <sub>d</sub>  |
| (2) <i>Angutem neresqaa</i> | <i>kekem</i>      |                  |
| мужчина                     | велит-есть        | мясо (кому-то)   |
| Sb                          | V <sub>caus</sub> | Ob <sub>d</sub>  |

Выход из этого положения авторы видят в введении понятия Темы («тема» глагола), т. е. имя в абсолютном падеже при любом глаголе: при непереходном темой оказывается подлежащее, при переходном — прямое дополнение. Значение каузативного глагола трактуется как «субъект вынуждает объект быть темой включенного (embedded) глагола».

Указанная двусмысленность возникает от того, что этот глагол (в данном случае — от основы *nere* «есть») может быть как переходным (со значением «есть что-то»), так и непереходным («есть»), и следовательно «темой» его является то объект, то субъект (стр. 233—234).

В главах 24—25 дан очень подробный и тонкий анализ указательных местоимений и указательных наречий. Классификация здесь построена не только на форме, но учитывает также значение.

В главах 27—28 хорошо разобраны зависимые наклонения глаголов. Здесь также классификация строится не по одним формальным признакам (показатель наклонения), но учитывается и содержательная сторона.

Естественно, что не со всеми положениями книги можно согласиться целиком.

Спорна трактовка форм типа *nem'etuq* «он находится в доме», *angyamnetuq* «он находится в моей лодке» и т. п. как «стяжения имени в форме местного падежа на *mi/ni* и архаичной основы *ete* «быть», т. е. *nem'etuq* > *nem'etuq*, *angyamnetuq* > *angyamnetuq* (стр. 176—177).

В позиции авторов по этому вопросу, видимо, нет полной ясности. Один из них, С. Якобсон, пишет в неизданной пока грамматике языка о. Св. Лаврентия (полностью совпадающего с чаплинским диалектом языка азиатских

эскимосов): «Устаревшая основа *ete-* со значением „быть“ сама по себе в сибирском варианте языка йупик не употребляется, в отличие от других эскимосских языков (инупиак и сюпиак). В Сибири она употребляется только в сочетании с некоторыми суффиксами (мы не станем здесь углубляться в детали), либо в слиянии с окончанием местного падежа»<sup>1</sup>.

Несмотря на полное совпадение чаплинского диалекта и диалекта о. Св. Лаврентия, приходится отметить, что в чаплинском диалекте такой основы не зафиксировано. Что же касается указанных форм с суффиксом местного падежа, то, на наш взгляд, это не основа *ete-*, а самый обычный суффикс *-ta-*. Достаточно взглянуть на изменения этих форм в разных временах: *мынтырамитахуу* «он находится в доме», *мынтырамисимау* «он был в доме», *мынтырамитахуу* «он будет в доме» и т. д. Вообще, было бы странно, если бы в эскимосском языке, развивающемся, видимо, от синтетизма к аналитизму, «отмерла» или «устарела» такая базовая вспомогательная основа, как основа «быть», тем более, что в нем не имеет места образование сложных основ типа чукотской инкорпорации.

Не очень удовлетворительна трактовка суффикса *-(u)te-* с точки зрения его значения. Этот суффикс рассматривается как обладающий «рядом значений, включающих идею совместного действия» (стр. 178). При этом приводимые примеры не подтверждают такой трактовки: в некоторых глаголах значение совместности есть, ср. *qalarutaa* «он говорит с ней», *qalarutut* «они говорят друг с другом», а в других его нет, ср. *qanrutaa* «он говорит ей», *kiruute-* основа со значением «покупать кому-либо». Суффикс *-(u)te-* имеет здесь четкое бенефактивное значение. В чаплинском диалекте аналогичный суффикс *-uta-* имеет ряд значений, включающих значение совместности, но несводимых к нему<sup>2</sup>.

При выделении функций творительного падежа (глава 16) авторы, на наш взгляд, не до конца выдерживают принцип построения классификаций любого вида и слишком много внимания уделяют форме. Выделяются следующие функции: 1) источника движения; 2) неопределенного объекта (в абсолютной конструкции с творительным объектным); 3) объекта речи; 4) используется с глаголами давания; 5) определительная, типа *nutagamek anguanguq* «новую лодку-получил».

Очевидно, что строить классификацию падежных функций так нельзя, поскольку неясно, о каких функциях идет речь: семантических, как (1), синтаксических, как (5), или коммуникативных, как (2)? Не говоря уже о том, что сама классификация крайне недостаточна (ср. подробнейший анализ функций творительного падежа для близкородственного языка в «Грамматике языка азиатских эскимосов» Г. А. Меновщикова<sup>3</sup>), описанные в «Грамматике» функции творительного падежа в действительности сложнее. Так, отмеченная под номером 5 определительная функция не может быть понята без учета деривационной истории конструкций типа *anguanguq* «он приобрел-лодку». Этот глагол образован от основы *anguag-* «лодка» суффиксом *-nge-* «приобретать», и определение в творительном падеже является, таким образом, определением к имени, которого реально в предложении нет. Это несколько иная функция, чем просто «творительный определение».

Интересная проблема рассматривается авторами на стр. 240—244. Мы имеем в виду утверждение, что «субъект глагола в зависимом наклонении всегда совпадает с субъектом сказуемого главного предложения» (стр. 240) (под «зависимым наклонением» понимаются глагольные формы с показателем *-lu*). Это — сильное упрощение, очевидно, сделанное в учебных целях. Такое утверждение авторов «Грамматики» представляется односторонним. На самом деле субъект сказуемого зависимого действия и субъект сказуемого главного действия может быть выражен также и разными лицами, ср. чапл. диалект: *Итхумалютын клубылуи, нуныгуматын Куяна* «Выходя-ты в клуб, задержал-тебя Куяна». Здесь суффикс 2-го лица *-тын* в первом случае означает с у б ъ е к т зависимого действия, во втором — о б ъ е к т главного действия, тогда как с у б ъ е к т о м зависимого действия выступает 2-е лицо (*-тын*), а с у б ъ е к т о м главного действия — 3-е лицо (*Куяна*). Сходную же структуру с разными субъектами в главном и придаточном предложении наблюдаем в примере: *Анумалоку Паныка, кичунаңын танилгыкуна* «Когда выйдет (выйди) Паныка, после нее (пол) поую-я»<sup>4</sup>. Впрочем в грамматическом очерке языка о. Св. Лаврентия С. Якобсон упоминает об этом — не приводя, правда, никаких примеров.

Формант *-te* глагольных основ класса IV а, б, с не сохраняется при образовании

<sup>1</sup> S t. J a c o b s o n, A Grammatical Sketch of Siberia Yupik Eskimo as Spoken on St. Lawrence Island (Ms).

<sup>2</sup> Ср.: Н. Б. Вахтин, О бенефактивном значении глагола в эскимосском языке, сб. «Лингвистические исследования — 1975. Исследования по грамматике языков народов СССР», М., 1975.

<sup>3</sup> Г. А. Меновщикова, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I, М., 1962, стр. 139—153.

<sup>4</sup> Г. А. Меновщикова, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. II, М., 1967, стр. 146.

производных форм слов, поэтому вряд ли оправдано его отнесение к основам этого класса, ср.: *kumarte* «гореть» → *kumarvik* «огневище»; *tekite* «приходить» → *tekisngaituq* «он не пришел», и т. д. Очевидно, что все производные формы слов здесь образованы от первичных основ *kuma-*, *teki-* с указанными семантическими значениями. Формант *-s-* в *tekisngaituq* нельзя рассматривать как чередование *s ~ t*. Это хорошо прослеживается на материале чаплинского диалекта (йушик) в словах от той же глагольной основы *tagi-* «приходить», ср. *tagiqaq* «он идет», *tagimaq* «он пришел», *taginaq* «он сейчас придет», *tagituq* «он сейчас пришел», *tagillequq* «он придет», где форманты *-ma-*, *-na-*, *-tu-*, *-lle* являются показателями времени, формант *-qu* — показатель индикатива интранзитивных глаголов настоящего и двух будущих времен.

Это же замечание относится к суффиксам отрицания *-itel-*(*ngite*), *-nrite* (п. 7.5), а также составным суффиксам *-qapigte*, *-ksaite* (п. 10.4, 10.5), где формант *-te* не является их составной частью и не восходит к предикативным показателям *-tu*, *-ma*. Суффиксы отрицания имеют исходные формы *-i-*(*ngi*), *-nri*, совпадая в этом с аналогичными суффиксами отрицания в глаголах азиатских диалектов общэскимосского языка<sup>5</sup>.

В «Грамматике», к сожалению, отсутствуют такие важные разделы, как категория грамматического времени (очень кратко сказано о суффиксе будущего времени *-ciqe*, п. 8.3), вспомогательные (заместительные) глаголы, качественные наречия, служебные слова, междометия.

Принятый авторами принцип трехступенчатой морфологической структуры эскимосского слова (*base + postbase + ending*) с точки зрения содержательной и грамматической таит в себе много противоречивого. Так, в понятие *postbase* включаются самые разнообразные семантико-грамматические элементы, одни из которых образуют слова с совершенно новым лексическим содержанием, вторые придают образуемому слову различного рода качественные, количественные, модальные оценки, третьи характеризуют функционально-грамматические отношения (связи) и т. д. Часто понятия *postbase* и *ending* не дифференцируются, поэтому граница между ними становится весьма относительной. Так, например, суффикс вопросительного наклонения *-si* (стр. 168) отнесен к окончанию, а суффиксы изъявительного наклонения *-tu*, *-qu* (в разных местах) и все суффиксы зависимых наклонений — к *postbase*.

Мы полагаем, что традиционный для эскимосских языков принцип морфологической структуры слова, основополагающий-

ся на включении в состав производного слова корневой (непроизводной) основы, одного или нескольких словообразовательных суффиксов и нескольких словоизменяющих суффиксов, представляется более оправданным, хотя и в нем точно не определены еще границы между словообразованием и словоизменением.

В плане сопоставительных исследований ценным представляется лексический материал, обильно представленный в «Грамматике».

Значительная часть лексики (особенно — именной) является общей для азиатских и аляскинских диалектов языка йушик. Вместе с тем в лексике этих изолированных диалектов обнаруживаются большие изменения как за счет различий в построении производных слов, так и за счет различий в самих основах слова, выражающих идентичное лексическое значение. Так, например, для чаплинского диалекта невозможно стечение двух гласных, а в языке центральный йушик такое стечение представляется нормой, ср.: *sigun* → *siun* «ухо», *sivuliq* → *siuquliq* «передний».

При образовании слов от идентичных основ с одним и тем же лексическим значением в сравниваемых диалектах используются часто различные способы словообразования, ср.: *igasiq* → *igaxuun* «карандаш», *mikyl, iq* → *mikyl-nuq* «ребенок».

Ряд слов, означающих одно и то же понятие, образуется от разных основ, ср.: *uqipagan* → *quliqak* «сказка», *uqiallxi* → *sakniq* «много».

Наряду с идентичностью по фоноструктурным признакам и семантике ряда словопроизводных суффиксов, как, например, *-nak* (увеличение), *-vik* (место), *-lyk* (обладание), *-nik* (реальность), *-u* (приобретать), *-(u)l-*(*eu*) (предикативный преобразователь имен) и др., часть суффиксов этого разряда в центральном йушик имеет отличный от азиатских диалектов фоно-структурный облик.

В словарных списках для упражнений, а также в эскимосских предложениях зафиксировано значительное количество лексических заимствований — слов из русского языка, восходящих ко времени русских владений в Северной Америке (конец XVIII в. — 1867 г.), из которых хорошо видны те фонетические закономерности, по которым один язык заимствует слова из другого языка. Так, например, заимствованные слова типа *kyliqak* «хлеб», *ystuluf* «стол», *putuskaq* «подушка», *kasjaq* «белый человек» (от первичного *казак*) свидетельствуют о возможности в эскимосском языке стечения двух согласных в начале слова (*стол*, *хлеб*) и отсутствия в центральном йушик звонких согласных *д*, *б*, *з* и гласных *е*, *о*, т. е. о близости этого языка чаплинскому диалекту.

<sup>5</sup> Ср.: Г. А. Меновщиков, Грамматика..., ч. II, стр. 122—127.

Отмеченные параллели двух языков — центрального йушк и азиатского йушк, — сопоставление их материала, случаи сходства и различия их представляют большой интерес. Работа советских и американских лингвистов по двум столь близким языкам должна была бы вестись в тесном контакте, полезном для обеих сторон. Поэтому особенно жалко, что в рецензируемой «Грамматике» совершенно не использованы советские работы — при том, что и материал, и его интерпретация порой совпадает до мельчайших деталей [ср. хотя бы анализ глаголов зависимого наклонения в «Грамматике» и в «Грамматике языка азиатских эскимосов» (1967); или вопрос о классах глагольных основ в «Грамматике» (стр. 230—231) и в работах Н. М. Емельяновой<sup>6</sup>]. Думается, что пользование этими и другими советскими работами сэкономило бы авторам «Грамматики»

<sup>6</sup> Н. М. Емельянова, Глагольные основы в языке азиатских эскимосов. АКД, Л., 1967.

много сил и времени и позволило бы избежать многих погрешностей — тем более что зачастую им пришлось проделывать заново уже сделанную работу. «Грамматика языка центральный йушк», тем не менее, является значительным вкладом в дело изучения эскимосских языков — и прежде всего потому что она дает очень большой, разнообразный, а главное — достоверный материал, безукоризненный с формальной точки зрения. Нельзя забывать, что «Грамматика» прошла испытание в качестве учебного пособия для эскимосов Аляски и таким образом избавлена от ошибок и неточностей в том, что касается материала. Что же до интерпретации этого материала — то здесь всегда возможны расхождения во взглядах, и задачей лингвистов-эскимологов является создание путем тщательного анализа фактов и с учетом этих разных точек зрения сравнительного описания эскимосских языков.

*Меновицков Г. А., Вахтин Н. Б.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

#### ЯЗЫКОЗНАНИЕ НА VIII МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

На Загребском съезде около половины всех докладов (а их было заявлено в целом более девятистот) посвящалось лингвистической тематике. Охватить, а тем более посетить и заслушать все или даже большую часть этих докладов было делом, невозможным физически не только для одного, даже наиболее самоотверженного участника, но и для того «собирабельного» участника, которым предлагается условно считать авторов нижеследующего — краткого и предварительного — проблемного обзора. Разнообразие специальных интересов авторов обзора служит некоторой гарантией охвата довольно большого круга проблем, поставленных на съезде. От полного, подробного обзора, видимо, следует отказаться; как всегда бывает, и на этот раз докладывалось также немало частного и второстепенного материала, изложение которого заслонило бы собой то, что действительно важно и актуально. Надобность в хроникальном порядке отчета отпадает, поскольку организаторы съезда, кажется, не позаботились о тематическом принципе заседаний, как, впрочем, и о подведении научных итогов. Но проблемы, которыми живет наша наука, нашли выход на этом съезде славистов, и ниже предлагается попытка их обобщения.

Отрадно отметить то почетное место, которое было отведено на этом славистическом съезде изучению русского языка. Среди синхронических методов исследования можно выделить современное словообразование и изучение живой речи.

Большой интерес представил доклад П. Гарда (Франция) «Опыт формальной и функциональной классификации русских суффиксов», в котором глубокая степень обобщения сочеталась с тщательным анализом конкретных фактов языка. Языковая материя не растворилась в абстрактных построениях, но получила в них глубокое осмысление. Автор показал, что контраст имени и глагола, характерный для явлений разных ярусов русского языка (синтаксис, семантика,

морфология), резко обнаруживается и в структуре слова. Докладчик широко использовал данные советского языкознания.

Ряд докладов по словообразованию был близок тем идеям и фактам, которые разрабатываются в трудах советских ученых [С. Бабиц (СФРЮ) «Граница между производными и непроизводными (мотивированными и немотивированными) словами»; М. Хоновская (ПНР) «Влияние морфологического уровня на фонологический уровень в аспекте синхронии и диахронии»; Б. Марков (СФРЮ) «Суффиксальное оформление *pomina feminina* в современных славянских языках»; Л. Лёнгрен (Швеция) «О сегментации суффиксальных морф в русском языке»; Я. Горецкий (ЧССР) «Семантические признаки в словообразовательном гнезде»].

Малоперспективным можно признать направление, представленное в ряде работ американских ученых, в котором к анализу русских аффиксов применяется метод анализа по оппозициям, использованный Р. Якобсоном при изучении русских падежей. Признаки, положенные в основу оппозиций, носят чересчур абстрактный характер и конкретный языковой материал не получает адекватного объяснения. Примером может быть доклад К. Схонефельда (США) «Семантический подход к анализу образования слов в современном русском языке».

Здесь стоит упомянуть проблему глубинных структур, рассматривавшуюся в ряде докладов. Своеобразное применение этого понятия было предложено Ф. Паппом (ВНР) в докладе «Где проходит граница между поверхностными и глубинными структурами?». Автор, опираясь на работы советских ученых Л. С. Выготского и А. Р. Лурии, рассматривает глубинные структуры как некий феномен, связанный с понятием «внутренняя речь». Изучая факты интерференции у венгров, говорящих по-русски, Ф. Папп обнаружил интересные явления, которые он объясняет типологическим различием русского и венгерского: венгр, говоря по-русски, строит свою речь, исходя из категорий своего языка

и своеобразно преобразуя их в «поверхностные» структуры русского. Таким образом, докладчик рассматривает глубинные структуры как психолингвистическую реальность. Естественно, что такое применение этого термина отличается от понятия «глубинная структура» как гипотетического конструкта.

Изучение живой разговорной и литературной речи, активизировавшееся в последнее десятилетие в языкознании разных стран, не нашло на VIII съезде славистов значительного места. Ему был посвящен специально лишь один доклад «Особенности русской разговорной речи и структура коммуникативного акта» (Е. А. Земская, СССР). Однако своеобразное освещение проблемы разговорной речи нашли при разработке иной проблематики, такой как типология славянских литературных языков: доклады А. Едлички (ЧССР), Е. И. Деминой (СССР) и Вл. Барнета (ЧССР), подробнее характеризующие далее. В докладе В. Барнета при построении типологии славянских литературных языков учитывались характер и место разговорной речи в структуре общенационального языка, причем разговорная речь рассматривалась как специфическая коммуникативная сфера, в основу которой могут лечь либо литературный язык, либо интердиалект, либо диалект.

Несомненно, что изучение различных языковых ситуаций и «коммуникативных сфер» позволит создать типологию славянских литературных языков, адекватно отражающую языковую реальность. Однако не все языковые формации и коммуникативные сферы изучены в должной мере. Так, до сих пор остается довольно неясным явление, которое в русистике принято называть термином «городское просторечие».

Значительное место в программе съезда занимали проблемы грамматики современных славянских языков.

На передний план выдвинулись два круга теоретических вопросов: 1) грамматическая семантика в ее отношении к формальным (главным образом синтаксическим) структурам; 2) грамматическая типология и методы сопоставительного анализа славянских языков (в ряде докладов эти два круга вопросов были связаны друг с другом).

Проблема иерархизации семантической структуры предложения рассматривалась в докладе Фр. Данеша и З. Главсы (ЧССР); авторы сосредоточили внимание на семантических вариантах, интерпретируемых как результат упорядочения элементов исходной семантической структуры, соответствующей одному и тому же типу реальной ситуации. Семантическая структура ядра предложения была проанализирована Я. Паневовай (ЧССР) с точки зрения соотношения обязательных и

факультативных партиципантов. Исходя из понятия структурного смысла различных типов простого предложения, М. Гиро-Вебер (Франция) предложила классификацию и типологическую интерпретацию «несогласованных структур» (экзистенциально-отрицательной, количественной, демипассивной и ряда других моделей) в русском языке. К. Милопевич (СФРЮ) в докладе о форме предиката и семантическом типе предложения (на материале сербохорватского языка) сделала вывод об асимметрии между двучленной синтаксической моделью с определенным типом предиката и семантической характеристикой предложения. О категориальных значениях морфологических форм и принципах их описания (включая такие вопросы, как соотношение понятий категориального и общего значения, взаимодействие значений морфологических категорий, соотношение грамматического значения и речевого смысла) шла речь в докладе А. В. Бондарко (СССР).

Предмет, структура и задачи грамматической типологии были представлены в докладе Л. Дажё (ВНР). В докладе Д. С. Станишевой (НРБ) рассматривались методы сопоставительного анализа частных синтаксических систем в славянских языках, в частности, следующие процедуры: установление семантических признаков и диапазона их проявления в каждом из сопоставляемых языков, установление состава средств выражения, изучение закономерностей функционирования единиц плана выражения в соответствии с единицами плана содержания. М. Тешителова (ЧССР) показала возможности применения квантитативных методов к типологическому изучению грамматики славянских языков; в докладе был выделен ряд квантитативных характеристик в области морфологии и синтаксиса. Р. Ружичка (ГДР) на основе теории деепричастной конденсации построил типологию деепричастных структур; автором были выявлены различия, существующие между славянскими литературными языками в семантической емкости, употреблении и синтаксической структуре деепричастных конструкций. В докладе Б. Панцера (ФРГ) о методологических основах сравнительной диахроническо-типологической морфологии славянских языков были высказаны суждения, касающиеся типологии морфологических систем и в плане синхронии.

Вопросам синтаксиса были посвящены, помимо уже упомянутых выше, следующие доклады: З. Тополянская (ПНР) «Понятия номинализации и сентенциализации (sententialization) как средства лингвистического описания», Ц. Перникарский (ПНР) «Семантические интерпретации содержания „рефлексивных“ и „пассивных“ конструкций», Я. Ка-

чала (ЧССР) «Интенция глагольного действия в активных и пассивных предложениях», С. Жажа (ЧССР) «К проблематике негативных конструкций с глаголом *esse* в русском и чешском языках», К. Попов (НРБ) «Структурные, семантические и функциональные особенности аппозиции в болгарском и сербохорватском языках», А. Барентсен (Нидерланды) «Наблюдения над функционированием союза *loka*» (в последнем докладе синтаксис тесно связан с аспектологией), С. Иванчев (НРБ) «Указательное местоимение как средство анафорического механизма в славянских языках», Т. Петтерссон (Швеция) «Родительный падеж как падеж прямого дополнения в современном русском литературном языке», Г. Корбет (Великобритания) «Проблемы синтаксиса числительных в славянских языках», И. Ларсон (Швеция) «О системе русских релятивных квантификаторов» и некот. др.

Съезд отразил возросший интерес грамматистов к морфологии. В проблематике значения и функционирования грамматических форм на передний план выдвинулись вопросы модальности и глагольного вида, освещенные, в частности, в докладах на следующие темы: «Грамматические категории как средство субъективной модальности в славянских языках» (К. Иванова, Л. Лашкова, НРБ), «О системе пересказывательных форм в современном болгарском языке» (Г. Вальтер, ГДР), «К вопросу о транспозициях императива в славянских языках» (В. Попова, Р. Ницолова, НРБ); «О семантике вида и времени в славянских языках» (Н. Телин, Швеция), «О дополнительной информации, выражаемой славянским глагольным видом» (В. Станков, НРБ), «Сопоставительный анализ категории аспектуальности в славянских языках» (Э. Секанинова, ЧССР), «Система южнославянских претеритальных темпоральных категорий в сравнении с польским» (В. Косеска-Тошева, И. Савицкая, К. Фелешко, ПНР). Вместе с тем обсуждались и вопросы морфологии за пределами глагола, например, в докладах на темы: «Некоторые формальные и семантические отношения между предложной и суффиксальной системами славянских языков» (С. Спасова-Михайлова, НРБ), «Относительное прилагательное в славянских языках» (Л. Дюрович, Швеция), «Из наблюдений над способами пополнения класса местоимений (в основном на материале русского и болгарского языков)» (Г. А. Тагамлицкая, НРБ). Вопросы формальной морфологии и морфонологии рассматривались в докладах: К. Нейлор (США) «Сегмент и тема в русской глагольной морфологии», И. Марван (Австралия) «Очерк русской глубинной флексии», Й. Хамм (Австрия) «Основы славянской морфонологии».

В целом в освещении вопросов грамматики современных славянских языков

на съезде проявилась господствующая тенденция к всестороннему развитию традиционных направлений грамматического исследования. Отразившиеся в некоторых докладах поиски путей анализа с использованием понятий, характерных для генеративистики, как правило, не были изолированы от грамматической традиции в изучении славянского языкового материала.

Традиционная для всех послевоенных съездов славистов проблематика славянских литературных языков (СЛЯ) была представлена на Загребском конгрессе докладами по теории сравнительно-типологического изучения СЛЯ, социалингвистике, истории функционирования отдельных СЛЯ на различных этапах их развития и проблеме периодизации этой истории, вопросам взаимосвязей СЛЯ в процессе их формирования. Всего в «Программу» и «Тезисы» съезда вошло 28 докладов по данной проблематике, однако не все доклады были прочитаны.

Характерной особенностью минувшего съезда было внимание к разработке теории литературных языков, в частности, теории их сравнительно-типологического изучения. Особое место в ряде докладов занимал вопрос о выборе критериев конфронтационного анализа современных СЛЯ с целью определения их специфических черт, которые могут быть положены в основу выделения типов этих языков. А. Едличка (ЧССР) в докладе «Проблематика типов современных славянских литературных языков в аспекте языковой ситуации» предложил за основу понятия «тип литературного языка» взять те синхронно выделяемые особенности, которые можно вывести из принятого современной социалингвистикой понятия — «языковая ситуация». В этом аспекте ЛЯ различаются между собой следующими чертами: а) положение ЛЯ в языковой ситуации (его отношение к иным формам национального языка со структурной и функциональной точек зрения); б) положение ЛЯ с точки зрения разработанности стилей и типов для специфических особенностей отдельных коммуникативных сфер; в) отношение языкового коллектива, дифференцированного социально, территориально и по происхождению, к ЛЯ; г) наличие черт, обусловленных специфическими ситуациями контакта. В. Барнет (ЧССР), отметив в своем докладе «Коммуникативные сферы и формы существования языка в славянских языках», что в одной и той же коммуникативной сфере возможны языковые высказывания, базирующиеся на разных формах существования национального языка, причем одна из форм может стать в данной сфере главной и престижной, попытался с этой точки зрения определить типы реализации общо-разговорного языка в обиходно-

коммуникативной сфере: приспособление ЛЯ (языковая ситуация русская, польская, украинская); использование интердиалекта (языковая ситуация чешская, словенская); встречный процесс выравнивания ЛЯ и диалектов (языковая ситуация словацкая, болгарская, сербская, белорусская и македонская) и специфическое решение хорватское и лужицко-сербское. Д. Бровович (СФРЮ) в докладе «Социолингвистические задачи в славянской языковой мире», рассматривая типологию СЛЯ как одну из социолингвистических задач, привлекает внимание к особенностям этапа формирования отдельных СЛЯ, к характеру их диалектной основы, к способу формирования языкового стандарта, к специфике нормы и кодификации, проблеме пуризма, а также к некоторым особенностям современной языковой ситуации как к критериям выделения типов СЛЯ.

Сопоставлению задач и методики синхронной и исторической типологии СЛЯ был посвящен доклад Е. И. Деминой (СССР) «К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков». По мнению докладчика, цель синхронной типологии (которая имеет дело с таким предварительно выделенным историческим типом ЛЯ, как национальный ЛЯ) — путем конфронтационного анализа ЛЯ и установления оппозиционных по одному отличительному признаку типов дать материал для типологической характеристики отдельных СЛЯ по совокупности соизмеримых с другими СЛЯ признаков. Задачей же исторической типологии является установление исторических типов литературного языка, смеявшихся один другим и сосуществовавших на разных этапах истории данного народа, и введение этих типов в сходные типологические ряды ЛЯ других народов, а также исследование типологических тенденций развития СЛЯ.

Доклады, в которых рассматривались вопросы теории ЛЯ, вызвали оживленную дискуссию на съезде.

Проблема кирилло-мефодиевской и церковнославянской традиции в истории отдельных СЛЯ рассматривалась в докладах И. Буюклиева (НРБ) «Следы кирилло-мефодиевской традиции в старых славянских языках», А. Мицкевой (НРБ) «Традиционно-книжная норма и новые тенденции в развитии синтаксиса среднеболгарского ЛЯ XIV в.», П. Д. Филковой (НРБ) «Некоторые проблемы изучения древнеболгарской и церковнославянской традиции в истории русского литературного языка», Р. Матисена (США) «Определение норм (Основные проблемы изучения истории церковнославянского языка)», А. Албиянича (США) «К изучению сербских церковнославянских элементов в произведениях сербских писателей XVIII — первой трети XIX в.». Характеристике отдельных этапов истории СЛЯ

в тех или иных аспектах были посвящены доклады В. М. Русановского (СССР) «Народно-разговорный язык как источник развития восточнославянских ЛЯ в XV—XVIII вв.», Р. Херрити (Великобритания) «Пуристические тенденции у сербов во второй половине XIX в.», А. Младеновича (СФРЮ) «Вопросы взаимоотношения сербских и русско-славянских языковых особенностей в ЛЯ у сербов во второй половине XVIII и начале XIX в.», М. Миновича (СФРЮ) «Сербско-хорватский (хорватско-сербский) язык в практике и теории с 1945—1975 г.», З. Винце (СФРЮ) «Основные проблемы хорватского ЛЯ с конца XIX до 40-х годов XX в.», В. Анича (СФРЮ) «Демократические основы хорватского и сербского языка сегодня» и др. Вопросы взаимосвязей и взаимовлияния СЛЯ на разных этапах их исторического развития рассмотрены в докладах Хр. Пырвева (НРБ) «Административный стиль новоболгарского ЛЯ в период болгарского Возрождения и русское влияние как фактор его формирования», Е. Георгиевой и Р. Цойской (НРБ) «Славянские и неславянские языковые влияния в период оформления и стабилизации современного болгарского ЛЯ», К. Бабова (НРБ) «Русско-болгарские языковые контакты и вопрос о типологии русизмов в болгарском языке». Н. Радошевич (СФРЮ) «О языковых контактах и процессе формирования сербохорватского ЛЯ», А. М. Шенкера (США) «Роль чешского языка в развитии польского ЛЯ». Социолингвистическая проблематика применительно к ситуации в сербохорватском языке привлекла внимание Р. Дунатова (США), Р. Катичича (СФРЮ), А. Шоята (СФРЮ).

Представленные на съезд доклады являются определенным шагом вперед в изучении этой важной проблемы. Необходимо отметить небольшое число советских докладов: непосредственное участие в съезде по данной проблеме приняли только два человека (В. М. Русановский и Е. И. Демина).

Вопросы стилистики, языка и стиля художественных произведений занимали заметное место. Обсуждение этой проблематики было сосредоточено в литературно-лингвистической секции, на которой было заслушано более 100 докладов.

Различные аспекты стилистики затрагивались и в чисто лингвистических, а также фольклористических докладах. Советские ученые в своих докладах по вопросам языкознания и литературоведения касались различных сторон общестилистической проблематики: акад. М. П. Алексеев в докладе «Всесветная слава Толстого» подчеркнул настоятельную необходимость дальнейшего изучения языка и стиля художественных произведений; Г. А. Богатова остановилась на изменениях стилистической окраски слова

в процессе его исторического развития; В. Д. Бондалетов в прениях по докладу Е. И. Деминой обратил внимание на то, что при сопоставлении родственных и неродственных языков следует учитывать особенности их функционально-стилевой структуры, а также набор экспрессивно-стилистических средств.

В литературно-лингвистической секции были заслушаны три доклада советских ученых. Н. Н. Пилинский изложил основные положения доклада (в соавторстве с Г. П. Ижакевич и С. Я. Ермоленко) «Развитие экспрессивных средств в жанре рассказа». В докладе К. Григаса «Вопросы методики сопоставительного анализа балтийских и славянских пословиц» шла речь о выразительных средствах сентенций народной мудрости. В докладе А. Н. Кожина «Поэтическая функция обыкновенного слова в творчестве современных поэтов» акцентировалось внимание на стилистической роли неопозитивного по своему характеру слова в контекстах стихотворений Р. Рождественского, Л. Татьяничевой и др.

В докладах зарубежных ученых уделялось внимание стилистическому своеобразию художественно-образительных средств, отмечались особенности литературно-художественного изображения (повествование, описание, рассуждение), шла речь о роли языка тех или иных жанров в истории литературного языка.

Эти вопросы затрагивались в докладах Ф. Ойнаса (США) «Превращение фольклора в литературу», Т. Н. Дамитио-Иллиана (Нидерланды) «Искусство словесной остроты и стилистические особенности диалогической речи в художественной прозе В. Шукшина», Р. Зиглера (Австрия) «Алексей Крученых как критик языка», К. Харпера (США) «Динамика текста и повествовательный стиль», Ф. Миньо (Франция) «Поэтический язык Хлебникова», Л. Джонаса (США) «Кожсонантизм русского стиха», Ф. Бьёрлинга (Швеция) «Связность текста в раннем творчестве Пастернака», С. Елефтерова (НРБ) «Некоторые типологические трансформации в поэтике болгарской прозы начала XX века».

В целом ряде докладов зарубежных ученых рассматривались традиционные аспекты стилистики литературных языков. В докладе А. Ф. Гова (США) развивалась мысль о поэтической функции категории рода в стихотворениях Э. Гиппиус. В докладе А. Стамача (СФРЮ) шла речь о цементирующей роли образительных средств в художественном тексте. Доклад С. Гиля (Норвегия) дал представление о некоторых аспектах стилистической структуры поэтического текста (о блоках семантических структур, которые понимаются как смысловые преобразования слов на базе метафоры, метонимии и т. п.)

Работа литературно-лингвистической секции свидетельствовала о важности тех

исследований, которые ведутся в аспектах стилистики и лингвостилистики литературного языка.

Доклады по славянской диахронической морфологии отличали поиски принципов, внутренних закономерностей, определяющих изменение, перестройку той или иной части морфологической системы.

Акад. Вл. Георгиев (НРБ; «Принципы славянской морфологии») видел главную задачу в установлении причин и законов морфологического развития языка. По его мнению, три основных фактора определяют морфологические изменения: 1) чисто морфологические причины, 2) морфолого-синтаксические и 3) морфосемантические. В. К. Журавлев и В. Мажюлис (СССР) («Из диахронической морфологии славянских и балтийских языков») при исследовании развития падежной системы опирались на общую теорию лингвистических оппозиций, разработанную в фонологии. История той или иной падежной флексии предстает как история всех оппозиций и корреляций, в которые она входит. Общий для балтов и славян процесс элиминации категории двойственного числа связывается с усилением нейтрализации *Du. Pl* в позиции *G. L*, где раньше всего происходит проникновение в парадигму флексий мн. числа. Нейтрализация сопровождается увеличением силы падежных оппозиций *G:L*, *N:A*, *D:I*. Усиление нейтрализации *A.G* и усиление оппозиции *N:A* определяются как начало формирования категории одушевленности. Ф. Мареш (ЧССР) («Славянская система спряжения в диахроническом плане») связывает механизм появления и устранения омонимичных форм в системе спряжения с высокой семантической релевантностью оппозиций и наличием логико-семантической взаимосвязи форм внутри спряжения. Релевантность категории числа исключает омонимии форм *2Pl* и *3Du*. При устранении омонимии значим маркированный член корреляции морфологического развития. В праславянском была представлена оппозиция 1 л.  $\infty$  2/3 л. (ср. аор. *vede* = 2 и 3 л. *Sg*), в ряде славянских языков произошла перестройка системы корреляций и возникло отношение «беспризнаковое 3 л.  $\infty$  признаковое 1 л. и признаковое 2 л.», а также взаимная корреляция 1 и 2 л. В формах 3 л. *Sg* и *Pl* первоначально число выражалось, по мысли докладчика, с помощью интерфлексии (ср. *nes-e-tb*  $\infty$  *nes-o-tb*), тогда как в 1 и 2 л. различие было смысловым. Эти и другие явления позволяют автору сделать вывод об общих тенденциях развития, обусловленных не только родством, но и типологическим единством славянских языков.

З. Голомб (США) («Консерватизм и инновационизм в развитии славянских языков»), опираясь на понятия «лексической субстанции» и «грамматической

формы», выделяет два типа типологических изменений: 1) изменение грамматической техники, связанное с заменой синтетического строя аналитическим, а аналитического агглютинативным, 2) изменение грамматической категории рода, числа и системы прошедшего времени. С точки зрения избранных критериев, инновационные черты в большей степени обнаруживают болгарский и македонский языки, наиболее консервативны сербохорватский и лужицкие языки. Автор предлагает классификацию славянских языков по четырем критериям: генетические архаизмы, генетические инновации, типологические архаизмы, типологические инновации. Вводится понятие типологической варибельности и инварибельности славянских языков. Ж. Ж. Варбот (СССР) развивала положение о вторичном морфологическом удлинении корневого гласного в отглагольных именах, входящих в качестве второго компонента в состав сложного слова (ср. словац. *drvotár*, укр. *колубайка*, рус. *горлопан*). Выявляя некоторые структурные особенности этого типа сложений, в частности отсутствие потенциальных производящих глагольных основ с вокализмом в ступени *o*, автор сближает данное явление с удлинением корневого вокализма в отглагольных бессуффиксальных именах *-o-*, *-a* и *-i* основ вне сложных (ср. \**krājь*, \**traga*) и датирует оба явления праславянской эпохой. Разработанная автором морфологическая модель служит основанием для нового этимологического истолкования ряда славянских сложений: \**netorugь*, \**suzoragьь*, русск. *сокопатный*, с.-хорв., словен. *kolobar* и др.

В докладах, прозвучавших на съезде, нашли отражение и некоторые вопросы славянской лексикологии и лексикографии.

Путем сопоставления двух типов словарей — этимологического и исторического — Г. А. Богатова («Семантика корневой группы и история слова в славянской исторической лексикографии») выявляет специфику исторической лексикографии, принципиальное различие этимологической и исторической лексикографии в выборе предмета исследования, отборе материала, построении и организации словарных статей. Автор проводит мысль, что воссоздание истории слова невозможно без данных этимологии, исчерпывающей информации о семантической структуре слова и смысловых отношениях внутри всей корневой группы.

Конкретному историко-семантическому анализу славянских основ \**ljub-* и \**prav-* в ряду близких им синонимичных основ посвящены были доклады Х. Бярнбаума (США) и Г. Верре (Франция). Г. Шустер-Шевц (ГДР) обозревает типы калек с немецкого в верхнеслужижском языке и определяет их место в лексической и морфологической системе языка.

А. Е. Супрун (СССР) предлагает разные методы изучения и воссоздания семантической системы полабского языка, который дошел до нас с большими лакунами. Уточнение семантики полабских слов требует выявления внутрисемантических отношений в системе полабской лексики, учета близких инославянских соответствий и многих других моментов.

Немногие доклады были посвящены этимологии славянской лексики. Л. Мошинский [ПНР; «Действительно ли имя *славяне* (\**slōvěni*) является *nomen originis*?»] на основании ряда данных приходит к заключению, что имя *slōvěni* первоначально было апеллятивом типа *bratěнь — bratenь — bratanь* и что сближение с *nomen originis* на *-janinь* произошло вторично. Х. Лиминг (Великобритания) пересматривает традиционные этимологии слов \**želězo*, \**krьta*, \**krьmьcii* и др.

В подходе к праславянскому главной и определяющей можно считать мысль о необходимости хронологической стратификации материала, реконструкции праславянского языка в развитии. На обсуждение съезда были вынесены вопросы фонетического строя праславянского, морфологии (см. выше Варбот), структуры корня. Особым вниманием пользовалась проблема реконструкции лингвистической карты древнейшей эпохи развития праславянского.

А. Лампрехт (ЧССР), представляет в полном объеме основные фонетические явления праславянского языка и дает хронологическую периодизацию праславянского от индоевропейского состояния до раннего периода развития отдельных славянских языков (3000 г. до н. э. — 1000 г. н. э.). Проблему так называемой II палатализации на материале отражения группы *kv* — в слове \**kvěť* затрагивают в своем докладе А. Басара и Я. Басара (ПНР).

А. С. Мельничук (СССР) ставит проблему параллелизма и.-е. корней на материале этимологического гнезда с корнем \**ueǵ-*. Группу структурных вариантов более древнего и.-е. корня \**ueǵ-* «гнуть, крутить» в сочетании с разными расширителями (ср. \**uer-*, \**uedh-*, \**ues-* и т. п.) автор генетически связывает с целым рядом семантически близких корней, в которых на ранних ступенях развития индоевропейского в роли функционально тождественного звукового компонента выступали согласные, *bh*, *gh*, *k*, *l*, *s* (ср. *bher-*, *bhen-*, *ghabh-* и т. п.). Сам автор признает, что изучение параллелизма выходит за пределы возможностей сравнительно-исторического метода в его нынешнем состоянии.

Г. Поповская-Таборская (ПНР) подчеркивает особое значение лексики для выводов об изначальной истории славян. Первоочередными автор считает задачи реконструкции праславянской лексики и древней лингвистической географии.

Ф. Славский (ИНР) («Прародина славян в свете этимологии») выделяет в составе праславянского несколько лексических слоев (общеевропейский, балто-славянский, северноевропейский и т. д.) и показывает, что изоглосные связи праславянского ориентированы на разные хронологические уровни.

Новый подход к определению балто-славяно-италийских изоглосс предложил В. В. Мартынов (СССР). Он исходит из того, что определяющим моментом глоттогенеза славян явилась италийская инфильтрация в западнобалтийский ареал. Автор разрабатывает методику отбора праславянского синонимических пар балтийского и италийского происхождения, например, праслав. *berny* — *děť* «дитя», *berna* — *rydlo* «рыло, морда», *čula* — *svinja* «свинья» и др.

В традиционной теме балто-славянских отношений Р. Эккерт (ГДР) выдвигает на первый план два вопроса: 1) необходимость выявления исключительно балто-славянских цельнокорневых соответствий и 2) выделения в их составе фактов генетического родства, ранних заимствований и случаев параллельного развития. Продолжая начатые Ф. Безлаем поиски специфических словенско-балтийских изоглосс, Р. Эккерт приводит примеры словенско-литовских лексических соответствий с тематическим показателем *-i* (ср. литов. *kraunīs*: словен. *kpn* ж. р.).

В докладе В. Т. Коломиец (СССР) материалом для реконструкции внутриславянских лексических изоглосс служит ихтиологическая номенклатура. В плане славянских миграций как наиболее важная и существенная выделяется изоглосса, охватывающая отдельные части севернославянской и южнославянской языковой области.

Доклад О. Н. Трубочева (СССР) «Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье» пересматривает традиционную лингвистическую карту Северного Причерноморья и господствующую теорию исключительно иранского субстрата на этой территории. Автор подвергает проверке лингвистический материал и в первую очередь древнюю ономастику, все доступные эпиграфические остатки с территории исторической Синдикы и примыкающих земель, выявляет лексические реликты языка сидомеотов в Северном Причерноморье и доказывает их индоарийскую принадлежность (150 слов и этимологий). Открытие индоарийского элемента позволяет заполнить пробелы, оставленные иранской теорией, и по-новому осветить происхождение некоторых загадочных этнонимов (*анты*, *Русь*), культурных слов (слав. *\*sъrebro*). По-новому ставится проблема так называемой «Старой Скифии» Геродота = Синдской Скифии последующих авторов.

Н. И. Толстой (в соавторстве с

С. М. Толстой) (СССР) ставит проблему реконструкции древнеславянской духовной культуры и показывает значение этой проблемы для этимологии архаического пласта «мифологической» лексики. Авторы подчеркивают значение архаичных зон культуры (Полесье, Карпаты) для воссоздания праславянской модели мира. Основные понятия и методика лингво-этнографических исследований иллюстрируются на полесском и общеславянском материале обряда вызывания дождя.

В решении этногенетических проблем большое место в докладах было отведено топонимическому материалу.

И. Дуриданов (НРБ) («Заселение славянами Нижней Мизии и Хемимонта по данным топонимики») выделяет в славянской топонимике разные напластования и пытается доказать, что областью наиболее раннего славянского заселения (VI—VII вв.) явились Нижняя Мизия и Хемимонт. И. Заимов (НРБ) связывает изменения речных названий в восточной части Балкан с этническими процессами.

Л. Киш (ВНР) на более позднем материале рассмотрел проблему славизации венгерских местных названий в период османского господства, когда шел активный процесс переселения южных славян в южную Венгрию. Славизация, в частности, происходила путем адаптации местных названий, отождествления их с славянскими основами (*Gorica*, *Medina*, *Grábóc*). Из докладов на тему антропоники заслуживает внимания исследование личных имен в Летописи попа Дуклянина (XII в.), проведенное Н. Родичем (СФРЮ). На очередь дня выдвинута задача создания славянского ономастического атласа [К. Рымут (ИНР), Э. Эйхлер (ГДР)].

В программу съезда было включено свыше 60 докладов, посвященных проблематике межъязыковых и междиалектных контактов. П. Ондрус (ЧССР) предложил «теорию взаимодействия диалектов» на пограничных территориях как альтернативу теории субстрата, отмечая при этом, что разным видам взаимодействия носителей диалектов не обязательно прямо соответствуют разновидности взаимодействия языков. Р. Летч (ГДР) рассматривал типологию славянско-неславянских контактов, различая их по степени распространения, по путям осуществления и глубине проникновения. В докладе Й. Топоришича (СФРЮ) «Малые языки в многоязычном государственном обществе» подчеркнута духовная ценность малых языков для их носителей, которой и объясняется их сохраняемость, несмотря на кажущуюся нерентабельность в условиях распространяемого двуязычия при наличии возможности использования малого языка в разнообразных сферах жизни. Р. Л. Ленчек (США) посвятил свой доклад взглядам И. А. Бодуэна де Куртэна на «смешанные языки» на примере изучавшихся им

словенских городов. В. Барац-Грум и В. Зечевич (СФРЮ) на примере контактов штокавских, чакавских и кайкавских говоров пытались установить различия в видах взаимодействия диалектов в условиях ареального и пограничного контактов. В опубликованном, но не произнесенном докладе Ф. П. Филшна (СССР) «Исконное и заимствованное в современном русском литературном языке» было показано, что старославянская лексика составляет на более 10% современного русского словаря и констатировался ограниченный характер французского влияния на русский язык в первой половине XIX в. Древнейшим немецким заимствованиям необщеславянского распространения был посвящен доклад Г. Г. Бильфельда (ГДР).

Значительное место заняли в программе съезда доклады о межславянских языковых контактах. Так, Г. Хюттль-Фольтер (Австрия) рассматривала вопрос о так называемой диглоссии в древней Руси. Я. Сятковский (ПНР) и А. М. Шенкер (США) уделили внимание роли чешского языка в развитии польского языка, а А. Заремба и К. Дейна (ПНР) занимались лексическими контактами диалектов польского и чешского языков, в частности, в пограничной зоне. Сложным польско-восточнославянским лексическим отношениям в XVIII—XIX вв. был посвящен доклад С. Кохмана (ПНР), а Г. Бидер (Австрия) показал отражение в фонетическом облике заимствований из немецкого в западнорусский язык XIV—XVII вв. польского посредничества. В сообщении М. Рутковской (ПНР) анализировались некоторые семантические русизмы в польской глагольной лексике.

В ряде докладов рассматривались контакты славянских языков со смежными неславянскими языками. Например, в докладе А. Росетти (СРР) трактовались древние славяно-румынские контакты, главным образом в области лексики.

В нескольких докладах анализируются вопросы греческого влияния на старославянский язык: А. Гийу и К. Черемисинофф (Франция) рассматривают греческие лексемы в Хронике Симеона Логофета, Т. Фриделювна (ПНР) — неславянские христианские имена в церковнославянских календарях, Р. Златанова (НРБ) — выражение именного сказуемого в древнеболгарских (старославянских) памятниках и их греческих оригиналах. К. Йордаль (Дания) сделал доклад о сложных словах — кальках с греческого в русском языке. В. Д. Бондалетов (СССР) посвятил свое сообщение греческим заимствованиям в восточнославянских и польских аргю.

Предметом интереса участников съезда были славяно-тюркские языковые контакты. С. Акинер (Великобритания) говорила о восточных заимствованиях в языке белорусских татар, зафиксированном в

белорусских текстах, писанных арабским шрифтом. Х. Куна (ВНР) затронула вопрос о турцизмах в языке устного народного творчества мусульманского населения Боснии и Герцеговины. О. Яшар-Настева (СФРЮ) изучала турецкие элементы в топонимике Югославии. Б. Тукан (Израиль) анализировал славянские элементы в гагаузском языке.

Ряд докладов был посвящен взаимоотношениям изолированных славянских языковых групп с языками и диалектами неславянского окружения. А. Вашек (ЧССР) наметил некоторые общие проблемы изучения таких совокупностей: взаимодействие с базовым языком, взаимодействие с языком окружения, взаимодействие с официальным языком, количественная асимметрия носителей изолированного и окружающего языка, мотивы и способы переключения с одного языка на другой, взаимодействие лингвистического и нелингвистического при контактах. В докладах, которые представили П. Кирай (ВНР), П. Степенев (ВНР), Г. Невекловский (Австрия), Э. Прунч (Австрия) рассматривалось бытование словенских и сербохорватских говоров в Венгрии и Австрии. М. Живкович (СРР), М. Станковский (Швеция), Х. П. Стоффел (Австралия), Ж. Б. Юричич и Дж. Кесс (Канада) анализировали некоторые явления в сербохорватском языке переселенцев в Румынии, Швеции, Новой Зеландии и Канаде. И. Грабовский (Канада) и И. Герус-Тарнавецкая (Канада) указали на некоторые особенности польского и украинского языков в Канаде. Р. Олеш (ФРГ) рассмотрел в своем докладе лингвистические процессы у трехязычного населения с. Сербин в Техасе (США), пользующегося серболужицким, немецким и английским языками.

С. С. Люнден (Норвегия) в своем сообщении остановилась на некоторых характерных чертах (например, личном местоимении *моя*) в бытовавшем в XIX в. русско-норвежском торговом языке. И. Мийе (Франция) рассматривает приспособление неславянских по происхождению собственных имен к фонологической системе чешского языка.

З. Лещинский (ПНР) ставит вопрос о датировании некоторых относительно поздних западных заимствований в польском, а Ж. Мартиновский (Франция) анализирует семантические процессы в русских заимствованиях из французского. Р. Филипович (СФРЮ) исследовал адаптацию англицизмов в ряде славянских языков. В сообщении М. Дюк Голина (Франция) анализируется славянское влияние на семантическую систему эсперанто.

Бондарко А. В., Демина Е. И.,  
Земская Е. А., Кожин А. Н.,  
Куркина Л. В., Супрун А. Е.

---

## CONTENTS

**Articles:** P a n f i l o v V. Z. (Moscow) Marxism-Leninism as a philosophical foundation of linguistics; F i l i n F. P. (Moscow). Some problems of modern linguistics; **Discussions:** T r u b a č e v O. N. (Moscow). «Ancient Scythia» of Herodotes and the Slavs; A x m a n o v a O. S., P o l u b i č e n k o L. V. (Moscow). «Differential linguistics» and «philological topology»; B a j k o v V. G. (Beltsy). A linguistic theory of language planning; S l j u s a r e v a N. A. (Moscow). Linguistic terminology and the metalinguistic function of language; J u r č e n k o V. S. (Saratov). Sentence-structure and the system of syntax; P a l m a j t i s L. (Vilnius). The accusative and the category of gender; U l u x a n o v I. S. (Moscow). Derivational relations between parts of speech; **Materials and notes:** G a l ' c e n k o I. E. (Ordzhonikidze). Words of North-Caucasian origin in Russian; N a z a r j a n A. G. (Moscow). French phraseology and word-stock in their genetic relations; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** P a n f i l o v V. Z. (Moscou). Le marxisme-léninisme en tant que base philosophique de la science linguistique, F i l i n F. P. (Moscou). Quelques problèmes de la linguistique contemporaine; **Discussions:** T r u b a č e v O. N. (Moscou). «La Scythie ancienne» d'Hérodote et les Slaves. A x m a n o v a O. S., P o l u b i č e n k o L. V. (Moscou). «Linguistique différentielle» et «topologie philologique»; B a j k o v (Beltsy). Une théorie linguistique de la prévision; S l j u s a r e v a N. A. (Moscou). Terminologie linguistique et fonction métalinguistique de la langue; J u r č e n k o V. S. (Saratov). Structure de la proposition et système de la syntaxe; P a l m a j t i s L. (Vilnius). L'accusatif et la genre grammatical; U l u x a n o v I. S. (Moscou). Rapports dérivationnels entre parties du discours; **Matériaux et notices:** G a l ' c e n k o I. E. (Ordjonikidze) Mots d'origine nord-caucasienne en russe; N a z a r j a n A. G. (Moscou). Phraséologie et lexique français dans leurs rapports génétiques; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

---

Сдано в набор 27.04.79      Подписано к печати 20.06.79      Т-11451      Формат бумаги 70×108/16  
Высокая печать      Усл. печ. л. 14,0      Уч.-изд. л. 15,7      Бум. л. 5      Тираж 7115 экз.      Зак. 1813

---

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10